Я. П.
ПОЛОНСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Я.П. ПОЛОНСКИЙ

Советский
писатель





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

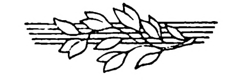
Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1954

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Б. М. Эйхенбаума

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

1

Первые стихотворения Полонского появились в сороковых годах — в трудную для поэзии пору, когда не только «повести в стихах пришли в упадок» (по словам Лермонтова), но и голос лирики потерял прежнюю звучность. «Прошлый год был не богат стихами, а будущий — это можно сказать смело — будет еще беднее, — заявил Белинский в обзоре русской литературы за 1842-й год. — Лермонтова уже нет, а другого Лермонтова не предвидится... хоть совсем не пиши стихов... И их, в самом деле, пишут или по крайней мере печатают меньше». Дело дошло до того, что журналы почти прекратили печатание стихотворений: «Как известно, — вспоминал М. И. Михайлов о сороковых годах, — тогда вдруг, ни с того ни с сего, редакторы больших и толстых журналов вообразили, что всякая строчка с кадансом и рифмой в конце должна компрометировать их серьезность, — и стихам, каковы бы они ни были, совершенно был загражден вход в важные ежемесячные издания».[1] Белинский еще в 1835 году указывал на победу прозы над стихами («теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть»), а на вопрос о причинах этого «нового направления» ответил: «На этот раз нет виноватого: причина в духе времени, во всеобщем, можно сказать, всемирном направлении».[2] Историческое чутье не

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. VII. М., 1950, стр. 956. Статья эта считалась принадлежащей Чернышевскому — см. т. XVI, М., 1953, стр. 943.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I. М.—Л., 1953, стр. 261.

обмануло Белинского: наступала действительно новая эпоха, которая требовала новой литературы.

Именно в это сложное для поэзии и «невыгодное для поэтов» (по выражению Некрасова) время в Москве появился юный Яков Петрович Полонский. Он приехал из Рязани летом 1838 года,[1] чтобы поступить в университет. На экзамене его соседом оказался «весьма благообразный юноша с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то тонко разлитой по всему лицу его восторженностию и меланхолией». Это был Аполлон Александрович Григорьев — будущий критик и поэт: «Я тотчас же с ним заговорил, — вспоминает далее Полонский, — и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы». Полонский стал бывать у Григорьева и познакомился с его другом и сожителем — студентом Фетом.

У Ап. Григорьева собирался студенческий кружок, занимавшийся изучением Гегеля; в центре споров были проблемы разумности бытия и оправдания религии. «Голова работает, как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью», — вспоминал потом об этих годах Ап. Григорьев. Полонский не был расположен к философским занятиям, а «книжная» жизнь сердца была вовсе чужда ему. Занятиям философией он предпочел занятия поэзией. Фет вспоминает: «Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...[2]

Товарищи по кружку упрекали Полонского в равнодушии к вол-

---

[1] «Мои студенческие воспоминания» Полонского («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год», т. 3, № 12, стлб. 641) начинаются словами: «В 1839 или годом раньше (не помню уже в точности) я отправился в ямской телеге из Рязани в Москву» и т. д. По целому ряду признаков это было «годом раньше», т. е. в 1838 году — одновременно с поступлением в университет Ап. Григорьева и Фета. Полонскому шел тогда 19-й год — он родился 6/18 декабря 1819 года. Он окончил юридический факультет только в 1844 году: на III курсе пробыл два года из-за римского права (см. там же, стлб. 670), а при окончании задержался из-за того же предмета (см. письмо к Н. М. Орлову от 18 ноября 1843 года. — «Новые пропилеи», М.—Пгр., 1923, т. I, стр. 58).

[2] А. А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, стр. 154.

новавшим их религиозным сомнениям и вопросам; Полонский ответил стихотворением «К демону». Как «сын времени», он тоже «был на пороге бытия встречаем демоном сомненья», но это осталось позади: «Установился шаткий ум и жаждет новых откровений». На месте разрушенного «молитвенного храма» выстроен другой:

Все гении земного мира
И все, кому послушна лира,
Мой храм наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голос вековой.

Поэзия вместо философии и религии: таков был один из итогов студенческого периода. Это, однако, не значит, что Полонский жил в стороне от действительности и от современных умственных течений.

Тогдашний Московский университет был не только «университетом таинственного гегелизма» (по выражению Ап. Григорьева), но и университетом либерализма — в лице таких профессоров, как П. Г. Редкин (энциклопедия права), Д. Л. Крюков (древняя история) и особенно Т. Н. Грановский (история средних веков), лекциями которых увлекался и Полонский. «Мы все были идеалистами, т. е. мечтали об освобождении крестьян», — говорит он в воспоминаниях о студенческих годах. Университетский либерализм находил себе опору и в тех знакомствах, которые завязал Полонский в эти годы. Особенно важную роль в его биографии сыграл дом М. Ф. Орлова — декабриста, избежавшего ссылки в Сибирь только «по вине» (по словам Герцена) его брата, известного николаевского жандарма А. Ф. Орлова. Полонский вспоминает: «Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала. <...>Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ив. Сер. Тургенева». В поэме «Братья» Полонский говорит об Орлове, почти повторяя слова Герцена (в «Былом и думах»): «осужденный на бесполезность, словно пригвожденный к стенам Москвы титан». В доме Орлова Полонский увидел друзей Пушкина, помнивших 1812-й год и переживших события 1825 года. Это было для него важнее философии Гегеля: перед ним встало героическое прошлое России — эпоха борьбы и подвигов, эпоха «титанов». О них он вспомнит в стихотворении «Спустя 15 лет»:

Невозрожденные титаны,
Где ваши тени! — я один,
Поклонник ваш, скрывая раны,
Брожу, как тень, среди руин...

Кроме дома Орлова Полонский часто бывал в салоне А. П. Елагиной (матери Киреевских). В романе-хронике «Дешевый город» он вспоминает: «Дом этот был замечательный. Мало того, что все тогдашние знаменитости его посещали, мало того, что его гостиная видела в стенах своих Жуковского, Гоголя, Хомякова, Чаадаева, Герцена, Аксакова, Грановского и других, — кабинет и спальня молодых Юматовых <т. е. студентов Елагиных> были чем-то вроде студенческого клуба, куда с утра до ночи голубые воротники с неуклюжими треугольными шляпами заходили званые и незваные<...>. Елатомский <т. е. Полонский> был в приятельских отношениях с одним из сыновей Юматовой <Н. А. Елагиным> и не раз приходил переписывать у него лекции, по той причине, что сам часто их пропускал, особливо в такие дни, когда в московских кондитерских появлялась новая книжка «Отечественных записок» с критическою статьею Белинского или с рассуждениями о науке <т. е. «Дилетантизм в науке» Герцена>».[1]

В своих воспоминаниях Полонский неоднократно рассказывает, какую значительную роль играли в его жизни статьи Белинского: «Помню, как электризовали меня горячие статьи Белинского об игре Мочалова». Затем он припоминает: «О Белинском впервые услыхал я от Николая Александровича Ровинского, который еженедельно посещал меня. Ровинский был близок к кружку Станкевича<...>.[2] Он хотел познакомить меня с Белинским, но успел только познакомить меня с Иваном Петровичем Клюшниковым, другом Белинского и учителем истории Юрия Самарина». На самом деле Полонский все-таки имел одну встречу с Белинским, но до того познакомился с Клюшниковым. Это знакомство надо считать одним из важнейших фактов в жизни молодого Полонского — тем более, что он сделал Клюшникова героем целой поэмы или, вернее, романа в стихах: «Что такое был Клюшников, — говорит Полонский, — вам может подсказать стихотворный незаконченный роман мой «Свежее преданье». Тут он был мною выведен под именем Камкова<...>. Как я слышал, сам Клюшников, доживший до глубокой старости где-то в Харьковской губернии, в этом романе узнал себя».[3]

---

[1] Я. П. Полонский. Полное собрание сочинений, т. VII. СПб., 1886, стр. 34.

[2] Этот Ровинский был брат известного собирателя народных картинок и гравированных портретов Д. А. Ровинского (см. Я. П. Полонский. Мои студенческие воспоминания. «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год», т. 3, № 12, стлб. 648).

[3] Там же, стлб. 649. И. П. Клюшников родился в 1811 году, а умер в 1895 году.

Близкий друг Станкевича, Бакунина, Белинского, Клюшников был очень своеобразной и сложной фигурой. По словам П. В. Анненкова, он играл между друзьями роль Мефистофеля, весьма зло и едко подсмеиваясь над их идеальными стремлениями.[1] К концу тридцатых годов его поведение изменилось: из едкого остроумца он превратился в ипохондрика. «Старинная мысль его, что всякий человек должен быть полезен обществу и что он не приносит ему никакой пользы, достигла в нем полного развития и превратилась в idée fixe», — писал М. А. Бакунин (13 мая 1839 г.), объясняя Н. В. Станкевичу «тяжелое состояние» Клюшникова.[2] Атмосфера бесплодного абстрактного философствования стала Клюшникову невыносимой, он рвался к жизни, к настоящему делу. Это-то и могло быть основанием для сближения с Полонским.[3]

В «Свежем преданье» Клюшников рисуется как «образец души и мысли непреклонной»:

В среде холодной, дряблой, сонной
Он вырос, но глядел бойцом,
Когда его впервые встретил
Студент Белинский, и Камков,
Быть может, прежде всех заметил
В нем искру божью — и ответил
На первый пыл его идей
Живою дружбою своей.

Клюшников имел огромное влияние и на Полонского, поддерживая в нем веру «в существованье иных, счастливых берегов».

Через Клюшникова Полонский познакомился и с Белинским, но перед самым его отъездом — летом 1839 года. «Помню, я послал ему стихи и письмо. Помню, как <...> зашел к нему и как Белинский отнесся ко мне как к начинающему и мало подающему надежд мальчику (я и был еще мальчик). Белинский был сам еще лет 25 или 27 юноша — худой, невзрачный, с серыми глазами навыкате... Комнатка была небольшая, бедная (если не ошибаюсь, он квартировал на Арбате). Я был так огорчен невниманием Белинского, что чуть не плакал — и, кажется, послал ему письмо, где

---

[1] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. СПб., 1909, стр. 424.

[2] М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем. М., 1934, т. II, стр. 244.

[3] Тургенев воспользовался некоторыми чертами Клюшникова в «Гамлете Щигровского уезда». В 1833 году Клюшников готовил Тургенева в университет по всеобщей истории.

уверял его, что никто на свете не разубедит меня в моем поэтическом таланте <...> — вероятно, письмо очень восторженное и глупое».[1]

Белинский уехал в Петербург в октябре 1839 года, а через год, в октябрьской книге «Отечественных записок», появилось первое печатное стихотворение Полонского «Священный благовест торжественно звучит». Вероятно, появлению этого стихотворения в печати помог именно Клюшников. В годы 1841—1843 Полонский печатал свои стихи главным образом в «Москвитянине». Это не значит, что он сблизился со славянофилами; М. И. Михайлов говорит в статье о Плещееве (которую мы цитировали вначале), что в этом журнале «был единственный приют для даровитых молодых поэтов, за которыми признавались достоинства и теми журналами, которые отказывались печатать их стихи. Фета, Полонского только и можно было встретить, что в „Москвитянине"». В 1842 году был издан студенческий сборник «Подземные ключи»; Полонский вспоминает: «там под буквою П были и мои еще крайне незрелые стихотворения».[2]

Так началась литературная деятельность Полонского. Печатать стихи в журналах было трудно — возник вопрос об отдельной книжке. В доме барона Шеппинга Полонский познакомился с сыном актера М. С. Щепкина (будущим издателем), который посоветовал издать его стихи по подписке: «соберем человек сто подписчиков по рублю за экземпляр и издадим». Деньги были собраны — и осенью 1844 года вышла книжка под названием «Гаммы». Посылая ее П. Н. Кудрявцеву (в те времена близкому к Белинскому), Полонский писал: «Когда я был у вас, мне как-то совестно было признаться вам, что я отдельной книжкой печатаю стихи мои; на это издание я смотрю как на проступок, извиняемый, быть может, обстоятельствами и крайней необходимостью в деньгах». (Архив Полонского.)

Заглавие сборника Полонского намекает на то, что это — первые поэтические упражнения. И в самом деле — это еще не найденный путь или метод, а только поиски его. Здесь есть вещи совершенно ученические — вариации старых жанров с некоторыми добавочными эффектами в духе Бенедиктова («Статуя», «Диамея»). Но рядом

---

[1] Архив Полонского (Пушкинский Дом АН СССР). На Арбате Белинский жил летом 1839 года. «Мы жили на Арбате, — вспоминает А. Я. Панаева. — <...> Белинский нанял себе комнату от жильцов — против нашего дома во дворе <...> Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная» (Воспоминания. М., 1948, стр. 77. Ср. «Литературное наследство», т. 57. М., 1951, стр. 383 и 397).

[2] Сборник был высмеян в «Литературной газете» (повидимому, Некрасовым), но не за стихи Полонского (см. Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, М., 1950, стр. 612).

с этим в «Гаммах» была и несомненная «свежесть лиризма» (по выражению Гоголя). Это особенно сказалось в стихотворениях романсного типа, как «Пришли и стали тени ночи», «Ночь холодная мутно глядит». Природа сделана соучастницей душевной жизни человека — его страстей, тревог и настроений. В колыбельной «Солнце и Месяц» это послужило основой для сказочного сюжета: «Солнце спит, а Месяц ходит, сторожит земли покой».

С другой стороны, в сборнике есть вещи совершенно реалистического стиля, своего рода бытовые новеллы: «В гостиной», «Встреча». Стихотворение «Уже над ельником» — рассказ о женщине в духе ранних тургеневских повестей. Тургенев видел в нем присутствие «особого оригинального оборота, особого лада стихов»; это впечатление создается благодаря необычному сочетанию лирики с повествованием — характерная черта Полонского, часто пользующегося прозаическими оборотами и интонациями.

В октябрьском номере «Отечественных записок» (1844) появилась рецензия П. Н. Кудрявцева на сборник Полонского. Он отозвался о «Гаммах» с большой похвалой, потому что усмотрел в них связь с умственным движением нового времени: «Если это не сама поэзия, то прекрасные надежды на нее». Отзыв Белинского (в «Обзоре русской литературы за 1844-й год») был гораздо более сдержанным и ставил вопрос о поэзии иначе: «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом. Но и одного этого также еще слишком мало, чтобы в наше время заставить говорить о себе как о поэте <...>: главное и трудное дело состоит не в том, чтобы иметь направление и идеи, а в том, чтоб не выбор, не усилие, не стремление, а прежде всего сама натура поэта была непосредственным источником его направления и его идей».

Успех «Гамм», казалось бы, должен был укрепить материальное положение Полонского; на деле случилось иначе: «Мои «Гаммы», несмотря на благоприятный для них отзыв газет и журналов, не приносили мне ни малейшей выгоды, — говорит Полонский в воспоминаниях. — Их или не раскупали, или книгопродавцы умышленно говорили мне, что никто не покупает их, в надежде, что я продам их по пяти копеек за экземпляр». Еще до окончания университета у Полонского явилась мысль уехать на юг; в 1843 году он писал своему приятелю (сыну декабриста) Н. М. Орлову, уехавшему в Крым: «Если на Крымском полуострове, где-нибудь в приморском городе ты найдешь для меня место — я буду тебе весьма благодарен.

Москва мне страшно надоела. Я желал бы вдали от нее вздохнуть свободнее посреди такой роскошной природы».[1] К этому присоединились еще какие-то сложные личные отношения: «Боже мой! Если бы ты знал, — писал он тому же Орлову, — какие про меня сплетни ходят по Москве! Если бы ты знал, как все вооружено против меня! .. И притом ужасный денежный недостаток».

В ноябре 1844 года Полонский выехал из Москвы в Одессу — «без цели, без плана ускакал из Москвы», как он писал впоследствии в одном письме.

2

О жизни в Одессе Полонский сам подробно рассказал в своем романе-хронике «Дешевый город» (1879): «Это вернейшая копия с Одессы и одесского общества в 1845—46 годах», — писал он А. П. Чехову.[2] Одесса — «практический, коммерческий город», но в то же время «страшнейший любитель стихов», говорится в этом романе. «Стихи никому не мешают здесь обделывать дела свои. Надеюсь, что и мои идеалы не помешают мне стать на практическую точку зрения», — пишет герой романа Елатомский (т. е. сам Полонский) одному из московских друзей. Благодаря рекомендательным письмам Полонский быстро завел интересные знакомства: с братом Пушкина Львом Сергеевичем, с поэтом Н. Ф. Щербиной, с шелководом Н. А. Райко, славившимся тем, что в молодости сражался за независимость Греции, с австрийским консулом Л. Л. Гутмансталем.[3] Встретился он и со своим товарищем по университету Александром Бакуниным (в романе — Бавин), братом Михаила, преподавателем энциклопедии права в одесском Ришельевском лицее. Они поселились вместе: «У меня живет Полонский, что несколько меня стесняет в моих финансах, но не в быту моей жизни, — писал Бакунин брату Павлу. — Странно, как можно иногда человека охуждать по одной физиономии. Он и в самом деле обладает поэтическим талантом».[4] Полонский дружил с Бакуниным, но их взгляды и стремления были разными: Бакунин, страстный «гегелист», был погружен в философские занятия и писал сочинение, которое, по

[1] «Новые пропилеи». М.—Пгр., 1923, т. I, стр. 52.

[2] «Слово», сб. 2, М., 1914, стр. 233.

[3] Женой консула была М. Е. Зонтаг, двоюродная сестра Н. А. Елагина, дочь детской писательницы А. П. Зонтаг (Елагиной).

[4] А. А. Корнилов. Годы странствий М. Бакунина. М., 1925, стр. 314.

ироническому замечанию Полонского, должно было содержать «предчувствие феноменологии для будущей философии».[1]

Жизнь Полонского в Одессе не привела ни к какому «практическому» результату. Что касается стихов, то «дешевый город» не оправдал его надежд. Н. А. Елагин был прав, когда написал А. Бакунину осенью 1845 года: «Полонскому кланяюсь и с нетерпением жду новых его стихотворений. Вообще, кажется, одесский климат усыпительно действует на его музу, а это жаль».[2] В 1845 году кто-то из одесских «недальновидных приятелей» Полонского (по его собственному выражению) издал книжечку его новых стихотворений («Стихотворения 1845 года»). Этот сборник был гораздо слабее «Гамм» — и Белинский отозвался о нем сурово: он увидел в этих стихах «ни с чем не связанный, чисто внешний талант» — термин, который он применял прежде в отношении к стихам Бенедиктова. «Заглавие «Стихотворения 1845 года» обещает нам длинный ряд небольших книжек, — писал далее Белинский, — обещание нисколько не утешительное. Стихотворения 1845 года уже хуже стихотворений, изданных в 1844 году... Это плохой признак».[3] Называя талант Полонского «чисто внешним», Белинский имел в виду, конечно, отсутствие в его стихах философского и общественного мировоззрения — то самое, что действительно было характерно для юношеских стихотворений Полонского и что сближало его не с Лермонтовым, а с Бенедиктовым. Впоследствии Полонский с благодарностью вспоминал об этом отзыве Белинского: «Его отзыв отрезвил меня <...>, и по крайней мере три четверти из моих тогдашних стихотворений не поступило в полное собрание моих стихотворений».[4] Не так, конечно, отнесся Полонский к отзыву Белинского в момент его появления в печати. Это было страшным жизненным ударом для него; слова Белинского заставили его задуматься над своим будущим и принять новые решения.

Еще в первые дни по приезде в Одессу Полонский узнал, что одесский генерал-губернатор М. С. Воронцов назначается наместником на Кавказ: «Вся Одесса в волнении, — писал он Н. М. Орлову, — все здешнее народонаселение движется за ним, как за колоновожатым. Одесса пустеет — и вряд ли я останусь здесь. Хочется быть на

---

[1] В «Дешевом городе» личность и жизнь Александра Бакунина описаны очень подробно.

[2] А. А. Корнилов. Годы странствий М. Бакунина. М., 1925, стр. 323.

[3] «Отечественные записки», 1846, т. 45, № 4, стр. 57.

[4] «Венок Белинскому». М., 1924, стр. 241. Из 22 стихотворений сборника 1845 года в издание 1896 года не включено 13.

Кавказе и увидеть природу лицом к лицу».[1] «Ради бога, перетащите меня туда, где вы, — писал герой «Дешевого города» уехавшим на Кавказ приятелям, — где борьба, где закипает новая жизнь и где, как видно, еще не умерла поэзия. Если не будет места в Тифлисе, я поступлю в юнкера».

Друзья выхлопотали Полонскому место в канцелярии наместника, и в июне 1846 года он уехал из Одессы в Тифлис.

«Когда, поступив на службу, я в первый раз проходил через канцелярию наместника в кабинет директора Сафонова, — вспоминает Полонский, — я чувствовал такое к себе презрение — такое гадливое к себе чувство при виде чиновников наполнило мою душу, что смешно вспомнить... Мне казалось, что я уже не прежний, свободный, как ветер, независимый, самостоятельный юноша. Слово *начальник* было мне невыносимо... Но спасибо Белинскому! — не разбрани он меня, не решись я навсегда покинуть свои стихотворные или поэтические затеи, я бы, кажется, ни за что не поступил на службу — и если бы та же судьба меня озлобила, я бы погиб. Моя поэтическая деятельность никакой материальной поддержки, никаких средств к жизни не давала мне — особливо в первое время, в конце николаевского царствования, когда цензура не пропускала моей прозы. Только служба да уроки и могли спасать меня от нищеты». Явилась было даже мысль — бросить все и вернуться в Рязань, «где в продолжение десяти лет не прибавилось ни одного домика, ни одной лавчонки, ни одного фонаря». В тифлисской тетради записано четверостишие, порожденное, вероятно, этим тяжелым настроением:

Бесплодный жар любви тая в своей груди,
Я, не рожденный для поклонов,
Уйду, заеду в глушь, исчезну посреди
Шестидесяти миллионов!

Прошло некоторое время, и настроение изменилось к лучшему. В канцелярии наместника Полонскому было поручено составить статистику города Тифлиса и всего уезда; это требовало разъездов для собирания материала — трудная, но живая работа: «Я не вставал с лошади в 1848 г. (если не ошибаюсь)[2] с 11 апреля по 16 сентября, — вспоминает Полонский, — ездил на своем английском седле

---

[1] Письмо Н. М. Орлову, 1 января 1846 года («Новые пропилеи». М.—Пгр., 1923, т. I, стр. 66).

[2] На самом деле эти поездки были не в 1848, а в 1847 году. О поручении составить статистику Тифлиса Полонский сообщил в письме к Л. Л. Гутмансталю от 15 июля 1846 года.

и на переменных лошадях». Кроме того Полонский получил должность помощника редактора в официальной тифлисской газете «Закавказский вестник». Правда, от этого назначения было мало радости: «В Закавказском вестнике вы не найдете ни одной моей статьи, — писал Полонский Гутмансталям 15 августа 1846 года, — потому что мне сказано: — Пусть Закавказский вестник остается таким же, как он есть — формат его казенный, изменять его невозможно — итак, все, что могу я делать, и все, что делаю, — это исправляю, сокращаю те безграмотные статьи, которыми снабжают редакцию». Впрочем, позднее (в годы 1848—1850) Полонский печатал в этой газете очерки и статьи («Климат в Тифлисском уезде», «Тифлис на лицо и на изнанку» и др.). «В это время писал я статейки и о суходольном сарацинском пшене, и о шелкомотальных станках — и уж не помню о чем», — говорит он в черновых воспоминаниях. Этим дело не ограничилось: в «Закавказском вестнике» 1848 года появилось несколько стихотворений Полонского, а в 1849 году в Тифлисе вышел его сборник «Сазандар». Большую роль в этом возвращении к стихам сам Полонский приписывает людям, которые собрались в эти годы в Тифлисе в связи с культурно-просветительными, художественными и научными проектами русского правительства. Полонский познакомился здесь с писателем В. А. Соллогубом, с художником Г. Г. Гагариным, с востоковедом Н. В. Ханыковым, с актерами русского театра и др. Надо особо отметить его знакомство с художником А. Е. Бейдеманом — другом П. А. Федотова, близким приятелем петрашевца А. П. Баласогло.[1] Сам Полонский с благодарностью вспоминал о встречах с ссыльным польским поэтом Заблоцким (см. комментарий к стихотворению «Татарская песня»): «В Тифлисе познакомился я с польским поэтом Лада-Заблодским. Он стал посещать меня, читать книги, переводить мне стихи свои — и опять зажег во мне неодолимую жажду высказываться стихами». Интересно, что Тадеуш Лада-Заблоцкий был университетским товарищем Белинского и участником «Литературного общества 11 нумера»;[2] эти обстоятельства, вероятно, сыграли немаловажную роль в истории знакомства Полонского с Заблоцким.

Надо прибавить, что Полонский завязал знакомство с грузинскими и азербайджанскими поэтами, учеными. Приехав в Тифлис,

---

[1] В тифлисском альбоме Полонского есть два карандашных портрета Полонского работы А. Бейдемана (воспроизведены в изд. «Библиотеки поэта», 1935).

[2] См. М. Поляков. Студенческие годы Белинского. — «Литературное наследство, т. 56. М., 1950, стр. 375 и сл.

он вступил в тот круг, из которого судьба только что вырвала Лермонтова, в котором хорошо помнили и любили Пушкина, где хранили память о Грибоедове. «Я познакомился с М-me Грибоедовой», — сообщил Полонский одесским друзьям в 1846 году. Ее отец, поэт Александр Герсеванович Чавчавадзе, умер незадолго до приезда Полонского в Тифлис, но с братом Н. А. Грибоедовой Давидом он был знаком (см. стихотворение «Кахетинцу») и бывал у них в доме (см. стихотворение «Н. А. Грибоедова»). Как видно из примечания к статье об армянском поэте Саят-Нова (см. в комментарии), Полонский был хорошо знаком и с Ю. Ф. Ахвердовым, пасынком известной П. Н. Ахвердовой, которая была близким другом Грибоедова и Кюхельбекера.[1] В архиве Полонского есть материалы, свидетельствующие о его серьезном интересе к азербайджанскому фольклору: записи народных песен, пословиц, отдельных выражений и слов. Есть перевод «Песни Захры Ханум», сделанный (как предполагает М. Рафили) с помощью азербайджанского поэта и ученого Бакиханова (Абас-Кули-Хана);[2] по его же подстрочному переводу Полонский написал «Татарскую песню». Наконец, Полонский был хорошо знаком с крупнейшим азербайджанским писателем и ученым Мирза Фатали Ахундовым, проживавшим в это время в Тифлисе и служившим в той же канцелярии наместника. Таким образом Полонский вошел в близкие отношения с деятелями грузинской и азербайджанской литературы и широко познакомился с культурой кавказских народов. Недаром появились у него такие стихотворения, как «В Имеретии» («Царя Вахтанга ветхие страницы»), «Над развалинами в Имеретии», «Тамара и певец ее Шота Руставель», и недаром он написал историческую драму в стихах «Дареджана, царица Имеретинская» (из XVII века).[3]

Кавказские стихотворения Полонского образуют особый цикл, резко отличающийся от всего, что он написал в прежние годы. Изучение кавказского края и местных нравов сказалось присутствием исторических, этнографических и политических тем. Поэтический горизонт Полонского сильно расширился. Казалось бы, после Пуш-

---

[1] См. о ней: И. Андроников. Лермонтов. М., 1951. Укажем, кстати, что Егор Ахвердов и Ю. Ф. Ахвердов, которых автор считает разными лицами (стр. 303), — несомненно, одно и то же лицо (Егор — Юрий).

[2] М. Рафили. Мирза Фатали Ахундов. Баку, 1939, стр. 102.

[3] Была запрещена к постановке III отделением (см. подробности у Н. Барсукова — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. XI). В изуродованном цензурой виде напечатана в «Москвитянине», 1852, т. 63, № 7, стр. 101—244. Отрывок — в книге «Русские писатели о Грузии». Тбилиси, 1948, т. I (составил Вано Шадури).

кина и Лермонтова Кавказ стал для русской литературы запретной зоной, тем более для литературы пятидесятых годов, простившейся с романтизмом. На деле получилось иначе: разница между литературой двадцатых годов и потребностями нового времени уже настолько определилась, что стало возможным и даже необходимым вернуться к старым темам заново. Что касается Кавказа, то этого требовала сама жизнь, сама история: не случайно почти одновременно с Полонским Лев Толстой начал писать «Казаков» — с тем чтобы «взамен погибших возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны».[1]

Работа Полонского шла в том же направлении. Среди его кавказских стихотворений есть описательные очерки в духе «натуральной школы». Таково, например, стихотворение «Выбор уста-баша» — демонстративное соревнование с прозой; такова же «Прогулка по Тифлису», насыщенная перечислением вещей, профессий, сцен — с точным наименованием, с использованием местных слов. При этом характерна социальная окраска всего описания:

Я знаю, что нужда не в силах разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых понятий,
Что наша связь давно разорвана с толпой,
Что лучшие мечты[2] — источники страданья —
Для благородных душ осталися мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья,
Я поскорей примусь за описанье. —

Собственно поэтическая основа этих очерков сосредоточена в авторской интонации; подробное описание Тифлиса мотивируется тем, что автору «весело» наблюдать эти картины,

пока не стосковалась
Душа по тем степям, которых вид один
Бывало наводил тоску и даже сплин.

Так создается психологический фон, на котором все описательные подробности и перечисления получают дополнительную лирическую окраску. Она сказывается еще яснее в таких стихотворениях, как «Грузинка», «Горная дорога в Грузии», «Грузинская ночь», «Ночь», «Старый сазандар». Герой этих стихотворений не простой путешественник и наблюдатель, он — поэт, в душе которого новые впеча-

---

[1] Л. Н. Толстой. Юбилейное издание, т. 3. М., 1932, стр. 216.

[2] Слово «мечты» имеет в языке Полонского социальный смысл — ср. в «Свежем преданье» о Камкове («Он понял суть моих страданий И обновил мои мечты») и в стихотворении «Неизвестность» («Мечты мечтами заменил»).

тления переплетаются с воспоминаниями и грустными думами о «родном крае». Лирика приобретает патетический характер, в то же время сохраняя точность местного колорита и связь с фольклором. Восторженное описание ночи («Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыханьем!») заканчивается грустным вопросом: «А вы, мои думы! <...> ужель суждено вам носиться бесплодно над этою чудной страною?» Описание народного праздника, на котором плясала Майко («После праздника»), сменяется описанием следующего дня («веселый пир народный прошел, как сон»), а в эту тему вплетается другая:

Так некогда любовь
Моя прошла — пыл сердца благородный
Простыл, давно простыл; — но не простыла кровь!

В заключительных строках стихотворения «Горная дорога в Грузии» («Вижу, как тяжек мой путь, как бесполезен мой повод!») вдруг звучит голос «далекого друга», придающий всей картине иносказательный смысл:

— Друг мой! зачем ты желаешь
Лучших путей? путь один...

Знаменитая «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь»), представляющая собою поток патетических интонаций, заканчивается внезапной и очень многозначительной фразой, заново осмысляющей все предшествующее: «Оттого, может быть, что далек мой покой». Надо отметить еще одну деталь, которая вносит в тему этого стихотворения особую психологическую сложность: «Так люблю, что *страдая любуюсь* тобой!» Одной этой фразой стихотворение уведено далеко за пределы простого пейзажа.

Таким образом, стихотворения кавказского цикла объединены не только местом действия, но и личностью героя — поэта, судьба которого составляет их сюжетную основу. Особо важно в этой лирической сюите стихотворение «Старый сазандар», имеющее программный характер: беседа двух поэтов («сазандарей») о своем деле и о своих судьбах.

Вот, медных струн перстом касаясь,
Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!

На самом деле их судьбы разные: старик — народный поэт («званый гость на божий пир»), которого в раю ждет милая; его собеседник лишен этих даров:

Ему былое время снится...
А мне?.. Я не скажу ему,
Что сердце гостя не стремится
За эти горы ни к кому;

. . . .

Что песен дар меня тревожит,
А песням некому внимать,
И что на старости, быть может,
Меня в раю не будут ждать!

Следует особо отметить стихотворение «Имеретин» (первоначально — «Дума имеретина»), в котором Полонский развил тему благотворного влияния России на грузинскую культуру:

Единоверному народу
Вручили мы свою судьбу,
Он дал нам полную свободу
Начать бескровную борьбу —

Борьбу с сохой, борьбу с лопатой,
С шелкомотальным колесом...
И стал богат наш дом дощатый
Мотками шелку и вином.

Кавказский цикл заканчивается стихотворением «На пути из-за Кавказа», состоящим из двух контрастирующих частей. Главная тема первой —

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несу перевал.

Вторая часть — интимная:

Но боюсь — если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской. —

Полонский приехал в Рязань, но не остался там: его путь «протянулся» из родимых рязанских полей в Москву, а отсюда — в Петербург.

8

За те пять лет, которые Полонский прожил на Кавказе, положение в «родном краю» не стало лучше: доносы, аресты, цензурные запреты — все это еще усилилось после революции 1848 года. Стоит

вспомнить слова Некрасова в его стихотворном мемуаре «Недавнее время»:

Взволновался Париж беспокойный,
Наступили февральские дни,
Сам ты знаешь, читатель достойный,
Как у нас отразились они.

Полонский впоследствии вспоминал: «Писать в последние годы царствования Николая I было невозможно; цензура разоряла вконец; мои невинные повести: «Статуя Весны», «Груня» и др. были цензурой запрещены; стихи вычеркивались; надо было бороться с цензором из-за каждого слова. Получить место я не мог — писатели были в загоне. <...> На Погодина, на Хомякова, Краевского, Самарина были доносы, они тоже были под подозрением, — словом, страшное, тяжелое время я прожил в эти пятидесятые годы».[1] Первым в защиту поэзии выступил Некрасов: в статье «Русские второстепенные поэты»[2] он восстал против того «дружного осуждения», которому подвергались стихи со стороны журналистики. «В применении к *предшествовавшей стихотворной эпохе,* когда люди без таланта и призвания угрожали наводнить всю литературу плохими стихами, это было хорошо, даже необходимо. Но нам кажется, что теперь, когда дело уже сделано, нужно более снисхождения, более внимания к появляющимся поэтам». Статья написана как своего рода декларация прав поэзии: «Между любителями чтения всегда есть люди (и мы имеем слабость принадлежать к числу их), которым не довольно одних романов и повестей, как бы они ни были хороши», — заявил здесь Некрасов. И дальше: «Итак, потребность стихов в читателях существует несомненно. Если есть потребность, то невозможно, чтоб не было и средств удовлетворить ее». В подтверждение Некрасов тут же опубликовал 9 стихотворений из числа полученных редакцией «Современника», чтобы «загладить тем несколько долгое непомещение стихов» в журнале и показать накопившиеся в редакции «поэтические богатства».

Больше того, Некрасов расширяет круг поэтических имен и объявляет, что «еще недавно поэтов с истинным талантом у нас являлось гораздо более, чем привыкли считать», и что к обычным пяти поэтическим именам «последнего периода» (Пушкин, Жуковский, Крылов, Лермонтов, Кольцов) надо прибавить, во всяком случае, еще одно. Это имя — Ф. Т., т. е. Тютчев, стихотворения которого

---

[1] «Литературно-художественный кружок им. Я. П. Полонского за 1905—1906 и 1906—1907 гг.». СПб., 1908, стр. 17.

[2] «Современник», 1850, № 1.

печатались в «Современнике» в годы 1836—1840: «С 1841 года мы уже не встречали этого имени в «Современнике», — говорит Некрасов, — в других журналах оно также не появлялось, и можно сказать, что с того времени оно вовсе исчезло из русской литературы». Некрасов не ограничился этим и сделал совершенно необычный, смелый и неслыханный в летописях журналистики ход: перепечатал из старого «Современника» 24 стихотворения Тютчева, сопровождая их восторженными замечаниями и особенно подчеркивая, что имя Тютчева следует поставить рядом с именем Лермонтова.

Так началась (употребляя выражение Некрасова) новая «стихотворная эпоха». В критических статьях «Современника» от поэзии требуют теперь верной передачи разных состояний души. Стихи Огарева хвалят за то, что в них явления жизни и картины природы сливаются с душевными ощущениями: на первый план выдвигаются «вопросы сердца». Идейной основой для этой лирики служили те социальные искания, которые в сороковых годах охватили русскую передовую интеллигенцию. Уже петрашевцы выдвинули рядом с общей проблемой создания нового экономического строя вопрос об удовлетворении «страстей». Изучение *природы* человека во всей сложности, изображение самых душевных *процессов* (а не только результатов) во всей их противоречивости — таковы были новые художественные задачи.

Воцарившийся в русской литературе пятидесятых годов психологизм был органическим порождением социально-утопических идей и стремлений — поисков новых путей к счастью и благосостоянию человечества. Недаром Чернышевский так решительно и взволнованно приветствовал «диалектику души» в первых повестях Толстого: он видел в этом проявление «чистейшего нравственного чувства» — борьбу за нового человека. Однако в дальнейшем положение изменилось — в том смысле, что психологизм стал своего рода орудием дворянской литературы в ее борьбе с революционными демократами. «Природа человека» оказалась оторванной от социальной основы, от «форм общежития»; психологический анализ превратился как бы в самоцель и потерял свое прежнее значение

Все это сказалось и на лирике Полонского, колебавшегося между «тревогами сердца» и «гражданственными тревогами» (по его же выражению). Среди стихотворений кавказского периода уже есть такие, в которых намечен путь к художественной разработке душевных состояний и страстей. Таково, например, характерное «Не мои ли страсти», процитированное Добролюбовым в статье о Полонском (1859). Традиционный (фольклорный по происхождению)

параллелизм душевной жизни и жизни природы доведен здесь до того, что у поэта является вопрос: «Не мои ли страсти поднимают бурю?» И значит: «С бурями бороться не в моей ли власти?» Ответ дан в виде вопроса, тоже очень характерного:

Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?

Другой пример — «Качка в бурю», где есть слова, с юности запомнившиеся Блоку: «От зари *роскошный холод* проникает в сад». Сам Полонский говорил на старости лет, что теперь он бы «не решился обмолвиться таким эпитетом — написал бы *вечерний холод* — и было бы хуже».[1] В этом стихотворении жизнь сердца протекает во сне, превращая явления природы в воспоминания: буря качает корабль — «качает няня колыбель мою». Сон — психологическая мотивировка (как это часто у Полонского) сюжета.

Полонский не ограничился лирикой: он писал и поэмы, и повести, и очерки, и романы (с заметной ориентацией на Тургенева).[2] Добролюбов обратил внимание на то, что в своих рассказах Полонский «не удаляется от того характера, который мы находим господствующим в его стихотворениях <...>; в них всегда рисуется перед нами — или какая-нибудь оригинальная личность, или странное явление душевной жизни, или, наконец, придается какая-нибудь таинственность внешней обстановке. Один из рассказов, «Статуя Весны», особенно близко подходит к характеру стихотворений г. Полонского».[3] Это очень верное и тонкое наблюдение можно несколько расширить: иной раз стихотворения Полонского соотносятся не с его собственной прозой, а с прозой Лермонтова, Тургенева и др. Это особенно сказывается в тех стихотворениях, которые имеют характер новелл или баллад. Таково, например, стихотворение 1852 года «Финский берег» — ироническая парафраза на «Тамань» Лермонтова.

---

[1] Письмо к Л. И. Поливанову, 1892. — «Жизнь», 1922, № 2, стр. 148.

[2] О поэмах пятидесятых и шестидесятых годов («Кузнечик-музыкант», «Братья») см. в комментарии; позднейшие поэмы («Мими», «Келиот», «Анна Галдина» и др.) представляют интерес только при детальном, монографическом изучении Полонского. Его повести («Статуя Весны», «Груня», «Шатков» и др.) и романы («Признания Сергея Чалыгина», «Дешевый город», «Крутые горки») интересны как своего рода мемуары или как попытки перейти от психологической лирики к психологической прозе.

[3] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. II. М., 1935, стр. 490.

Основная ситуация та же: бедный домик у моря, загадочная дочь хозяйки, которая «с усмешкой настежь двери отворяет». К ней обращается рассказчик с коварными вопросами (совсем как Печорин к «ундине»):

А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,
Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?

В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?

Как и Печорин, рассказчик «пристыжен», но тем, что никакой загадки нет: «А зачем костер? — на это каждый вам рыбак ответит».[1]

Стиховая парафраза Полонского на новеллу Лермонтова была одним из первых его опытов в области лирического сюжета. Следующим опытом было стихотворение «Весна». Оно начинается более чем традиционно: «Воротилась весна, воротилась! Под окном я встречаю весну». Во второй строфе раскрывается неожиданная сюжетная ситуация, меняющая смысл и интонацию первой строфы:

И напрасно черемухи запах
Мне приносит ночной ветерок;
Я сижу и тружусь; сердце плачет,
А нужда задает мне урок.

В пейзаж врывается социальная тема: весна — и бедность. Но почему «сердце плачет»? Ответ — в третьей строфе:

Ты, любовь — праздной жизни подруга, —
Не сумела ужиться с трудом...
Со слезами со мной ты простилась —
И другим улыбнулась тайком...

Замечательно, что в первопечатном тексте («Современник», 1853, № 3) была еще четвертая строфа, содержавшая бытовые подробности:

---

[1] Характерно, что это стихотворение обратило на себя внимание В. М. Жемчужникова: пародия на него («Разочарование. Баллада») появилась в «Свистке» 1860 года за подписью Козьмы Пруткова. В пародии подчеркнута прозаичность интонаций.

И лукаво подмазавши петли
У дверей, что нескромно скрипят,
Для других засветила лампаду
И окно занавесила в сад.

В издании 1869 года Полонский снял эту строфу, и, вероятно, не столько потому, что она «нескромная», сколько потому, что она превращает лирический сюжет в повествовательный, прозаический — переводит все стихотворение в другой интонационный план. Лирический сюжет — узор, а не рисунок.

У Полонского есть подлинные лирические новеллы, еще несколько наивные по структуре, но уже совершенно определенные по поставленной в них художественной задаче: «Письмо» и «Воспоминание». В первом (он, в разлуке с ней, пишет ей письмо, но она — «среди степных невежд»: «Пропустят ли они нераспечатанным мое письмо к ней в руки?») сущность конфликта сжато сформулирована в конце: «Нужда — невежество — родные и — любовь!» Знаменательно, что психологическая ситуация опять осложнена социально-бытовой стороной жизни («нужда»).

Из этих опытов или этюдов вырастает стихотворение «Колокольчик», на которое современники всегда указывали как на своего рода шедевр. В «Униженных и оскорбленных» Достоевского этим стихотворением восхищается Наташа Ихменева; в ее уста вложена интересная оценка: «Какие это мучительные стихи, Ваня! и какая фантастическая, раздающаяся картина. *Канва одна и только намечен узор,* — вышивай, что хочешь» (ч. 1, гл. XV). Это и в самом деле было замечательным художественным открытием Полонского, давшим ему возможность развернуть в пятидесятых годах целую лирическую сюиту: «В глуши», «Свет восходящих звезд», «Моя судьба, старуха», «Нет, нет! не оттого». Сюда же относится и необыкновенная по решению задачи «Смерть малютки» — стихотворение, смысловой узор которого поражает своей многозначностью.

Лирика Полонского пятидесятых годов не исчерпывается этой психологической сюитой: гражданские мотивы, врывавшиеся в качестве побочных тем в стихотворения с психологическим сюжетом, начинают звучать и самостоятельно, отражая события 1854—1856 годов (Крымская война, смерть Николая I, общественное движение). Первым появляется стихотворение «Времени» — монолог в стиле лермонтовской «Думы», написанный в очень скорбном тоне. Для нынешнего поколения никаких надежд нет:

Другому поколенью
Ты наши лучшие надежды передашь,
Твердя ему в урок удел печальный наш.

После 1855 года в стихотворениях Полонского появляются мотивы отчаяния и безнадежности. Он изображает свою судьбу в виде безобразной, глупой и злой старухи няньки, которая весь день следит за ним и мешает ему своей болтовней:

Уединясь, мечтаю ли о славе,
Она, как мальчика, придет меня дразнить.
И болен я — и нет мне сил подняться,
И слышу я: старуха, головой
Качая, говорит, что вряд ли мне дождаться
Когда-нибудь судьбы иной.

Каждое его стихотворение наполнено жалобами, упреками, сознанием безысходности, обреченности. Описывая петербургский туман, он с острой болью говорит о жизни, согнутой «под ярмом». Добролюбов отметил характерную черту поэзии Полонского — его «недовольство окружающей действительностью», протест против нее и в то же время уход в «свою особенную действительность» от житейской пошлости, угнетения и обмана. Полонский все больше и больше погружается в мир своего воображения — в ту «действительность», которая ему мерещится. Тема снов, бреда и галлюцинаций все чаще и чаще появляется в его стихотворениях. Он пишет целую серию стихотворений под заглавием «Сны». Но наряду с этими мотивами Полонский обращается и к темам политической современности. Типично стихотворение «На корабле», целиком процитированное Добролюбовым в статье 1859 года. Оно разделено на две половины. В первой говорится о ночи — и строка «Еще вчерашняя гроза не унялась» служит рефреном; вторая начинается возгласом: «Заря! .. друзья, заря!» и имеет явно иносказательный смысл. Добролюбов отметил, что это стихотворение Полонского отчасти отзывается «дидактизмом, столь несвойственным его таланту»: «Итак, — продолжает Добролюбов, — мы видим, что поэт не прочь от надежд, не прочь от общественных интересов». Это подтверждается и такими стихотворениями 1855—1856 годов, как «На Черном море», «На пути из гостей», «И. С. Аксакову» (см. комментарий).

В 1855 году вышло собрание стихотворений Полонского. В те же годы появился сборник стихотворений Тютчева (1854), а в 1856 году сборники Некрасова, Огарева, Фета, Никитина. Полонский мог чувствовать себя удовлетворенным: он стал постоянным сотрудником «Современника» и был признан одним из лучших поэтов послепушкинского периода. В «Современнике» 1855 года появилась рецензия Некрасова (без подписи), в которой было сказано, что при таланте Полонский «обладает еще другим очень замечательным качеством: с течением времени он не подается с большей или мень-

шей стремительностью назад, как весьма часто случается с отечественными талантами, но хотя медленным, но твердым и верным шагом идет вперед — совершенствуется». Мало того: Некрасов еще прибавил, что произведения Полонского, «кроме достоинства литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной личности», а это, как сказано в той же рецензии, необходимо писателю, «чтоб достойно проходить литературное поприще».[1] У Полонского завязываются дружеские отношения с И. С. Тургеневым, М. И. Михайловым, с семьей петербургского архитектора А. И. Штакеншнейдера,[2] с А. Н. Майковым, Л. П. Шелгуновой и др.

Однако материальная сторона жизни оставалась необеспеченной: Полонскому приходилось зарабатывать деньги попрежнему частными уроками. В 1855 году он принял предложение некогда известной своей дружбой с Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым А. О. Смирновой — поселиться у них для воспитания ее сына. «Состояние духа моего в беспрестанном колебании, — писал он Некрасову, — то я доволен и даже рад, что живу у Смирновых, то дуюсь на самого себя и браню себя на чем свет стоит за то, что поступил. <...> Благодарю вас за присылку 5 рублей. Надо вам сказать, что у Смирнова денег я брать пока не намерен — ради поддержания своего собственного достоинства, а потому и благодарен вам за всякую сумму».[3]

Весной 1857 года Полонский, в качестве «гувернера» Смирновых, поехал с ними за границу. Он вспоминал потом, что с радостью вступил на пароход и чувствовал «прилив новой бодрости, новой свежести». Однако жизнь за границей не оправдала его надежд: в письмах из Баден-Бадена (к М. Ф. Штакеншнейдер и Л. П. Шелгуновой) он жалуется и на пустоту окружающего общества, и на

---

[1] Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 273. В комментарии к этой статье сказано, что Некрасов обращается к Полонскому «с призывом отказаться от служения чистому искусству»: *«В этом смысл комментируемой рецензии».* (Стр. 742.) Это совершенно неверно. Достаточно прочитать рецензию Некрасова, чтобы увидеть нечто обратное: Некрасов *противопоставляет* Полонского как поэта, обладающего «живым пониманием благородных стремлений своего времени» (и именно потому развивающего свой талант), тем, которые «закрывают глаза на совершающееся вокруг нас».

[2] Много интересных записей о Полонском — у дочери архитектора, Е. А. Штакеншнейдер («Дневник и записки». М., 1934). Ср. комментарий к стихотворению «Ползет ночная тишина».

[3] «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома». Пгр., 1922, стр. 271.

нравы, и на капризы А. О. Смирновой. «Славная канва для комедии самой едкой — этот Баден-Баден!» — восклицает он и называет этот город «Вавилончиком».[1]

Полонский расстался с Смирновыми, однако решил остаться на некоторое время за границей: «Воротиться на зиму в Россию нет ни моральных, ни физических средств», — сообщал он М. Ф. Штакеншнейдер. У него возник фантастический проект: «15 августа нового стиля еду я в Женеву, — пишет он ей же, — и там поселяюсь на всю осень, живу на каком-нибудь чердаке, знакомлюсь с Герасси и Калямом[2] и учусь живописи днем, вечера и ночи пишу (совершенно отстранившись от всякого общества). Если увижу, что у меня есть талант, останусь на целый год и буду работать». В архиве Полонского сохранился интересный отрывок мемуара о жизни в Женеве — под заглавием: «Дидэ[3] и Калям». Полонский вспоминает: «Пребывание в Женеве с августа по октябрь в 1857 году было самое счастливое время моей жизни. <...>Живопись — или пристрастие к кистям и палитре спасло меня и от учительства и от вынужденного нуждой гувернерства». Мечты Полонского не осуществились: Калям отказался принять его в число своих учеников. Не оставляя надежд на живопись, Полонский поехал в конце 1857 года в Рим. Там он встретился с Г. А. Кушелевым-Безбородко, который задумал издавать журнал «Русское слово». «Он просит меня быть постоянным помощником его в деле издания его», — сообщил Полонский Л. П. Шелгуновой в январе 1858 года. Полонский колебался, принять ли ему предложение, и просил совета М. И. Михайлова: «Моя нерешительность проистекает <...> из желания остаться в Риме надолго и учиться рисовать». Михайлов посоветовал принять: «Благодарю друга Михайлова, — писал Полонский Шелгуновой в марте 1858 года, — <...>за совет принять предложение Кушелева, я принял его, не потому, что тянет в литературную журнальную кабалу, а принял потому, что нельзя было не принять, у меня оставалось в кармане несколько франков и за последним из них уже зияла черная бездна. <...>я мог бы в Риме рано или поздно умереть хотя и честной, но голодной смертью». Письмо кончается интересными словами, подводящими итог заграничным впечатлениям: «Как ни

---

[1] См. «Голос минувшего», 1919, № 1—4; письма к Л. П. Шелгуновой — в газете «Русская земля», 1904, № 3. Ср. стихотворное послание «А. Н. Майкову».

[2] Герасси (вернее — Эрасси) Михаил Спиридонович — русский художник-пейзажист (1823—1898), ученик известного швейцарского пейзажиста Александра Каляма (Calame, 1810—1864).

[3] Франсуа Дидэ (Diday) — швейцарский живописец (1802—1877), учитель Каляма.

дурно в России, а, право, судя по тем слухам и письмам, которые ко мне со всех сторон стекаются, только Русь и шевелится, только у нас что-то и шевелится во имя прогресса. Европа спит мертвым сном (на вулкане), — выплывают наружу какие-то допотопные теории и предрассудки: Франция хлопочет о восстановлении аристократии, Италия теряет веру в будущее и тонет в невежестве — литература ее ничем не лучше упражнений наших гимназистов, — у всех слава назади, у нас одних она светит в далеком будущем. Вы этого, живя в России, не видите и не чувствуете, а нас всякая малость радует, даже и то, что в Петербурге будки сломали, — правда ли это?»

Из Рима Полонский поехал в Париж и там женился на дочери псаломщика при русской церкви — Елене Васильевне Устюжской: «Роковая встреча с нею и, вообще, все это дело, мною начатое, — писал он Л. П. Шелгуновой, — подняли со дна души моей все, что чуть не с детства покоилось в ней. Все хорошие и дурные стороны моего характера, все выступили наружу, и я борюсь то со своим самолюбием, то с испугом за будущее, то с невольной боязнью взять на свою ответственность новое для меня существование, не имея под ногами у себя прочной почвы».

В августе 1858 года Полонский приехал в Петербург и взялся за редакторскую работу в журнале Кушелева «Русское слово».

4

Годы 1856—1858 были временем больших перемен как в общественно-политической жизни, так и в литературе — и особенно в журналистике. Определившаяся после Крымской войны революционная ситуация привела к обострению классовой борьбы и к уточнению идеологических позиций. Развернулась «обличительная» литература, закипела журнальная полемика: «появилось столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны», — писал Л. Толстой об этих годах (в первой главе «Декабристов»). Прежняя форма редакционных «коалиций», при которой в одном и том же журнале могли сотрудничать люди очень разных взглядов (как это было, например, в «Современнике» до 1857 года), стала теперь невозможной. Революционные демократы, во главе с Чернышевским, решительно отделились от дворян-либералов, в свою очередь объединившихся в обновленной «Библиотеке для чтения» (около А. В. Дружинина) и в «Русском вестнике» — новом московском журнале М. Н. Каткова.

Предпринятый Г. А. Кушелевым журнал «Русское слово» не имел ни серьезной общественной опоры, ни определенного напра-

вления. Полонский понимал это, он принял предложение Кушелева главным образом по материальным ссображениям: оно, по его собственным словам, обеспечивало ему спокойное возвращение в Россию. В письме к Л. П. Шелгуновой (1858) он признается: «мысль об этом издании заранее меня сокрушает; на материалы, собранные графом, надежда плоха, а будет плох журнал — я не вынесу». В следующем письме Полонский умоляет М. И. Михайлова не покидать его «на скользком и проклятом журнальном поприще» и сообщает: «Граф вполне сознался наконец, что для журнала еще ничего не сделано, что окружали его не литераторы, а литературная тля, что из приобретенных им рукописей более трех третей — дрянь никуда не годная». Здесь же Полонский просит Михайлова найти для журнала «хорошего и с бойким пером критика», заранее отводя кандидатуру Аполлона Григорьева.

Полонский сделал ошибку, приняв предложение Кушелева. «Положение Полонского шатко, — записала в дневнике Е. А. Штакеншнейдер. — Что такое журнал графа Кушелева, на что он ему? Сегодня вздумал издавать, завтра раздумает... А если он и не бросит журнала, то Полонского все же может бросить во всякое время».[1] Она была права: Кушелев очень скоро бросил и журнал (передал его Г. Е. Благосветлову) и Полонского.

В 1860—1861 годах в «Русском слове» появились новые сотрудники (Д. И. Писарев, Д. Д. Минаев), придавшие журналу радикально-демократическое направление. Положение Полонского стало трудным. Политический и эстетический радикализм Д. И. Писарева и Д. Д. Минаева был неприемлем для него: его демократизм был всегда расплывчат, а в полемике он не раз склонялся к либеральной позиции. В 1861 году он ушел из «Русского слова» и стал печататься во «Времени». Ему грозила опасность оказаться в лагере «чистого искусства» и быть использованным теми критиками, которые (во главе с Дружининым) объявили себя борцами за восстановление «пушкинских» традиций — против «дидактического» или «гоголевского» направления, т. е. против учеников и последователей Белинского, против Чернышевского, Некрасова и других революционных демократов. Дружинин еще в 1856 году выдвигал Полонского. В годы 1861—1864 Полонский печатал свои стихи и поэмы в журналах «Время» и «Эпоха», продолживших традиции славянофилов. Здесь он выступил против Минаева и противопоставлял свою поэзию стихам Некрасова («Поэту-гражданину»).

---

[1] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М., 1934, стр. 223.

Между тем традиции «чистой поэзии» все больше и больше уходили в прошлое или становились лозунгом реакционеров, с которыми Полонскому было не по пути. Не по пути ему стало и с его старым другом Фетом, занявшим открытые реакционные позиции в литературе. Время вынуждало Полонского обратиться к гражданским темам. В обстановке жестокой классовой борьбы, определившей собою литературные направления шестидесятых и семидесятых годов, Полонский занял ту самую позицию либерала, которую так беспощадно и зло высмеивал Салтыков-Щедрин. Эта позиция явилась в большой мере плодом растерянности, результатом безвыходности. Поэтому в ней нет ясности, определенности, программности, отличавшей последовательных либеральных деятелей. Полонский мечется между Тургеневым и Некрасовым: ища защиты у первого, он в то же время просит второго принять его в число сотрудников «Отечественных записок». В ответ на отказ напечатать поэму «Келиот» он пишет Некрасову: «Вы толкаете меня в объятия ваших же врагов».

Полонского могла ждать историческая участь Фета, в шестидесятых годах потерявшего всякую связь с живой современностью и передовой литературой; его спасло то, что он не был заражен «дворянским инстинктом», который болезненно развился у Фета. Полонский страдал от неопределенности своего социального и экономического положения, он должен был давать уроки и служить, но никогда не соблазнялся дворянскими или буржуазными идеалами. Его поэзия всегда оставалась поэзией душевной и гражданской тревоги («Тревоги духа, а не скуку делил я с музой молодой», «Там даже сон любви — больной, тревожный сон» и т. д.), и это резко отличает его как от Фета, для которого поэзия была преодолением тревог, эстетическим выходом из них, так и от Майкова: он ближе, с одной стороны, к Тютчеву, с другой — к Некрасову. О связях его с теорией «чистого искусства» можно говорить только очень условно и только в отношении начала шестидесятых годов; в дальнейшем эти связи совершенно оборвались.

В 1859 году вышел новый сборник стихотворений Полонского. Добролюбов сочувственно отметил основную черту его поэзии — «внутреннее слияние явлений действительности с образами его фантазии и с порывами его сердца», но выразил досаду, что Полонский не умеет проклинать, что он «находит в себе силы только грустить о господстве зла, но не решается выходить на борьбу с ним. Самые дикие, бесчеловечные отношения житейские вызывают на его губы только грустную улыбку, а не проклятие, исторгают из глаз его слезу, но не зажигают их огнем негодования и мщения». В пример

Добролюбов приводит стихотворение «На устах ее — улыбка»,[1] которое считает «одним из замечательных стихотворений» Полонского, но удивляется его незлобивости: «Тема этого стихотворения — нелепый общественный обычай, по которому женщина любящая и любимая гибнет в общем мнении, как скоро она отдается своему чувству вопреки некоторым официальностям, тогда как мужчина, бывший виною ее падения, преспокойно может обмануть ее и удалиться, извиняясь тем, что страсть его потухла. Вопль негодования мог бы вырваться у другого поэта, взявшего подобную тему; мрачная, возмутительная картина могла бы нарисоваться из таких отношений человеческого сердца к нелепым требованиям общества. Но вот какие стихи вышли у г. Полонского».[2]

Полонский, конечно, не мог согласиться с Добролюбовым, но надолго запомнил его упрек: «Когда покойный Добролюбов, говоря о моем стихотворении «На устах ее — улыбка», жалел, зачем я не прихожу в негодование при мысли, что любя можно губить, я невольно подумал: вдумываться в явления жизни, воспроизведенные искусством, и приходить в негодование — это уж ваше дело, гг. критики».[3] Расхождение очень характерное: Добролюбов увидел в этом стихотворении гражданскую тему («нелепый общественный обычай» и проч.), а Полонский смотрел на него как на чисто психологическое («любя можно губить»), близкое к тютчевскому — «О, как убийственно мы любим!» Однако слова Добролюбова очень задели его, потому что коснулись больного вопроса о «гражданственных тревогах» — о борьбе с социальным злом. Новая эпоха требовала, чтобы литература перешла (как выразился Салтыков-Щедрин, говоря о задачах сатиры) *«с почвы психологической на почву общественную»*. Таков был путь Некрасова. В сознании Полонского зло было явлением не столько социальным, сколько морально-психологическим; поэтому позиция поэта-борца была для него невозможна — дальше «нервического плача» («Муза») он пойти не мог.

Добролюбов упомянул о стихотворении «Сумасшедший», напечатанном в «Современнике» 1859 года. Это была одна из первых попыток Полонского «откликнуться» на то, что он сам называл «ве-

[1] См. стихотворение «Подойди ко мне, старушка»; в сборнике 1859 года оно было напечатано без первых 16 строк и без первоначального заглавия («Гаданье») — характерный прием отказа от подробностей, превращения рисунка в узор.

[2] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. II. М., 1935, стр. 495.

[3] «Отечественные записки», 1867, т. 171, кн. 2, стр. 720 (статья Полонского против Писарева: «Прозаические цветы поэтических семян»).

яньями времени»[1], — попытка очень характерная, поскольку социальная тема дана в психологическом обличье. Утопическая идея всеобщего счастья вложена в уста «сумасшедшего», который (как новый Поприщин) объявляет, что «разрешил задачу»:

Да, господа! мир обновлен. — Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку. —

Это, конечно, не значит, что Полонский считает эти мечты безумием, — он сам жил ими. Первая фраза — «Кто говорит, что я с ума сошел?!» — кажется цитатой из «Горя от ума» («Что это? слышал ли моими я ушами!» и т. д.), и недаром: смысл стихотворения раскрывается в заключительной строфе, звучавшей когда-то агитационным призывом («Ликуйте! вечную приветствуйте весну!» и т. д.). Несколько сходная ситуация — в одном из «Снов» (частый мотив в лирике Полонского):

Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный, —
В своем ли я нынче уме?

В шестидесятых и семидесятых годах Полонский все чаще и все энергичнее откликается на общественно-политические события и вопросы, но его гражданская лирика остается лирикой «гражданственных тревог» и не переходит в лирику «негодования». Горькое раздумье, жалобы, недоуменье, грусть, досада, страх за будущее человечества — таковы главные эмоциональные тона его лирики. «Откликнитесь, где вы, счастливые, где?» — спрашивает он без надежды на ответ. В «злой современности» он не видит никаких путей к добру (ср. стихотворение «Среди хаоса»), а потому живет жаждой «пересилить время — уйти в пророческие сны» («Муза», 1866). Таково, например, стихотворение «Неизвестность» (1865), написанное по следам грозных событий последних лет (в том числе — арест и гражданская казнь Чернышевского, польское восстание, расправа Австрии и Пруссии с Данией). Это уже не иносказание и не психологический этюд, а политический монолог, состоящий из ряда вопросов, раздумье о настоящем и будущем, содержащее предчувствие грядущих социальных катастроф и преобразований. Характерно, что Полонский возлагает свои надежды не на силы народа, не на исторический процесс, а на то, что придет гений («пророк-фанатик вдохно-

[1] «Веянья времени колебали меня во все стороны», — писал он Фету в 1890 году (архив Полонского).

венный или практический мудрец»), который «заставит очнуться нас от тяжких снов». В последних строках говорится о «предтече», который, может быть,

Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что́ есть и пить...

Это заставляет вспомнить лермонтовского пророка («Из городов бежал я нищий»); однако признаки, перечисленные Полонским, имеют более конкретный, бытовой характер и как будто намекают на то, что этот предтеча — ссыльный беглец:

Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.

Слово «мечты» имеет здесь, конечно, не прежний романтический, а социальный смысл.

Рядом с «Неизвестностью» можно поставить стихотворение «Откуда?!», написанное накануне франко-прусской войны (ср. «Вложи свой меч») и Парижской коммуны. Оно начинается почти так же, как «Неизвестность» («Откуда же взойдет та новая заря»), и состоит тоже из целой системы вопросов, но уже не о том, «кто этот гений», а о том, чья культура принесет истинную свободу. Вопросы прерываются неожиданным и, повидимому, полемическим (в адрес неославянофилов) заявлением: «Мне, как поэту, дела нет, откуда будет свет, лишь был бы это свет».

Надо сказать, что поэтическая индивидуальность и лирическая сила Полонского нашли свое выражение не в такого рода ораторских монологах, а в более характерной для него сюжетно-психологической лирике — в таких стихотворениях, как «Миазм» («Дом стоит близ Мойки»), «Простая быль», «Что с ней?», «Ночная дума», «Слепой тапер», «Узница» («Что мне она! — не жена, не любовница»). Особенно популярна была последняя вещь — и не только благодаря самой теме, но и потому, что тема эта развернута в форме взволнованной авторской речи, за которой скрывается сложный душевный процесс. Черновой автограф этого стихотворения насыщен большим количеством бытовых подробностей (см. в комментарии); кроме того есть строки, которые не могли быть пропущены цензурой: «Словно зовет меня, в зле неповинного, в суд отвечать за нее» или — о «свете», в котором «кишат лицемерные плуты — развратник иль вор». Здесь Полонский подошел почти вплотную к Некрасову — и это не случайно: поэзия Некрасова стала в эту пору для Полон-

ского своего рода лирической темой — одной из его «гражданственных тревог». Он то спорит с Некрасовым, то преклоняется перед ним. Еще в 1860 году появилось стихотворение «Для немногих» («Мне не дал бог бича сатиры»), в котором Полонский противопоставляет свою музу некрасовской: «Я не взываю к дальним братьям, <...> В моей душе проклятий нет». К 1864 году относится стихотворение «Поэту-гражданину», в котором есть связь с лермонтовским «Не верь себе»: «мечтателем» оказывается теперь Некрасов — «гражданин с душой наивной» (ср. в «Братьях» о М. Ф. Орлове: «Спи мирно в гробе, наивный гражданин!»):

Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликаяся, идет,
. . . .
И к поэтическим страданьям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.

В стихотворении «О Некрасове» он защищает поэта от клеветы и сплетен. Полонский вспоминает, как больной Некрасов учил «гражданству», и называет его «вещим певцом страданий и труда».

К концу шестидесятых годов Полонский формулирует свою позицию либерального поэта. В стихотворении «Одному из усталых» он уговаривает своего старого товарища не бежать от современности в уединение:

О! я б и сам желал уединиться,
Но, друг, мы и в глуши не перестанем злиться
И к злой толпе воротимся опять.
. . . .
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы — вольная страна.

Тогда же было написано стихотворение, которое начинается словами: «Писатель — если только он волна»; требование «свободы» заявлено здесь еще решительнее.

5

В 1869—1870 годах вышло первое собрание сочинений Полонского (4 тома), включавшее стихи и прозу за тридцать лет. Рядом с сочувственными и одобрительными отзывами появились и иные, очень взволновавшие Полонского. Так, в народническом журнале

«Библиограф» говорилось: «Делается очевидным, что г. Полонскому, уподобившемуся старой нянюшке, перезабывшей свои колыбельные песни, не о чем больше разговаривать с своим недалеким прошлым, и ежели он может еще в настоящую минуту сделать что-нибудь хорошее, так это одно только, именно: с добродушной, сочувственной улыбкой проводить до могилы отжившее, так долго услаждавшееся им общество; а самому приободриться как-нибудь, — попринудить свое «сердце забыть бледные образы» и поискать снова

У жизни, чувством бедной,
Подобья прежних дней.

Мы от души желаем грациозной и добросердечной музе г. Полонского полнейшего освобождения от уродливых галлюцинаций, в которых она, благодаря своей наивности, так долго видела действительные жизненные явления».

Но особенно взволновала Полонского рецензия, появившаяся в «Отечественных записках» (1869, № 9) и принадлежавшая М. Е. Салтыкову-Щедрину. Здесь Полонский характеризуется как поэт второстепенный и как типичный эклектик, который «берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами, а ограничиваясь сферами средними, в которых всякое направление утрачивает свои резкие особенности... Г. Полонский очень мало известен публике, и это, как нам кажется, совсем не потому, что он писатель только второстепенный, а потому что он, благодаря своей скромности, записал себя в число литературных эклектиков. С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однакож, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается».

Под впечатлением этой рецензии Полонский написал Тургеневу, жалуясь на свою судьбу и на положение поэзии в России. Тургенев ответил обычным своим советом: «Продолжай делать свое, не спеша и не волнуясь», а сам написал письмо в редакцию «Петербургских ведомостей», в котором выступил на защиту Полонского. В этом письме Тургенев возражал Салтыкову: «Определение Полонского как писателя несамобытного, эклектика неверно в высшей степени. Если

про кого должно сказать, что он не эклектик, не поет с чужого голоса, что он, по выражению А. де Мюссе, пьет хотя из маленького, но из своего стакана, так это про Полонского. Худо ли, хорошо ли он поет, но поет уж точно по-своему... Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную, смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости». Письмо кончалось резким отзывом о стихах Некрасова.

Редакция газеты сделала характерное примечание, в котором объясняла причины равнодушия и охлаждения публики к стихам Полонского: «Это охлаждение не случайно, оно создано не измышлением того или другого критика и вовсе не есть особенность русской критики и публики <...>. Общественные задачи повсюду отвлекают внимание от так называемой чистой, точнее — личной поэзии. Талант г. Полонского, сам по себе не очень сильный, преимущественно почерпает свое содержание в сфере личных, лирических ощущений, лучшее время которых пережито обществом и прошло».

Прочитав защитительное письмо Тургенева, Полонский написал Некрасову: «Из этого письма я увидел ясно, что одна несправедливость в литературе вызывает другую, еще большую несправедливость. Отзыв И. С. Тургенева о стихах ваших глубоко огорчил меня».[1] Однако поправить дело было уже невозможно. Воспользовавшись появлением нового сборника стихотворений Полонского («Снопы», 1871), Салтыков-Щедрин напечатал еще более резкую рецензию, в которой утверждал, что основной недостаток поэзии Полонского — неясность миросозерцания.

Все дело было в том, что Полонский не мог перейти «с почвы психологической на почву общественную», как это гениально сделал Некрасов. И произошло это, разумеется, не только потому, что Полонский не был поэтом гениальным, но прежде всего потому, что у него не было той жизненной опоры для творчества, которой в полной мере владел Некрасов: опоры на народ, на крестьянство — на его социальное сознание, быт, искусство, язык, нравы, на его прошлое и будущее. Без этой опоры в шестидесятых годах не могло быть подлинной идейной и творческой силы, подлинного творческого развития и настоящего художественного воздействия. Полонский сам понимал эту свою социальную и поэтическую неполноценность;

---

[1] «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома». Пгр., 1922, стр. 278.

его «Жалобы музы» — очередной «нервический плач», кончающийся воплем музы к поэту:

Куда я пойду теперь? — темен мой путь...
Кличь музу иную — меня позабудь!

В этом стихотворении есть очень важные строки:

Ни свет ни заря вышел пахарь; за ним,
За плугом его я пошла полосой;
Помочь не могла ему слабой рукой.
Хотела помочь ему пеньем моим,
Но пахарь и слушать меня не хотел,
Попрежнему песню степную он пел...
Сама я заслушалась песни родной —
И в город ушла за рабочей толпой.

Из этих нескольких строк выросло потом большое стихотворение «В степи», сюжетом которого служит встреча поэта с «босоногим мужиком», пашущим землю со своей клячей.

«Бог тебе в помощь, земляк!» — вымолвил я и подумал:
Ум мой и руки мои, видно, не в помощь тебе!

Поэт предлагает мужику обменять его клячу на Пегаса: «Конь — что ни в сказке сказать, ни пером описать, — конь крылатый». Мужик подозревает, что перед ним колдун:

«Нет, не колдун, у меня есть другое, старинное прозвище:
Люди меня обзывают *поэтом*. Слыхал ли ты это
Громкое слово: поэт?» — «Не слыхал, милый! сроду
не слыхивал».

Поэт спрашивает, куда бы он полетел на Пегасе; мужик говорит, что «обрубил бы чертовы крылья анафеме, да и запряг бы в телегу»:

«Ну, дядя, вряд ли нам выгодно будет меняться.
Ты на Пегасе моем далеко не уедешь, а я
С клячей твоей не спашу и одной десятины...»

В рукописной редакции после этого были еще две важных строки:

Оба привыкли мы к горю, но я твоего не стащу,
А ты моего не запьешь никакою сивухой — прощай!

Некрасов умел говорить с крестьянами на иные темы и иным языком; они понимали друг друга и могли друг другу помочь. У Полонского этого не было: его поэтическим делом было создание лирики сердечных тревог и гражданственных жалоб, лирики постоянных «опасений» и тяжелых «ночных дум»:

Как больной, я раскрываю очи.
Ночь, как море темное, кругом.
И один, на дне осенней ночи,
Я лежу, как червь на дне морском.

В стихотворениях Полонского последних лет (он умер в 1898 году) общественные темы почти исчезают — он возвращается к интимной лирике, разрабатывая преимущественно мотивы старости и смерти. В ответ на старческий сборник Фета «Вечерние огни» он выпускает свой — «Вечерний звон»; здесь есть образы и темы, прямо восходящие к ранним стихам и замыслам. Те самые «тени ночи», которые были в «Гаммах», появились заново, хотя и в иной роли:

Я свечи загасил, и сразу тени ночи,
Нахлынув, темною толпой ко мне влетели.

Они шепчутся, разглядывая старика: «Глядите, как при нас, во сне, он свеж и молод!» (ср. в стихотворении «Качка в бурю» 1850 года: «Снится мне: я свеж и молод»). Старик поднялся — и тени «к окнам хлынули и на пороге стали» (ср. «Пришли и стали тени ночи на страже у моих дверей»). В 1888 году Полонский послал А. П. Чехову стихотворение «У двери», — его первый набросок имеется в тетради 1851 года. Это возвращение к своей ранней лирике Полонский мотивировал тем, что в восьмидесятых годах поэзия, всобще, перестала быть насущной необходимостью: «Спросите теперь любого молодого студента или юношу, какой его любимый поэт, — писал он Л. И. Поливанову в 1892 году. — Он удивится. Молодежь — и в том числе и мой сын — прямо заявляют мне, что в поэзии не находят они ничего дурного, но она мало их занимает — она отошла уже на последний план или уступила место иным вопросам — вопросам политики и социологии. Я даже и понять не могу, откуда такое множество стихов и новых стихотворений! Их в журналах пропускают даже сентиментальные барышни. <...>Припоминая сороковые годы, когда стихи не только читались, но и запоминались, невольно скажешь — нет, теперь другой дует ветер <...>».[1] Однако именно в девяностых годах Александру Блоку запомнилось стихотворение «Качка в бурю» и имя его автора (см. в «Автобиографии»); в ранних стихах Блока неоднократно встречаются цитаты из Полонского, а в дневнике 1920 года выписаны стихотворения Полонского пятидесятых годов, появившиеся в альманахе «Творчество» (1918).[2] Нако-

---

[1] «Жизнь», 1922, № 2, стр. 148.
[2] «Дневник Ал. Блока. 1917—1921». Л., 1928, стр. 169.

нец, в поэме «Возмездие» есть лаконический, но выразительный портрет Полонского, декламирующего на вечерах у Анны Вревской:

С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.

В предисловии к сборнику «Снопы» (1871) Полонский с грустью говорил: «Невелика моя нива, невесела моя жатва <...>. Пожинаю то, что посеяно во мне самим обществом; не все семена, им брошенные, принесли плоды свои и, быть может, много лебеды примешалось к ним; но — не то беда, что во ржи лебеда, говорит русская пословица, а то беда, коли ни ржи, ни лебеды». Здесь же он выразил надежду, что когда-нибудь «трудолюбивая критика» выбьет из снопов его поэзии хоть одну горсть пригодных зерен «и высыплет их на общую потребу, в одну из наиболее скудных житниц нам родной литературы. Авось, и солома на что-нибудь пригодится», — прибавил он.

Читатели сами сделали отбор этих пригодных зерен: такие стихотворения Полонского, как «Солнце и Месяц» («Ночью в колыбель младенца»), «Зимний путь» («Ночь холодная мутно глядит»), «Затворница» («В одной знакомой улице»), «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь»), «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит»), давно вошли в песенный и декламационный репертуар очень широкого круга, а некоторые из них существуют даже в качестве народных песен. Отбор этот очень характерен; он идет главным образом по романсной линии и почти не выходит за пределы молодости Полонского — сороковых и пятидесятых годов. Широкий читатель знает и помнит Полонского именно как одного из создателей русского популярного романса. Думается, что сейчас настало время и для правильной исторической оценки «гражданственных тревог» Полонского, поскольку ими окрашена значительная часть его стихотворений и поскольку своеобразие его лирики заключается именно в соотношении этих тревог с «тревогами сердца».

Б. Эйхенбаум

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
ОДЕССА 1840—1845

ЖНИЦЫ

Пой, пой, свирель! .. Погас последний луч денницы...
Вон, в сумраке долин, идут толпами жницы,
На месяце блестят и серп их и коса;
Пыль мягкая чуть-чуть дымится под ногами,
Корзины их шумят тяжелыми снопами,
Далеко звонкие их слышны голоса...
Идут... прошли... чуть слышно их... Бог с ними!
Я жду ее одну, с приветом на устах,
В венке из полевых цветов, с серпом в руках,
Обремененную плодами золотыми...
Пой, пой, свирель! ..

1840

СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил.
«Отчего так светит Месяц?» —
Робко он меня спросил.

В день-деньской устало Солнце,
И сказал ему господь:
«Ляг, засни, и за тобою
Все задремлет, все заснет».

И взмолилось Солнце брату:
«Брат мой, Месяц золотой,
Ты зажги фонарь — и ночью
Обойди ты край земной.

Кто там молится, кто плачет,
Кто мешает людям спать,
Все разведай — и поутру
Приходи и дай мне знать».

Солнце спит, а Месяц ходит,
Сторожит земли покой.
Завтра ж рано-рано к брату
Постучится брат меньшой.

Стук-стук-стук! — отворят двери.
«Солнце, встань — грачи летят,
Петухи давно пропели —
И к заутрене звонят».

Солнце встанет, Солнце спросит:
«Что, голубчик, братец мой,
Как тебя господь-бог носит?
Что ты бледен? что с тобой?»

И начнет рассказ свой Месяц,
Кто и как себя ведет.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.

Если ж нет — взойдет в тумане,
Ветер дунет, дождь пойдет,
В сад гулять не выйдет няня
И дитя не поведет.

1841

БЭДА-ПРОПОВЕДНИК

Был вечер; в одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропою шел Бэда слепой;
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами, —
И было все глухо и дико кругом,
Одни только сосны росли вековые,
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным одетые мхом.

Но мальчик устал; ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть:
«Старик! — он сказал, — я пойду отдохнуть;
А ты, если хочешь, начни проповедать:
С вершин увидали тебя пастухи...
Какие-то старцы стоят на дороге...
Вон, жены с детьми! говори им о боге,
О сыне, распятом за наши грехи».

И старца лицо просияло мгновенно;
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно —
Без веры таких не бывает речей!..
Казалось — слепцу в славе небо являлось;
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.

Но вот уж сгорела заря золотая
И месяца бледный луч в горы проник,

В ущелье повеяла сырость ночная,
И вот, проповедуя, слышит старик —
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
«Довольно!.. пойдем!.. никого уже нет!»
Замолк грустно старец, главой поникая.
Но только замолк он — от края до края:
«Аминь!» — ему грянули камни в ответ.

ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут — мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж —
Все степь да степь, за нивой снова нива.
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
— Про черный день мы песню бережем.
— Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром.

И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. — Знакомая лачужка,
Жива ль *она,* здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

Ну-ну, живей! Долга моя дорога —
Сырая ночь — ни хаты, ни огня —
Ямщик поет — в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.

МАСКА

В пестроте, в многолюдстве собранья,
Праздным взором скользя без вниманья,
Злою скукой томимый давно,
У колонн встретил я домино.

Протянув свою ручку-малютку,
Она сжала мою не на шутку,
На лице моем жар заиграл,
Но я милой моей не узнал.

Из-под шелковой розовой маски,
Как две звездочки, теплились глазки —
И на мне остановленный взор
Выражал и любовь и укор.

Наконец она тихо сказала:
«Я давно, я везде вас искала» —
Изменил речи трепетный звук,
Я узнал трепет милых мне рук.

О, во имя любви простодушной,
Не снимай этой маски бездушной,
Я боюсь, друг мой милый, любя,
В этот миг я боюсь за тебя.

В пестроте, в многолюдстве собранья
Пусть пройдет клевета без вниманья,
И любви откровенной слова
Не подслушает злая молва. —

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой бьется мне в лицо
Ее волос, моей небрежной
Рукой измятое, кольцо.

Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О солнце, солнце! Погоди!

1842

НА МОГИЛЕ

Сто лет пройдет, сто лет; — забытая могила,
Вчера зарытая, травою порастет,
И плуг пройдет по ней, и прах, давно остылый,
Могущественный дуб корнями обовьет —
Он гордо зашумит вершиною густою;
Под тень его любовники придут
И сядут отдыхать вечернею порою,
Посмотрят вдаль, поникнув головою,
И темных листьев шум, задумавшись, поймут.

К NN

Кто поневоле оторвал
От сердца с болью нестерпимой
Любимых дум предмет любимый,
Кто постепенно разрушал
Свои святые убежденья
И, как ночное привиденье,
На их развалинах стонал —
Пускай надменно презирать,
Негодовать и отрицать
Он грустным пользуется правом;
Он дорого его купил:
Ценою напряженных сил,
Ценой труда в поту кровавом.
И пусть ему с тоской в очах
Внимает молодое племя,
Быть может, в злых его речах
Таится благ грядущих семя.

А ты, что видел жизнь во сне,
И не насытился вполне,
И не страдал святым страданьем!
Не потому ли осмеять
Ты рад любовь — святыню нашу, —
Что сам не в силах приподнять
И смело выпить эту чашу?
Поверь — затерянный в толпе,

Ты скоро наконец судьбе
Протянешь руку; постепенно,
В тревоге мелочных забот,
Твой голос дерзкий и надменный
Неповторяемо замрет.

ВЕЧЕР

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры,
Сквозит лучезарное море;
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный,
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась,
В прозрачном тумане мелькнула
И скрылась крикливая чайка.
Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок. Как перлы,
Росы освежительной капли
Повисли на листьях каштана,
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.

ТИШЬ

Душный зной над океаном,
Небеса без облаков;
Сонный воздух не колышет
Ни волны, ни парусов.
Мореплаватель, сердито
В даль пустую не гляди:
В тишине, быть может, буря
Притаилась, погоди!

УЗНИК

Меня тяжелый давит свод,
Большая цепь на мне гремит.
Меня то ветром опахнет,
То все вокруг меня горит!
И, головой припав к стене,
Я слышу, как больной во сне,
Когда он спит, раскрыв глаза, —
Что по земле идет гроза.

Налетный ветер за окном,
Листы крапивы шевеля,
Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.
И божьи звезды не хотят
В мою темницу бросить взгляд;
Одна, играя по стене,
Сверкает молния в окне.

И мне отраден этот луч,
Когда стремительным огнем
Он вырывается из туч...
Я так и жду, что божий гром
Мои оковы разобьет,
Все двери настежь распахнет
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей.

И я пойду, пойду опять,
Пойду бродить в густых лесах,

Степной дорогою блуждать,
Толкаться в шумных городах...
Пойду, среди живых людей,
Вновь полный жизни и страстей,
Забыть позор моих цепей.

ЦВЕТОК

Блуждая пó саду, она у цветника
Остановилась, и любимого цветка
Глазами беглыми рассеянно искала,
И наконец нашла любимца своего,
    И майским запахом его,
Полузажмурившись, медлительно дышала
И долго, долго упивалась им. Потом,
    Играя сорванным цветком,
Она его щипала понемножку,
    И уронила на дорожку.

И той порой румяное дитя,
    Кудрявый мальчик, не шутя
    Влюбленный в резвую богиню,
Нашел цветок и поднял, как святыню.
Он долго тихими глазами провожал
Ее воздушную, игривую походку,
    И потихоньку целовал
Неоцененную, случайную находку.
Так чувство нежное, когда оно проснется
Впервые, — трепетно следит за красотой,
И все, к чему она случайно прикоснется,
    Животворит послушною мечтой.

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов. —
Мне мерещатся странные сны.

Мне все чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.

Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды —
И не веришь и веришь очам.

А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.

1844

В ГОСТИНОЙ

. . . .

В гостиной сидел за раскрытым столом мой отец,
Нахмуривши брови, сурово хранил он молчанье;
Старуха, надев как-то набок нескладный чепец,
Гадала на картах; он слушал ее бормотанье.
Немного подальше, тайком говоря меж собой,
Две гордые тетки на пышном диване сидели,
Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне глядели.
А в темном углу, опустя голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела блондинка.
На бледных ланитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась косынка.

1844

ВСТРЕЧА

Вчера мы встретились; — она остановилась —
Я также — мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго —
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел — она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: «Прощайте, до свиданья».
А я хотел сказать: «На вечную разлуку
Прощай, погибшее, но милое созданье».

К ДЕМОНУ

Я погибал —
Мой злобный гений
Торжествовал.

Полежаев

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия
Встречаем демоном сомненья;
И я, страдая, проклинал
И, отрицая провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья.
Мне было жаль волшебных снов,
Отрадных, детских упований
И мне завещанных преданий
От простодушных стариков.
Когда молитвенный мой храм
Лукавый демон опрокинул,
На жертву пагубным мечтам
Он одного меня покинул;
Я долго кликал: где же ты,
Мой искуситель? Дай хоть руку!
Из этой мрачной пустоты
Неси хоть в ад! . . . .

. . . .

И вот, среди мятежных дум,
Среди мучительных сомнений
Установился шаткий ум
И жаждет новых откровений.

И если вновь, о демон мой,
Тебя нечаянно я встречу,
Я на привет холодный твой
Без содрогания отвечу.

Весь мир открыт моим очам,
Я снова горд, могуч, спокоен —
Пускай разрушен прежний храм,
О чем жалеть, когда построен
Другой — не на холме гробов,
Не из разбросанных обломков
Той ветхой храмины отцов,
Где стало тесно для потомков.
И как велик мой новый храм —
Нерукотворен купол вечный,
Где ночью путь проходит млечный,
Где ходит солнце по часам,
Где все живет, горит и дышит,
Где раздается вечный хор,
Который демон мой не слышит,
Который слышит Пифагор.
И, чу, в ответ на эти звуки
Встают . . . .
. . . .
. . . . И вот
Все Гении земного мира
И все, кому послушна лира,
Мой храм наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голос вековой.
Теперь попробуй, демон мой,
Нарушить этот гимн святой,
Наполнить смрадом это зданье.
О нет! с могуществом своим,
Бессильный, уходи к другим,
И разбивай одни преданья —
Остатки форм без содержанья.

1844

КУМИР

Не сотвори себе кумира;
Но, верный сердцу одному,
Я был готов все блага мира
Отдать кумиру моему.
Кумир немой, кумир суровый,
Он мне сиял как божество,
И я клялся его оковы
Влачить до гроба моего.

Полубезумен и тревожен,
С печатью скорби на челе,
В цепях я мнил, что рай возможен
Не в небесах, а на земле, —
Так, чем свобода безнадежней,
Чем наши цепи тяжелей,
Тем ярче блеск надежды прежней
Иль идеал грядущих дней.

Но я разбил кумир надменный,
Кумир развенчанный — упал,
И я же, раб его смиренный,
Его обломки растоптал.
И без любви, без upованья,
Не призывая тайных сил,
Я глубоко мои страданья
В самом себе похоронил.

Посмотри — какая мгла
В глубине долин легла!
Под ее прозрачной дымкой
В сонном сумраке ракит
Тускло озеро блестит.
Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на все наводит
Фосфорический свой луч.

НОЧЬ В ГОРАХ ШОТЛАНДИИ

Спишь ли ты, брат мой?
Уж ночь остыла;
В холодный,
Серебряный блеск
Потонули вершины
Громадных
Синеющих гор.

И тихо, и ясно,
И слышно, как с гулом
Катится в бездну
Оторванный камень.
И видно, как ходит
Под облаками
На отдаленном
Голом утесе
Дикий козленок.

Спишь ли ты, брат мой?
Гуще и гуще
Становится цвет полуночного неба,
Ярче и ярче
Горят планеты.
Грозно
Сверкает во мраке
Меч Ориона.

Встань, брат!
Из замка
Невидимой лютни
Воздушное пенье
Принес и унес свежий ветер.
Встань, брат!
Ответный,
Пронзительно-резкий
Звук медного рога
Трижды в горах раздавался,
И трижды
Орлы просыпались на гнездах.

ЛУННЫЙ СВЕТ

На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу — ночь идет, и — слышу
Перекличку петухов.
Далеко мелькают звезды,
Облака озарены,
И дрожа тихонько льется
Свет волшебный от луны.

Жизни лучшие мгновенья —
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно,
Все, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.

Отчего ж былого счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотрадна, как печаль,
Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка? —
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

Уже над ельником из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал веслом густую сеть пловучих
Болотных трав и водяных цветов.

То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж топких берегов извилистой реки.

От праздной клеветы и злобы черни светской
В тот вечер, наконец, мы были далеко —
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко.

И голос твой пророческий был сладок,
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светлорусых кос.

Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я в глубину глядел, где тысяча корней
Болотных трав невидимо сплеталась,
Подобно тысяче живых зеленых змей.

И мир иной мелькал передо мною —
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила;
И жизнь казалась мне суровой глубиною
С поверхностью, которая светла.

МАГОМЕТ ПЕРЕД ОМОВЕНИЕМ

О благодатная, святая влага!
Со всех сторон,
С востока солнца до заката солнца,
Объемля мир,
Из облаков на жаждущие нивы
Не ты ль дождем
Серебряным, при звуках грома,
Шумишь — как дух,
Когда по воздуху, очам незримый,
Несется он,
По сторонам разбрасывая складки
Своих одежд!

О благодатная, святая влага!
Из недр земных
Тебя сосет змееобразный корень;
Тобой живут
И рис, и терн, и виноград, и фига;
Не ты ль поишь
Усталого среди степей верблюда —
И в знойный день
Он весело бежит, напрягши силы,
Когда вдали
Заслышит тихое, под диким камнем,
Журчанье струй!

Земля сгорит, и лопнет камень,
И упадут
На рубежах поставленные горы...

Лишь ты одна
Кипящими зальешь волнами
Развалины
Пылающего мира, и густой,
Горячий дым
Прокатится, гонимый ветром,
Из края в край.
О благодатная, святая влага!
Обмой меня —
И освежи меня, и напои
Того, кто жаждет!

ИЗ КОРАНА

Скажи строптивым, малодушным,
Коварно-злым и непослушным,
Что в неразумии своем
Меня слепцы лишь не находят,
И не идут прямым путем,
А ощупью в потемках бродят.

Не спрячут их запоры башен —
Везде найдет их Азраил;
Придет незваный, бледен, страшен —
И изо всех ударит сил...
И вздрогнут каменные стены,
И подогнутся их колены.

Пророк, напомни маловерным,
Что я приду нелицемерным
Судом судить, и будет течь
Река огня в тот день, — и будут
Их на цепях железных жечь.
Напомни им — да не забудут.

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Я еду городом — почти
Все окна настежь — у соседки
В окошке расцвели цветы,
И канарейка свищет в клетке.
Я еду мимо — сквозь листы
Китайских розанов мелькает
Рукав кисейный, и сверкает
Сережка; а глаза горят,
И, любопытные, глядят
На проходящих.
Вот нараспашку полупьяный
Бурлак по улице идет;
За ним измученный разносчик
Корзину тащит; вон везет,
Стуча колесами, извозчик
Купца с купчихой! — Боже мой,
Как все пестро!
                                        Но что за вой?
Какого бедняка в могилу
Несут на четырех плечах?
О ком, ступая через силу
С младенцем спящим на руках,
Рыдает женщина — не знаю,
И шляпу перед ним снимаю
И мимо еду; — вот стоит
И косо на меня глядит
Толпа старушек богомольных,

А мальчики бумажный змей
Пускают выше колокольных
Крестов на привязи своей;
Взвился — трещит — мой конь пугливый
Прибавил рыси торопливой;
Скачу — навстречу инвалид —
Старик бездомный и бродяга
Безногий — тяжело стучит
По тротуару костылями —
Он оглянулся на коня,
Он с ног до головы меня
Окинул мутными глазами
И, на костыль дубовый свой
Повиснув раненой рукой,
Стал думу думать.
Вот застава.
Мелькает часовой с ружьем —
И зеленеет степь направо,
Налево, прямо и кругом...
Скачу.
Над головою облака
Плывут, сплываются — слегка
Их тронул пурпур золотистой
Авроры вечной; а вдали
На севере, из-под земли,
Встают и тянутся волнистой
Грядой вершины синих гор
И серебрятся. Жадный взор
Границ не ведает, и слышит
Мой чуткий слух, как воздух дышит,
Как опускается роса
И двигается полоса
Вечерней тени, —
Где я? куда меня проворно
Примчал мой конь, как добрый дух
Покорный талисману — ух!
Как сердцу моему просторно!..

ВЫЗОВ

За окном в тени мелькает
Русая головка.
Ты не спишь, мое мученье!
Ты не спишь, плутовка!

Выходи ж ко мне навстречу!
С жаждой поцелуя,
К сердцу сердце молодое
Пламенно прижму я.

Ты не бойся, если звезды
Слишком ярко светят:
Я плащом тебя одену
Так, что не заметят!

Если сторож нас окликнет —
Назовись солдатом;
Если спросят, с кем была ты, —
Отвечай, что с братом!

Под надзором богомолки
Ведь тюрьма наскучит;
А неволя поневоле
Хитрости научит!

1844, октябрь

ТЕНИ

По́ небу синему тучки плывут,
По́ лугу тени широко бегут;
Тени ль толпой на меня налетят —
Дальние горы под солнцем блестят;
Солнце ль внезапно меня озарит —
Тень по горам полосами бежит.
Так на душе человека порой
Думы, как тени, проходят толпой;
Так иногда вдруг тепло и светло
Ясная мысль озаряет чело.

1845

ПРОЩАЙ

Прощай!.. О да, прощай! Мне грустно...
Моих страданий передать
Я не могу тебе изустно,
И не могу, как раб, молчать.

Мы не привыкли лицемерить —
Не доверяя ничему,
Мы не хотели слепо верить
Больному сердцу своему.

И в час прощального привета,
Сгорая пламенем святым,
Друг другу вечного обета
Мы легковерно не дадим.

Быть может — грустное мечтанье! —
На длинном жизненном пути,
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное *прости*.

Тогда мы улыбнемся оба,
Друг другу отдадим поклон —
И вновь простимся, чтоб до гроба
Нас не тревожил счастья сон.

1845

Развалину башни, жилище орла,
Седая скала высоко подняла,
И вся наклонилась над бездной морской,
Как старец под ношей ему дорогой.

И долго та башня уныло глядит
В глухое ущелье, где ветер свистит;
И слушает башня — и слышится ей
Веселое ржанье и топот коней.

И смотрит седая скала в глубину,
Где ветер качает и гонит волну,
И видит — в обманчивом блеске волны
Шумят и мелькают трофеи войны.

1845

МАЯК

Вон светит зарево над морем! за скалой
Мелькают полосы румяного тумана —
То месяц огненный, ночной товарищ мой,
Уходит в темные пучины океана.

Прости! .. Я звезд ищу, их прежнего следа
Ищу я, — по распутьям ночи ясной
Я видел в сонме звезд красавица звезда
Текла — но, видно, луч ее потух в напрасной
Борьбе с туманами, которых путь ненастный
По небу тянется, как черная гряда.

Лучи небесные, прощайте! .. Взор блуждает. —
Где берега? — где море? — где восток! ..
Как в сумрачной степи пустынный огонек,
Один маяк вдали едва-едва мелькает —
И светится вдали, как огненный глазок.

Один маяк вдали — и нет ему затменья,
И дела нет ему до мрачных облаков,
Как будто видит он ночное приближенье
К нему издалека идущих парусов.
Горит — а на меня наводит утомленье
Печальный шум невидимых валов.

1845

ВАЛЬС „ЛУЧ НАДЕЖДЫ“

Надежды вальс зовет, звучит —
И, замирая, занывает;
Он тихо к сердцу подступает,
И сердцу громко говорит:

Среди бесчисленных забав,
Среди страданий быстротечных —
Каких страстей ты хочешь вечных,
Каких ты хочешь вечных прав?

Напрасных благ не ожидай!
Живи, кружась под эти звуки,
И тайных ран глухие муки
Не раздражай, а усыпляй!

Когда ж красавица пройдет
Перед тобой под маской черной
И руку с нежностью притворной
Многозначительно пожмет, —

Тогда ослепни и пылай! —
Лови летучие мгновенья
И на пустые уверенья
Минутным жаром отвечай!

1845

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом;
Ночь тиха. — Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем?

Я б и сам желал с тобой расстаться;
Да мне жаль покинуть ту скамью,
Где мечтам ты любишь предаваться
И внимать ночному соловью.

Не смущайся! Ни о том, что́ было,
Ни о том, как мог бы я любить,
Ни о том, как это сердце ныло, —
Я с тобой не стану говорить.

Речь моя волнует и тревожит...
Веселее соловью внимать,
Оттого что соловей не может
Заблуждаться и, любя, страдать...

Но и он затих во мраке ночи,
Улетел, счастливец, на покой...
Пожелай и мне спокойной ночи
До приятного свидания с тобой!

Пожелай мне ночи не заметить
И другим очнуться в небесах,
Где б я мог тебя достойно встретить
С соловьиной песнью на устах!

1845

УТРО

Вверх, по недоступным
Крутизнам встающих
Гор, туман восходит
Из долин цветущих;

Он, как дым, уходит
В небеса родные,
В облака свиваясь
Ярко-золотые —
И рассеяваясь.

Луч зари с лазурью
На волнах трепещет;
На востоке солнце,
Разгораясь, блещет.

И сияет утро,
Утро молодое...
Ты ли это, небо
Хмурое, ночное?

Ни единой тучки
На лазурном небе!
Ни единой мысли
О насущном хлебе!

О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби
Гений человека!

Улыбнись природе!
Верь знаменованью!
Нет конца стремленью —
Есть конец страданью!

1845

Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! смотри —
Озеро светит внизу, отражая сиянье зари;
Белый там нежится лебедь, в объятьях стихии родной,
И не расстанется с ней, как и ты, друг мой милый,
со мной...
Сколько ты мне ни толкуй, что родная стихия твоя —
Мир, а не жаркое сердце, не грудь молодая моя!

1845

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НЕМАН

Вот Руси граница, вот Неман. Французы
Наводят понтоны: работа кипит...
И с грохотом катятся медные пушки,
И стонет земля от копыт.

Чу! бьют в барабаны... Склоняют знамена;
Как гром далеко раздается: «Vivat!»
За кем на конях короли-адъютанты
В парадных мундирах летят?

Надвинув свою треугольную шляпу,
Все в том же походном своем сюртуке,
На белом коне проскакал император
С подзорной трубою в руке.

Чело его ясно, движенья спокойны,
В лице не видать сокровенных забот.
Коня на скаку осадил он, и видит —
За Неманом туча встает...

И думает он: «Эта темная туча
Моей светозарной звезды не затмит!»
И мнится ему в то же время — сверкая,
Из тучи перст божий грозит...

И, душу волнуя, предчувствие шепчет:
«Сомнет знамена твои русский народ!»
«Вперед! — говорят ему слава и гений. —
Вперед, император! вперед!»

И лик его бледен, движенья тревожны,
И шагом он едет, и молча глядит,
Как к Неману катятся медные пушки
И стонут мосты от копыт.

ПТИЧКА

Пахнет полем воздух чистый...
В безмятежной тишине
Песни птички голосистой
Раздаются в вышине.

Есть у ней своя подруга,
Есть у ней приют ночной,
Средь некошеного луга,
Под росистою травой.

В небесах, но не для неба,
Вся полна живых забот,
Для земли, не ради хлеба,
Птичка весело поет.

Внемля ей, невольно стыдно
И досадно, что порой
Сердцу гордому завидна
Доля птички полевой!

ЗАКАВКАЗЬЕ
1846—1851

ПРОГУЛКА ПО ТИФЛИСУ

(Письмо к Льву Сергеевичу Пушкину)

Как полдень — так у нас стреляет пушка.
Покуда эхо гул свой тяжко по горам
Разносит, молча вынимая
Часы, мы наблюдаем: стрелка часовая
Ушла или верна по солнечным часам?
Потом до двух — мы заняты делами;
Но так как все они решаются не нами,
Спокойно можем мы обедать — есть плоды
И жажду утолять, не трогая воды.
В собранье пусто: членов непременных
Четыре человека каждый день
Встречать наскучило; читать газеты лень;
Журналы запоздали; нет военных;
Все в экспедиции, — и там пока в горах,
Не дальше, может быть, как только в ста
верстах,
Идет резня (Шамиль воюет),
Для нас решительно войны не существует.
После обеда мы играем роль богов,
И, неспособные заняться даже вздором,
Завесив окна коленкором,
Лежим...
Кто развалившись на диване,
Кто растянувшись на ковре...

Воображать себя заснувшим в теплой бане —
Приятно, потому что на дворе
Невыносимо жарко. — Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча,
Становится порядком горяча,
И жжет подошву. — Солнце, раскаляя
Слои окрестных скал, изволит наконец
Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь не глядя и слушая не слышишь;
Когда-то ночь придет! — дождемся ли, творец! —
Вот ночь не ночь — а все же наконец
Пора очнуться. — Тихий, благодатный
Нисходит вечер, час весьма благоприятный
Для той прогулки, от которой ждать
Отрады — первая в Тифлисе благодать.

Куда ж идти? Иду через Мухранский
Овражный мост, и прямо на Армянский
Базар являюсь — там народ,
Поднявшись на заре, для дел, нужды и лени,
На узких тротуарах ищет тени,
Гуляет, спит, работает и пьет. —
Народ особенный! Я здесь люблю толкаться —
И молча наблюдать — и молча любоваться
Картинами, каких, конечно, никогда
Мне прежде видеть не случалось;
Их не видать — невелика беда,
Но видеть весело, пока не стосковалась
Душа по тем степям, которых вид один
Бывало наводил тоску и даже сплин.
Но... я не знаю что — привычка, может статься,
Бродя в толпе, на лицах различать
Следы разврата, бедности безгласной
Или корысти слишком ясной,
Невежества угрюмую печать
Убавила во мне тот жар напрасный,
С которым некогда я рад был вопрошать
Последнего из всех забытых нами братий.
Я знаю, что нужда не в силах разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых понятий,
Что наша связь давно разорвана с толпой,

Что лучшие мечты — источники страданья —
Для благородных душ осталися мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья,
Я поскорей примусь за описанье. —
С чего начать?! . Представьте, я брожу
По улицам — а где, и сам не знаю,
Тифлис оригинальным нахожу,
По крайней мере, не скучаю;
Представьте, наконец, — я в улицу вхожу
Кривую, тесную — под старыми домами
Направо и налево лавок ряд —
Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, — куда она спешит,
Неугомонная, живая? ..
Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!
Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротиться ей назад!
Спешу на улицу — и вижу виноград
Висит тяжелыми, лиловыми кистями,
Поспел — купите фунт — бакальщик рад...
Вот перец и миндаль, а вон табак турецкий
Насыпан кучами — кальяны — чубуки —
Кинжалы — канаус — бумажные платки,
Товар персидский и замоскворецкий!
Дешевый все товар из самых дорогих!

Иду я дальше; множество портных
Сидят на низеньких подмостках в меховых
Остроконечных шапках, рукава утюжат,
Обводят обшлага черкески заказной
Иль праздничной чухи [1] тесьмою золотой,
Усердно шьют — и мне усердно служат:

---

[1] Чуха — грузинский кафтан с откидными рукавами.

Из медных утюгов огонь я достаю,
Чтоб тут же закурить потухшую мою
Сигару — здесь курить начальство позволяет;
Пожаров никогда в Тифлисе не бывает,
В Тифлисе просто нечему гореть,
Здесь только можно загореть,
Что, вероятно, всякий знает.
Вот, вижу я, цирюльня, у дверей
Круглится голова; поджав босые ноги,
Сидит благочестивый на пороге
Татарин, голову его бородобрей
Нагнул поближе к свету — выбрил — поскорей
Тряпицей вытер — и к окошку
Сушить повесил грязную ветошку. —
Чего ж вам больше! .. Вот кофейня, два купца —
Два персианина играют молча в шашки,
Хозяин смотрит, сумрачный с лица,
А между тем бичо[1] переменяет чашки.
В пяти шагах, желая аппетит
Свой утолить у небольшой харчевни,
Сошлись работники, грузины из деревни;
Котлы кипят — горячий пар валит —
Лепешек масляных еще дымятся глыбы,
Кувшин с вином под лавкою стоит,
А с потолка висят хвосты копченой рыбы.
Вот на полу какой-то кладовой
(Вы здешние дома, конечно, не забыли)
Два армянина, завязав от пыли
Глаза платком, натянутой струной
Перебивают шерсть. Насупротив, у лавки,
Где как-то меньше толкотни и давки,
Уселся на скамье худой, невзрачный жид
И на станке тесьму и позументы
Прилежно ткет; за ним, на сундуке,
Откинув рукава, сидит в архалуке
Меняла, в сладостной надежде на проценты!

Но вот базар еще теснее —
Разноплеменная толпа еще пестрее.

---

[1] **Бичо** — по-грузински мальчик.

Я слышу скрип и шум и крики — хабарда! [1]
Вот нищий подошел ко мне, склонясь на посох;
Вот буйволы идут, рога свои склоня;
Тяжелая арба скрипит на двух колесах;
Вот скачет конь, упрямого коня
Стегает плеть; налево, с бурдюками,
Знать, из Кахетии с вином,
Дощатый воз плетется, и на нем
Торчит возница с красными усами. [2]
А вон ослы вразброд идут,
В кошелках уголья несут
И машут длинными ушами;
На одного из них уселися верхом
В лохмотьях два полунагих ребенка,
А третий сзади глупого осленка
Немилосердно бьет хлыстом...

Тифлис для живописца есть находка.
Взгляните, например: изорванный чекмень,
Башлык, нагая грудь, беспечная походка,
В чертах лица задумчивая лень,
Кинжал — и странное в глазах одушевленье!
Вот, например, живое воплощенье
Труда — муша́ [3] по улице идет;
Огромный шкаф, перекрестив ремнями,
Он на спину взвалил и медленно несет,
Согнувшись в угол, пот ручьями
По загорелому лицу его течет,
Он исподлобья смотрит и дает
Дорогу... Не могу дорисовать картины! —
Представьте, что в глазах мешаются ослы,
Ковры, солдаты, буйволы, грузины,
Муши, балконы, осетины,
Татары — наконец я слышу крик муллы —
И наконец под минаретом
Свожу знакомство с новым светом —
И чувствую, что на чужом пиру...
Налево мост идет через Куру,

---

[1] Хабарда — берегись!
[2] На Востоке есть обычай красить себе бороду и усы.
[3] Муша — носильщик.

А вон крутой подъем к заставе Эриванской;
Вот, вижу, караван подходит шемаханский;
Как великан, идет передовой верблюд,
За ним гуськом его товарищи идут —
Раздули ноздри и глядят спесиво;
Их шеи длинные навытяжку стоят,
На них бубенчики нестройные звенят,
С горбов висит космами грива;
Огромные тюки качая на спине,
Рабы Востока тяжестию ноши
Гордятся и блаженствуют вполне;
А я глотаю пыль — иду — и в стороне
Вдруг слышу — деревянные подкоши [1]
Стучат — идет татарка в белой простыне;
Толпа грузинских жен спешит укрыться в бане,
А я спешу назад — спешу куда-нибудь,
Чтоб только чистым воздухом дохнуть,
Чтó невозможно на Майдане. [2]
Где я — творец! — какие там сидят
Фигуры на стенах! — перебирают четки —
И неподвижно вниз глядят;
Внизу овраг — на дне его шумят
Горячие ключи. — Неужели назад
Идти? .. Ого! над самой головою
Я слышу разговор, а может быть, и брань —
Но... пусть бранят! — теперь передо мною
Открылся чудный вид. Отсюда, из-за бань
Мне виден замок за Курою...
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я — за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает, и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
О, как блистательно проходит этот час!
Великолепная для непривычных глаз
Картина! Вспомните всю массу этих зданий,

---

[1] **Подкоши** — башмаки без задков.
[2] **Майдан** — базарная площадь.

Всю эту смесь развалин без преданий —
Домов, построенных, быть может, из руин,
Садов, опутанных ветвями винограда,
И этих куполов, которых вид один
Напомнит вам предместья Цареграда,
И согласитесь, что нарисовать
Тифлис не моему перу. — К тому ж, признаться,
Мне самому пришлось недолго любоваться;
Я как-то вздумал догадаться,
Что на чужом дворе невыгодно стоять:
Где улица, где двор, в иных местах Тифлиса
Не разберешь...

Но вот уж сумерки сгущаются в глуши
Садов — и застилают переулки;
В глухие, дальние забрел я закоулки —
И ни одной мужской души!
Вот женщина взошла на низенькую кровлю;
Вдали звучит протяжная зурна́ —
Как видно, здесь крикливую торговлю
Семейная сменила тишина.
Вот у калитки две старухи...
Сошлись и шепчутся и городские слухи
Передают друг другу. Вон скамья
Стоит никем не занятая,
Меж тем как на земле почтенная семья
Сидит, беспечно отдыхая...

Не стану женщин вам описывать наряд,
Их легкое, как воздух, покрывало,
Косицы черные и любопытный взгляд,
В котором много блеску, жизни мало...
Повсюду я спешу ловить
Рой самых свежих впечатлений;
Но, признаюсь вам, надо жить
В Тифлисе — наблюдать — любить —
И ненавидеть, чтоб судить
Или дождаться вдохновений...

1846

ЗАТВОРНИЦА

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она дрожа шептала мне:
«Послушай, убежим!
Мы будем птицы вольные —
Забудем гордый свет...
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет...»

И тихо слезы капали —
    И поцелуй звучал —
И ветер занавескою
    Тревожно колыхал.

Тифлис.
1846, июля 20

ГРУЗИНКА

Вчера грузинку ты увидел в первый раз
　　На кровле, устланной коврами,
Она была в шелку и в галунах, и газ
　　Прозрачный вился за плечами.
Сегодня, бедная, под белою чадрой,
　　Скользя тропинкою нагорной,
Через пролом стены, к ручью, над головой
　　Она несет кувшин узорный.
Но не спеши за ней, усталый путник мой, —
　　Не увлекись пустым мечтаньем!
Мираж не утолит томящей жажды в зной
　　И не навеет снов журчаньем.

1846

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ [1]

Посв. Г. П. Данилевскому

Он у каменной башни стоял под стеной;
И я помню, на нем был кафтан дорогой;
    И мелькала, под красным сукном,
    Голубая рубашка на нем...
Презирайте за то, что его я люблю!
    Злые люди, грозите судом —
Я суда не боюсь и вины не таю!

    Не бросай в меня ка́мнями!..
    Я и так уже ранена...

Золотая граната растет под стеной;
Всех плодов не достать никакою рукой;
    Всех красивых мужчин для чего
    Стала б я привораживать! Но
Приютила б я к сердцу, во мраке ночей
    Приголубила б только его —
И уж больше любви мне не нужно ничьей!

    Не бросай в меня камнями!..
    Я и так уже ранена...

Разлучили, сгубили нас горы, холмы
Эриванские! Вечно холодной зимы
    Вечным снегом покрыты оне!

---

[1] Татарская песня эта была доставлена покойным Абаз-Кули-Ханом одному польскому поэту, Ладо-Заблоцкому. Он перевел эту песню по-польски, прозой; я, как умел, русскими стихами...

Говорят, на чужой стороне
Девы Грузии блеском своей красоты
Увлекают сердца... Обо мне
В той стране, милый мой, не забудешь ли ты?

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

Говорят, злая весть к нам оттуда пришла;
За горами кровавая битва была;
Там засада была... Говорят,
Будто наших сарбазов [1] отряд
Истреблен ненавистной изменою... Чу!
Кто-то скачет... копыта стучат...
Пыль столбом... я дрожу и молитву шепчу...

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена..

1846

---

[1] С а р б а з ы — персидские солдаты.

НИЩИЙ

Знавал я нищего: как тень,
С утра бывало целый день
Старик под окнами бродил
И подаяния просил...
Но все, что в день ни собирал,
Бывало к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам —
Таким же нищим, как и сам.

В наш век таков иной поэт.
Утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурен,
Духовной пищи просит он. —
И все, что жизнь ему ни шлет,
Он с благодарностью берет —
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...

1847

ГОРНАЯ ДОРОГА В ГРУЗИИ

Вижу, как тяжек мой путь,
Как бесполезен мой повод!
Кони натужили грудь,
Солнце печет, жалит овод.

Что ты, лихой проводник,
Сверху кричишь мне: за мною!
Ты с малолетства привык
Рыскать с ружьем за спиною.

Я же так рано устал!
Скучны мне виды природы —
Остовы глинистых скал,
Рощей поникшие своды!

Глухо, безлюдно кругом...
Тяжко на эти вершины,
Вечным объятые сном,
Облокотились руины.

Спят!.. и едва ли от них
Странник дождется ответа!
Вряд ли порадует их
Голос родного привета!

Нет ли? — скажи, проводник, —
Нет ли преданья?! — Рукою
Шапку надвинул старик
И покачал головою.

Вижу — потоки бегут —
Книзу проносится пена,
Через потоки бредут
Кони, в воде по колена.

Рад бы и я утолить
Жажду — в тени приютиться.
Рад бы с коня соскочить —
Руки сложить и забыться.

Некуда спрыгнуть с седла!
Слева — отвесные стены,
Справа — деревья и мгла,
Шум и сверкание пены.

Рад бы помчаться стрелой!
Рад бы скакать! — невозможно!
Конь мой идет осторожно,
Пробует камни ногой.

И осторожность заслуга!
Конь мой собой дорожит.
Вот поднимается с юга
Ветер, — пустыня шумит,
Мне же далекого друга
Голос как будто звучит.

«Друг мой! зачем ты желаешь
Лучших путей? путь один. . .»
Ну, конь! иди сам как знаешь —
Здесь я не твой господин!

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

Всякий раз как под буркой, порою ночной,
Беспробудно я сплю до звезды заревой,

Три видения райских слетают ко мне —
Три красавицы чудных я вижу во сне.

Как у первой красавицы очи блестят,
Так и звезды во мраке ночном не горят;

У второй, как поднимет ресницы свои,
Очи зорко глядят, как глаза у змеи.

Никогда не была ночь в горах так темна,
Как у третьей темна черных глаз глубина.

И когда на заре улетает мой сон,
Не вставая, гляжу я в пустой небосклон —

Все гляжу да все думаю молча о том:
Кабы деньги да деньги, построил бы дом!

Окружил бы его я высокой стеной,
Заключил бы я в нем трех красавиц со мной —

От утра до утра им бы песни я пел!
От зари до зари им бы в очи глядел!

ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ

Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыханьем!
Мне так хорошо здесь под этим прохладным навесом,
Под этим навесом уютной нацваловой [1] сакли.
На мягком ковре я лежу под косматою буркой,
Не слышу ни лая собак, ни ослиного крику,
Ни дикого пенья под жалобный говор чингури. [2]
Заснул мой хозяин — потухла светильня в железном
Висячем ковше... Вот луна! — и я рад, что сгорело
Кунжутное [3] масло в моей деревенской лампаде...
Иные лампады зажглись, я иную гармонию слышу.
О боже! какой резонанс! Чу! какая-то птица —
Ночная, болотная птица поет в отдаленьи...
И голос ее точно флейты отрывистый, чистый,
Рыдающий звук — вечно та же и та же
В размер повторенная нота — уныло и тихо
Звучит. — Не она ли мне спать не дает! Не она ли
Напела мне на душу грусть! Я смыкаю ресницы,
А думы несутся одна за другой, беспрестанно,
Как волны потока, бегущего с гор по ущелью.
Но волны потока затем ли бегут по ущелью,
Чтоб только достигнуть предела и слиться с волнами
Безбрежного моря! — нет, прежде чем моря достигнуть,
Они на долину спешат, напоить виноградные лозы
И нивы — надежду древнейшего в мире народа.

---

[1] Нацвал — деревенский староста.
[2] Чингури — струнный инструмент.
[3] Кунжут — растение.

А вы, мои думы! — вы, прежде чем в вечность
Умчитесь, в полете своем захватив мириады
Миров, — вы — скажите, ужель суждено вам
Носиться бесплодно над этою чудной страною,
Так страстно любимою солнцем и — выжженной
солнцем!

ТАТАРКА

На коне, в тени черешни,
Я стою — смотрю, как вешний
Ветерок волнует рис;
По дороге ехать жарко —
Ни души — одна татарка
По оврагу сходит вниз.

Вот сошла — и у канавы
На обломок серой лавы
Ставит кованый кувшин;
Подбоченилась лениво
И косится боязливо:
Нет ли около мужчин.

Я заметил беспокойный
Взгляд — щеки румянец знойный —
Черный локон у виска.
О аллах! в твоей пустыне
Я подобного доныне
Не видал еще цветка!

Но татарка встрепенулась
И пугливо завернулась
Руйбянды [1] своей концом.

---

[1] Руйбянда или рубанда — женская повязка, закрывающая лицо до самых глаз.

Торопливо придержала
Свой кувшин и грубо стала
    От меня назад лицом.

Неучтив обычай края!
Но, обычай проклиная,
    Быть в долгу я не хочу.
(Может быть, догадлив был я),
Сам себе лицо закрыл я
    Пыльной шапкой и — скачу.

Впрочем, как не обернуться!
Вижу — (как не улыбнуться!)
    На меня она глядит —
И смеется — вот уловка!
Догадалася плутовка,
    Что никто не сторожит!

В ИМЕРЕТИИ

Царя Вахтанга[1] ветхие страницы
Перебирая в памяти моей,
Иду я в терем доблестной царицы,
В развалину — приют неведомых теней.
Уже заря, как зарево пожара,
На гребни темных скал бросает жаркий свет!
Заря, леса и скалы! .. О Тамара!
Не здесь ли пел твой пламенный поэт!
Дыша, я чувствую, что здесь земля — кладбище,
А небеса — покров почиющих царей;
И между тем нигде природа, как жилище
Творца, не может быть ни лучше, ни пышней.
Кругом, как божия ограда,
Заоблачный хребет далеко манит взор,
Там спят леса под говор водопада;
А здесь миндаль, и лозы винограда,
И дикого плюща живой ковер.
О, здесь бы жить — любить и наслаждаться;
Но по горам какой-то демон злой,
Блуждая, не дает ни сердцу забываться,
Ни бедный ум согреть мечтой. —
Незримый дух! Он всюду бьет тревогу;
Везде кричит: сюда, сюда!
Здесь нужно вам в скалах пробить дорогу!
Здесь реку запрудить! там строить города!
Никто не жнет плодов, не сея! —

[1] **Царь Вахтанг** — грузинский летописец.

Ужасный дух! от каждого пигмея
Готов он требовать гигантского труда!
Тамары нет... О Русь! еще ли ты не в силах,
Поднявши меч и заступ и топор,
Развить и жизнь и мысль на царственных могилах,
Чтоб успокоить духа гор!

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья,
Скакали всадники — и были зажжены
Костры — и до утра был слышен гул веселья —
Пальба, и барабан, и вой зурны.

Из уст в уста ходила азарпеша,[1]
И хлопали в ладоши сотни рук,
Когда ты шла, Майко́, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.

Сегодня вновь безлюдное ущелье
Глядит пустыней, — мирная пальба
Затихла — выспалось похмелье —
И съехала с горы последняя арба!

Не все же праздновать! — веселый пир народный
Прошел, как сон... Так некогда любовь
Моя прошла — пыл сердца благородный
Простыл, давно простыл; — но не простыла кровь!

Как после праздника в глотке вина отраду
Находит иногда гуляка удалой,
Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майко́, плясуньи молодой!

---

[1] Азарпеша — чаша для вина.

Что ж медлю я... Бичо! ты, конюх мой проворный!
Коня!! — Ее арбу два буйвола с трудом
Везут. — Догоним... Вон играет ветер горный
Катибы [1] бархатной пунцовым рукавом.

---

[1] Катиба — женская одежда с откидными рукавами.

НЕ ЖДИ

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром, [1]
Всю ночь за банями поют сазандари. [2]

Здесь теплый свет луны позолотил балконы,
Там углубились тени в виноградный сад,
Здесь тополи стоят, как темные колонны,
А там, вдали, костры веселые горят —

Пойду бродить! — Послушаю, как льется
Нагорный ключ во мгле заснувших Саллалак, [3]
Где звонкий голос твой так часто раздается,
Где часто, вижу я, мелькает твой личак. [4]

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сиянье месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди;

Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать — но просит — но желает —
Но молится пред образом небес,

---

[1] Авлабар — часть города Тифлиса.
[2] Сазандар — певец.
[3] Саллалаки — юго-западная часть Тифлиса.
[4] Личак — головной убор грузинки, в виде длинной вуали, обыкновенно откинутой назад.

И чувствует, что уголок твой душен,
Что не тебе моим моленьям отвечать, —
Не жди! — я в эту ночь к соблазнам
равнодушен —
Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

КАХЕТИНЦУ[1]

Я знаю, там, за вашими горами,
По старине, в саду, в тени кудрявых лоз,
Ты любишь пить с веселыми гостями,
И уставлять ковры букетами из роз!

И весело тебе, когда рабы сбирают
Ваш виноград — когда по целым дням
В давильнях толкотня — и мутные стекают
Струи вина, журча по длинным желобам...

Ты любишь пулями встречать гостей незваных —
Лезгин, из ближних гор забравшихся в сады,
И любишь гарцевать, когда толпой на рьяных
Конях спешите вы на пир в Аллаверды.

И весело тебе, что твой кинжал с насечкой,
Что меткое ружье в оправе дорогой —
И что твой конь звенит серебряной уздечкой,
Когда он ржет и пляшет под тобой.

И любишь ты встречать, неведомый доныне,
В теплицах Севера воспитанный цветок;
Она[2] у вас теперь цветет в родной долине,
И не скрывается, чтоб каждый видеть мог,

---

[1] Князю Д. А. Чавчавадзе, брату Н. А. Грибоедовой.
[2] Княгиня А. И. Чавчавадзе, урожденная княжна Грузинская.

Чтоб каждый мог забыть, смотря с благоговеньем
На кроткие небесные черты,
И праздность — и вино с его самозабвеньем —
И месть — и ненависть — и буйные мечты.

АГБАР

1

Крадется ночью татарин Агбар
К сакле, заснувшей под тенью чинар.

Вот миновал он колючий плетень;
Видит, на сакле колышется тень.

Как не узнать ему, — даром что ночь,
Как не узнать Агаларову дочь! [1]

Мрачно. — В ауле огней не видать;
Лютые псы перестали ворчать.

Ясные звезды потупили взор —
Слушают звезды ночной разговор.

«Солнце мое! — стал Агбар говорить. —
Я за тебя рад себя погубить!»

«Что ж ты! зачем не украдешь меня?»
«Рад бы украл я, — да нету коня...

Завтра пошлю я к отцу твоему,
Бедный калым [2] предложу я ему.

---

[1] Агалары — татары помещики.
[2] Калым — подарки жениха отцу невесты.

Двадцать последних монет серебра,
Пару волов, два узорных ковра. . .»

«Тише! . . Прощай!» — И во мраке чинар
Скрылся проворный татарин Агбар.

2

Солнце печет темя каменных гор.
Голову клонит на мягкий ковер

И отдыхает под тенью чинар
В шапке косматой старик Агалар.

Неподалеку, в закрытых сенях,
Жены мотают шелки на станках.

Возле на камне старуха сидит,
Сдвинула брови и в землю глядит.

«Пару волов? У меня тридцать пар!
Что́ мне волы! — говорит Агалар. —

Мало ли есть у князей табунов!
Мало ли там дорогих жеребцов!

Пусть уведет он, хоть в эту же ночь,
Пару коней — я отдам ему дочь.

Знаю, недавно проехал в Ганжу [1]
Русский чиновник, а кто — не скажу.

Есть у него дорогое ружье. . .
Если ружье это будет мое,

Если украдет хоть в эту же ночь,
Пусть принесет — я отдам ему дочь.

Мало того, есть купец армянин. . .
Деньги везет, — едет сдуру один. . .»

---

[1] Ганжа — гор. Елисаветполь.

И усмехнувшись, лукавый старик
Начал дремать — головою поник.

Встала старуха, накрылась чадрой
И поплелась потихоньку домой.

3

Светит луна, как далекий пожар;
Ветер качает вершины чинар;

Листья чинар беспокойно шумят;
Лютые псы у соседа ворчат.

Вновь на свиданье Агбар удалой
Крадется к сакле знакомой тропой.

Жаркое сердце забилось в груди —
Кто мог шепнуть ей: красавица, жди!

Ясные звезды потупили взор —
Слушают звезды ночной разговор:

«Где пропадал ты? возлюбленный мой!»
«Я не пропал — я пришел за тобой».

«Каждую ночь я ходила сюда...
Милый! — скажи мне — какая беда?»

«В эту неделю украл я коня;
Добрый товарищ нас ждет у плетня;

В эту неделю украл я ружье;
Да не в ружье все богатство мое!

Им я убил армянина купца...
Деньги достал по совету отца.

Им и отца я убью в эту ночь,
Если украсть помешает мне дочь...»

ИМЕРЕТИН

О! было время, труд полезный
Имеретин позабывал,
Меняя плуг и серп железный
На ружья, шашку и кинжал.

Вражда стучалась в наши двери,
Мы прятались куда кто мог,
Иль, кровожадные, как звери
Шли на врага, взведя курок.

Костры сигнал нам подавали:
По высотам сторожевым
Мы ночью зарева искали,
А днем разглядывали дым.

Нас ночью глушь лесов пугала;
На страже сидя у дверей,
Мы принимали плач шакала
За плач украденных детей.

Как часто ветра шум привольный,
Треск сучьев, лошадиный топ —
Меня бросал то в жар невольный,
То в лихорадочный озноб.

В ножи играли дети наши
И бегали обнажены,
И, дна не видя горькой чаши.
Не ждали мы конца войны.

И равнодушно мы сносили
Наш плен и наш позор, когда
Красавиц наших уводили
На трапезонтские суда.

Мы знали, дома ждал их голод;
Мы знали, брачную постель
Их замела бы в зимний холод
Неугомонная метель.

Жилища наши стали бедны,
И обеднели алтари,
Где перед битвами молебны
Служили некогда цари.

Но, закаленные бедами,
Не закалили мы сердец.
Как над младенцами, над нами
Небесный сжалился отец.

Потухло зарево пожаров,
Угомонилася вражда;
Пленно-продавцев янычаров
Исчезли грозные суда.

Единоверному народу
Вручили мы свою судьбу,
Он дал нам полную свободу
Начать бескровную борьбу —

Борьбу с сохой, борьбу с лопатой,
С шелкомотальным колесом. . .
И стал богат наш дом дощатый
Мотками шелку и вином.

Рубли в карманах завелися,
Висят замки на сундуках,
И с песнями до Кутаиса
Мы русских возим в каюкàх.

НАД РАЗВАЛИНАМИ В ИМЕРЕТИИ

Когда на листья винограда
Слетала влажная прохлада
С недосягаемых вершин;
Когда вечерний звон Гелата
В румяных сумерках заката,
Смутив пустыни грустный сон,
Перелетал через Рион, —
Здесь на кладбищах, позабытых
Потомством, посреди долин,
Во мгле плющами перевитых
Каштанов, лавров и раин, [1]
Мне снился рой теней, покрытых
Струями крови, пылью битв, —
Мужей и жен, душой сгоревших
В страстях — и в небо улетевших,
Как дым, без мысли и молитв...
Но тщетно посреди видений
Мой ум наставника искал:
В их тесноте народный гений
Лучом бессмертья не сиял!

И проносился рой духов,
Как бы ища своих следов,
Над прахом тел, давно истлевших,
Под грудами не уцелевших
Соборов, башен и дворцов.

---

[1] Раина — дерево.

В устах, для мира охладевших,
На все звучал один ответ:
«Здесь было царство — царство пало...
Мы жили здесь — и нас не стало...
Но не скорби о нас, поэт!
Мы пили в жизни полной чашей;
Но вам из гроба своего,
В усладу бедной жизни вашей,
Не завещали ничего!..»

И пронеслись... Но сквозь туманы
Протекших лет передо мной
Неотразимой красотой
Мелькает образ Дареджаны...[1]
В ее глазах — любовь и мгла,
Тоска на мраморе чела,
В груди огонь желаний скрытых—
И возмутительных страстей
Зараза — и коварный змей
В улыбке уст полураскрытых.

1850 (Кутаис)

---

[1] Дареджана — дочь индийского царя, воспетая грузинским поэтом Шота Руставелем в его поэме «Барсова кожа». Некоторые думают, что Шота Руставель под именем Дареджаны воспевает царицу Тамару.

СТАРЫЙ САЗАНДАР [1]

Земли, полуднем раскаленной,
Не освежила ночи мгла.
Заснул Тифлис многобалконный;
Гора темна, луна тепла...

Ку́ра шумит, толкаясь в темный
Обрыв скалы живой волной...
На той скале есть домик скромный,
С крыльцом над самой крутизной.

Там, никого не потревожа,
Я разостлать могу ковер,
Там целый день, спокойно лежа,
Могу смотреть на цепи гор:

Гор не видать — вся даль одета
Лиловой мглой; лишь мост висит,
Чернеет башня минарета,
Да тополь в воздухе дрожит.

Хозяин мой хоть брови хмурит,
А, право, рад, что я в гостях...
Я все молчу, а он все курит,
На лоб надвинувши папах.

---

[1] Сазандар — певец.

Усы седые, взгляд сердитый,
Суровый вид; но песен жар
Еще таит в груди разбитой
Мой престарелый сазандар.

Вот, медных струн перстом касаясь,
Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!

«Молись, кунак,[1] чтоб дух твой крепнул;
Не плачь; пока весь этот мир
И не оглох и не ослепнул,
Ты званый гость на божий пир.

Пока у нас довольно хлеба
И есть еще кувшин вина,
Не раздражай слезами неба
И знай — тоска твоя грешна.

Гляди — еще цела за нами
Та сакля, где, тому назад
Полвека, жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.

Тогда мне мир казался тесен;
Я умирал, когда не мог
На празднике, во имя песен,
Переступить ее порог.

Вот с этой старою чингури[2]
При ней бывало на дворе
Я пел, как птица после бури
Хвалебный гимн поет заре.

Теперь я стар; она — далеко!
И где? — не ведаю; но верь,
Что дальше той, о ком глубоко
Ты, может быть, грустишь теперь. . .

---

[1] Кунак — друг, приятель, кум.
[2] Чингури — струнный инструмент.

Твое мученье — за горами,
Твоя любовь — в родном краю;
Моя — над этими звездами
У бога ждет меня в раю!»

И вновь молчит старик угрюмый;
На край лохматого ковра
Склонясь, он внемлет с важной думой,
Как под скалой шумит Курá.

Ему былое время снится...
А мне?.. Я не скажу ему,
Что сердце гостя не стремится
За эти горы ни к кому;

Что мне в огромном этом мире
Невесело; что, может быть,
Я лишний гость на этом пире,
Где собралися есть и пить;

Что песен дар меня тревожит,
А песням некому внимать,
И что на старости, быть может,
Меня в раю не будут ждать!

КАЧКА В БУРЮ

(Посв. М. Л. Михайлову)

Гром и шум. Корабль качает;
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.

Помрачился свод небесный,
И, вверяясь кораблю,
Я дремлю в каюте тесной...
Закачало — сплю.

Вижу я во сне: качает
Няня колыбель мою
И тихонько запевает —
«Баюшки-баю!»

Свет лампады на подушках;
На гардинах свет луны...
О каких-то все игрушках
Золотые сны.

Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквал? —
«Плохо — стеньга обломилась,
Рулевой упал».

Что же делать? что могу я?
И, вверяясь кораблю,
Вновь я лег и вновь дремлю я...
Закачало — сплю.

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

Скоро ночь — темнеют ели...
Слышу ласково-живой,
Тихий лепет: «На качели
Сядем, милый мой!»

Стан ее полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —
«Руль оторван; через нос
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!»

Что же делать? Будь что будет!
В руки бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудит —
Я не здесь проснусь.

Пароход «Тамань». Сентябрь 1850

НОЧЬ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

Чу! — выстрел — встань! Быть может, нападенье...
Не разбудить ли казаков?..
Быть может, пароход заходит в укрепленье
Подать письмо с родимых берегов.
Открой окно! — Ни зги! Желанных парусов
Кто в эту ночь увидит приближенье?
Луну заволокла громада облаков. —
Не гром ли? — Нет — не гром — игра воображенья...
— Зачем проснулись мы, увы, кто скажет нам!
Одни валы шумят и плачут без ответа...

Так часто, в наши дни, в немой душе поэта
Проходят образы, незримые очам,
Но вожделенные — подобно парусам,
Идущим в пристань до рассвета.

Пароход «Тамань». 1850 года

НОЧЬ

Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой! . .

Что́ мне звезды — луна — небосклон — облака —
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,
Превращает в алмазы росинки цветка,
И, как путь золотой, через море бежит?
Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет!
Усладит ли он горечь скрываемых слез,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!

Что́ мне сумрак холмов — трепет сонных листов —
Моря темного вечно-шумящий прибой —
Голоса насекомых во мраке садов —
Гармонический говор струи ключевой?
Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум!
Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум —
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Оттого, может быть, что далек мой покой! —

30 августа 1850.
Массандра, на южном берегу Крыма

Не мои ли страсти
Поднимают бурю?
С бурями бороться
Не в моей ли власти? . .

Пронеслася буря —
И дождем и градом
Пролилася туча
Над зеленым садом.

Боже! на листочках
Облетевшей розы
Как алмазы блещут
Не мои ли слезы?

Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?

1850

САТАР [1]

Сатар! Сатар! твой плач гортанный —
Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик —
Под звуки чианур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне проник.

Не знаю, что поешь; — я слов не понимаю;
Я с детства к музыке привык совсем иной;
Но ты поешь всю ночь на кровле земляной,
И весь Тифлис молчит — и я тебе внимаю,
Как будто издали, с востока, брат больной
Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.

Не знаю, что́ поешь — быть может, песнь Кярама,
Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь за кровь —
Быть может, славишь ты кровавый меч Ислама —
Те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов...
Не знаю, — слышу вопль — и мне не нужно слов!

1851

[1] Сатар — имя известного в Тифлисе персидского певца.

САЯТ-НОВА [1]

Много песков поглощают моря, унося их волнами,
Но берега их сыпучими вечно покрыты песками.

Много и песен умчит навсегда невозвратное время —
Новые встанут певцы, и услышит их новое племя.

Если погибну я, знаю, что мир мои песни забудет;
Но для тебя, нежный друг мой, другого певца уж
не будет.

Если погибну я, знаю, что свет не заметит утраты;
Ты только вспомнишь те песни, под звуки которых
цвела ты.
Я просветил твое сердце — а ты, ты мой ум
помрачила;
Я улыбаться учил — а ты плакать меня научила.

Так, если смолкну я, страстно любя тебя, друг
благородный,
Где — разреши мне последний вопрос мой, — где будет
холодный

Прах мой покоиться? там ли — в далеких пределах
чужбины;
Здесь ли, в саду у тебя, близ тебя, под навесом
раины?..

1851

[1] Саят-Нова — аноним одного из армянских певцов прошлого столетия.

ТАМАРА И ПЕВЕЦ ЕЕ ШОТА РУСТАВЕЛЬ

В Замке Роз, [1] под зеленою сенью плющей,
В диадеме, на троне Тамара сидит.
На мосту слышен топот коней;
Над воротами сторож трубит;
И толпа ей покорных князей
Собирается к ней.

О внезапной войне им она говорит —
О грозе, что с востока идет,
И на битву их шлет,
И ответа их ждет,
И как солнце красою блестит.
Молодые вожди, завернув в башлыки
Свои медные шлемы, — стоят —
И внимают тому, что отцы старики
Ей в ответ говорят.

В их толпе лишь один не похож на других —
И зачем во дворец,
В византийской одежде, мечтательно тих,
В это время явился певец?

Не царицу Иверии в сонме князей,
Божество красоты молча видит он в ней —
Каждый звук ее голоса в нем
Разливается жгучим огнем,

---

[1] Замок Роз — по-грузински Вардис-цихе — развалины его невдалеке от Кутаиса.

Каждый взгляд ее темных очей
Зарождает в нем тысячу змей,
И — восторженный — думает он:
Не роскошный ли видит он сон...
И какой нужно голос иметь,
Чтоб Тамару воспеть?..

Вдохновенным молчаньем своим
Показался он странен другим.
И упал на него испытующий взгляд,
И насмешки мучительный яд
В его сердце проник — и, любовью палим
И тоскою томим,
Из дворца удалиться он рад.

Отпустили толпу; — сторож громко трубит; —
На мосту слышен топот копыт;
На окрестных горах зажжены
Роковые сигналы войны —
И гонцы, улетая на борзых конях,
Исчезают в окрестных горах...

С грустной думой Тамара на троне сидит —
Не снимает Тамара венца —
Провожает глазами толпу — и велит
Воротить молодого певца.

И послышался царственный голос жены:
«Руставель! Руставель! ты один из мужей
Родился не в защиту страны:
Кто не любит войны —
Не являйся мне в сонме князей.
Но ты любишь дела и победы мои:
Я готова тебя при дворе принимать.
Меньше пой о любви —

О безумной любви — и тебя награждать
Я готова за песни твои».
И, бледнея, поник Руставель головой
Перед гордой царицей обширных земель.
И, смутившись душой,
Как безумец, собой
Не владея, сказал Руставель:

«О царица! чтоб не был я в сонме князей,
Навсегда удалиться ты мне повели —
Все равно! — образ твой
Унесу я с собой
До последних пределов земли.
Буду петь про любовь — ты не станешь внимать —
Но клянусь! — на возвышенный голос любви
Звезды будут лучами играть,
И пустыня, как нежная мать,
Мне раскроет объятья свои!

Удаляюсь — прости! Без обидных наград
Довершу я созданье мое:
Но его затвердят
Внуки наших внучат —
Да прославится имя твое!»

12 февраля 1851

КН. С. А. Г-НОЙ

У нее, как у гитаны,
Взгляд как молния блестит;
Как у польской резвой панны,
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.

Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей,
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.

5 марта 1851

ВЫБОР УСТА-БАША[1]

Базары спят... Едва взошла
Передрассветная денница. —
И что за шум на той горе!
Тифлисских нищих на заре
Куда плетется вереница?

Как будто на церковный звон
Слепца ведет его вожатый,
Как будто свадьбы ждать богатой
Или богатых похорон
К монастырю бредут босые
В косматых шапках старики,
Сложить на камни гробовые
Свои порожние мешки.
Не за копеечной добычей —
Чтоб завести иной обычай,
К монастырю, на этот раз,
Ватага нищих собралась.
Иная мучит их забота:
Забыв про медные гроши,
Они шумят: «Вай, вай! кого-то
Мы изберем в уста-баши!..»

Восстав от сна, Тифлис хохочет
Над их оборванной толпой;

[1] Уста-баш — то же, что голова или старшина.

Прослыть в народе головой
У нищих каждый нищий хочет, —
Бранятся, спорят и шумят...

Один Гито́, в дырявой шапке,
Прикрыв от ветра и дождей
Узлами обветшалой тряпки
Загар нагих своих плечей,
Стоит, свой посох упирая
В заржавый мох могильных плит,
И, грустно говору внимая,
Молчанье мертвое хранит.

«Гито́, Гито́! скажи хоть слово...
И будь над нами уста-баш!..» —
«Нет, братья! — молвил он сурово: —
Спасибо вам за выбор ваш.

Пусть выбор наш решает счастье:
Я укажу вам дом один,
Где вечно мрачный, как ненастье,
Живет богатый армянин.
Как мы, такой же бессемейный,
Похоронив недавно дочь,
Живет он жизнию келейной,
Считая деньги день и ночь.
Кто, братья, к празднику Христову,
Во имя божеских наград,
Хоть пол-абаза на обнову
Своих изорванных заплат
У скряги выплачет, — недаром,
Как самый счастливый из нас,
Он будет править всем амкаром, [1]
И я послушаюся вас!»

И все в ответ сказали разом;
«Быть по совету твоему!
Навел ты нас на путь, на разум!»
И каждый взял свою суму...

---

[1] Амка́р — община, в состав которой входят ремесленники, торговцы и др.

Совет Гитó пропал не даром;
Богатый армянин живет
И до сего дня за базаром,
Гоняя нищих от ворот. —
Гитó улегся на кладбище...
И вот, прошло уж много лет
С тех пор... Вай, вай! у братьи нищей
Уста-баши все нет как нет!..

1851

В ИМЕРЕТИИ

Риона шум и леса тень,
Плющ, виноград и цвет граната,
Прохладный ключ и знойный день,
И воздух, полный аромата,
Кругом лесистые холмы,
Хребты, покрытые снегами, —
Надолго ль встретилися мы?
Надолго ль я останусь с вами?

Или, как мимолетный сон,
Мелькнули вы передо мною —
И мне уже определен
Безвестный путь... или судьбою
Мне будет снова суждено
Сюда надолго возвратиться —
И тем, что временно дано,
Уже навеки насладиться?

И не того бы я хотел...
На лоне матери-природы
В труде разумном бы провел
Я увядающие годы,
И здесь иные семена,
Иные мысли б я посеял;
Тебя бы, дивная страна,
В уме и сердце я лелеял!

Когда же под безвестный кров
Зайдет земляк с страны родимой —

Его б в тени моих садов
Встречал я мыслию любимой; —
Я б говорил: иди сюда —
Взгляни, как радостно слиянье
Природы дивной и труда
Без угнетенья и страданья!

Кутаис. Мая 23. 1851

КАРАВАН

(Отрывок из восточной повести)

1

Какая ночь — не ночь, а рай!
Ночные звезды искры мечут.
Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай:
В горах бубенчики лепечут.

2

Луна светла, как трон аллы.
Как тени длинные, шагают
Верблюды по краям скалы;
На них ружейные стволы
То пропадают, то мелькают.

3

Вдали развалина стоит,
В туман серебряный повита.
Внизу клокочет и бежит
Ручей по склону черных плит, —
По дну ручья стучат копыта.

4

То едет сам Тамур-Гассан
В тени дремучего оврага.

И вот, к луке нагнув свой стан,
Он в гору скачет, как шайтан.
Куда, герой? куда, бродяга?

5

Поводья брошены — висят;
Ружье в чехле; подобно звеньям
Стальным, бренчит его булат;
Порывист конь, стуча скользят
Его копыта по каменьям.

6

Суровый всадник горд и смел.
Откуда и куда он скачет?
Что́ он, как хан разбогател?
Или нажиться не успел —
И жизнь попрежнему маячит?

7

Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай!
Готовь ночлег для каравана,
И в гости жди, и угощай
Разбойника Тамур-Гассана!

8

Далеко слух идет о нем!
Тамур-Гассану нипочем
Отбить быков, связать чабана. [1]
Рука с нацеленным ружьем
Дрожит при имени Гассана.

9

Он может пулей в лет пронзить
Орла; клыкастому кабану
Свиную морду раскроить,

---

[1] Чабан — пастух.

Влететь в табун, коня скрутить
И покорить его аркану.

10

Широк руки его размах...
Как лев, взмахнув косматой гривой,
Храпит и, с пеной на губах,
Напрасно в двадцати шагах
Из петли рвется конь ретивый —

11

Как раз могучая рука
Смирит порыв его свободный,
И будет гнать его, пока
Следа копыт его река
Не захлеснет волной холодной.

12

На чёрте — а не на коне —
Гассан везде поспел; в огне
Он не горит, в воде не тонет;
Задумает о табуне —
Табун его — как раз угонит.

13

Он подползет к нему, как змей,
В дыму вечернего тумана,
С двумя из опытных друзей,
Он выстрелом спугнет коней,
Пасущихся среди бурьяна,

14

Вперед помчится и свистит —
И вот, гонимый слева, справа,
Табун, шарахнувшись, летит,
Летит как буря — степь дрожит...
Пропал табун — Гассану слава.

15

Молва недаром бережет
Его от пули и булата:
Он в двух империях живет
И с каждой в дань себе берет
Коней, оружие и злато.

16

Всем жутко от его проказ
От Каменки [1] до Арарата;
И сам слыхал я, как не раз
Давали казакам наказ:
«Словить его, связать, ребята!»

17

Хотя, конечно, весть о нем
Не доходила до султана;
Но... дорого была в одном
Ауле мстительным купцом
Оценена башка Гассана...

18

Давно завидя караван,
Его догнал Тамур-Гассан,
И вслед за ним поехал шагом,
И долго он пугал армян,
Пока не скрылся за оврагом.

19

Идет верблюдов длинный ряд,
Раздулись ноздри их, глотают
Окрестных рощей аромат;
На их горбах ковры висят,
Шесты торчат, стволы мелькают.

---

[1] Каменка — военное поселение.

20

Весь караван вооружен;
Разбой он выстрелами встретит.
А где ж Гассан?! — Эге! уж он
На той горе, где разложен
Костер, как жертвенник, и светит.

21

Гассан узнал родимый край...
Он шепчет тексты из Корана.
Вставай, хозяин, отворяй
Ворота в караван-сарай!
Меджид, встречай Тамур-Гассана!

22

Меджид выходит из ворот;
Не суетится, не хлопочет;
Он гостя втайне узнает,
И руку на́ сердце кладет,
И, опустив глаза, бормочет:

23

«Аллас-алла! слезай с коня:
Его сведем мы к водопою,
Ему насыплем ячменя;
А ты у мирного огня
Свою главу склони к покою.

24

Костер мой сердце веселит;
Моя старуха плов сварит...»
Гассан ему в ответ: «Попоной
Накрой коня, возьми! Я сыт...»
И сел на бурке запыленной —

25

Сел и ослабил пояс свой,
И рукава назад откинул,
И стал вертеть перед собой
Кинжал с насечкой золотой,
Потом в ножны его задвинул.

26

Не так ли иногда вертит
Ребенок куклой расписною!
Ее заботливо хранит,
Тихонько с нею говорит
И даже спать кладет с собою.

27

Гамур нередко был душой
Далек от подвигов злодейских.
Но там, где дрябл закон немой,
Там, где народ привык разбой
Считать не хуже дел судейских, —

28

Там часто, местию горя,
Вдруг из ребенка-дикаря
Наездник грозный вырастает —
И что же? — песнь сазандаря
Его отвагу прославляет!

29

И он везде найдет друзей,
Под кровом каждого аула,
И не боится он цепей. . .
Все берегут его: злодей
Нигде не спит без караула.

30

В народе знают, что Гассан
Хоть и в горах живет скитальцем,
Сам по себе такой же хан,
Возьмет червонцы у армян,
Но бедняка не тронет пальцем;

31

Даст богомольцу золотой
И с богом в путь его проводит.
И вот, в умах толпы слепой
Он — то разбойник, то святой,
То дух, который всюду бродит.

32

Молчанье робкое храня,
Меджид по сумрачной площадке
Повел Гассанова коня,
И конь, уздечкою звеня,
Плодил в уме его догадки.

33

«Узнал ли ты меня?» — спросил
Его Гассан, скрестивши руки.
И лик его спокоен был,
И тих был голос, но таил
В себе магические звуки.

34

И бледен стал Меджид седой.
«Ты гость мой: за тебя я душу
Готов отдать, клянусь аллой! —
Шептал Меджид. — Изменой злой
Гостеприимства не нарушу!

35

Тебя не выдам никому:
Глух буду — нем! ... клянусь пророком!
Доверься слову моему!»
И стал Гассан смотреть ему
В глаза спокойно-зорким оком.

36

И молвил: «Вспомни! прошлый год
Тебя едва я не повесил...
Но, слушай, — караван идет...
Мне в эту ночь его дает
Судьба — он мой! молчи, будь весел!..»

37

Луна попрежнему была
Светла, как лампа, и лила
Свой свет на каменные груды —
И ночь была, как день, светла —
И шли — все ближе шли верблюды...

НА ПУТИ ИЗ-ЗА КАВКАЗА

I

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край, —
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несу перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.

Слышу Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят —
Колокольчик звенит — и надежные
Кони юношу к северу мчат.

Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! — приволье станиц —
Расстилаются степи зеленые —
Я простору не вижу границ.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад —
Колокольчик звенит-заливается. . . .
Кони юношу к северу мчат.

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки —
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки —

В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

II

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.

Но боюсь — если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской. —

Вспомнит домик твой — дворик, увешанный
Виноградными лозами — тень —
Где, твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.

Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубна звон в поздний вечера час,
Твой личак — и улыбку лукавую
И огонь соблазняющих глаз.

Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти с пеною
Горных рек, вытекающих в степь. —

10 июня 1851

50-е ГОДЫ

РЫБАК

Вольный перевод из Гете

(Посв. А. Н. Майкову)

Волна бежит, шумит, колышет
Едва заметный поплавок.
Рыбак поник и жадно дышит
Прохладой, глядя на поток.
В нем сердце сладко замирает —
Он видит: женщина из вод,
Их рассекая, выплывает
Вся на поверхность и поет —

Поет с тоскою беспокойной:
«Зачем народ ты вольный мой
Манишь из волн на берег знойный
Приманкой хитрости людской?
Ах, если б знал ты, как привольно
Быть рыбкой в холоде речном!
Ты б не остался добровольно
С холма следить за поплавком.

Светила любят, над морями
Склонясь, уйти в пучину вод;
Их, надышавшихся волнами,
Не лучезарней ли восход?

Не ярче ли лазурь трепещет
На персях шепчущей волны?
Ты сам — гляди, как лик твой блещет
В прохладе ясной глубины!»

Волна бежит, шумит, сверкает.
Рыбак поник над глубиной:
Невольный жар овладевает
В нем замирающей душой.
Она поет — рыбак несмело
Скользит к воде; его нога
Ушла в поток... Волна вскипела,
И — опустели берега.

ФИНСКИЙ БЕРЕГ

(Посв. М. Е. Кублицкому)

Лес да волны — берег дикий,
А у моря домик бедный.
Лес шумит; в сырые окна
Светит солнца призрак бледный.

Словно зверь голодный воя,
Ветер ставнями шатает.
А хозяйки дочь с усмешкой
Настежь двери отворяет.

Я за ней слежу глазами,
Говорю с упреком: «Где ты
Пропадала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты! [1]»

И, окошко протирая
Рукавом своим суконным,
Говорит она лениво
Тихим голосом и сонным:

«Для чего плести браслеты?
Господину не в охоту
Ехать морем к утру, в город,
Продавать мою работу!»

---

[1] В Финляндии девушки простого класса плетут из волос цепочки, шнурки, браслеты и продают их проезжающим.

«А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,
Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?

В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?»

Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
«Как не помнить! Я на остров
В эту ночь ладью гоняла...

И сосед меня на камне
Ждал, а ночь была лихая, —
Там ему был нужен хворост,
И ему его свезла я, —

На мысу в ночную бурю
Там костер горит и светит;
А зачем костер? — на это
Каждый вам рыбак ответит...»

Пристыженный, стал я думать,
Грустно голову понуря:
Там, где любят помогая,
Там сердца сближает буря...

1852. Пароход «Гелламо»

ВЕСНА

Воротилась весна, воротилась!
Под окном я встречаю весну.
Просыпаются силы земные,
А усталого клонит ко сну.

И напрасно черемухи запах
Мне приносит ночной ветерок;
Я сижу и тружусь; сердце плачет,
А нужда задает мне урок.

Ты, любовь — праздной жизни подруга, —
Не сумела ужиться с трудом. . .
Со слезами со мной ты простилась —
И другим улыбнулась тайком. . .

ПИСЬМО

Уж ночь. Я к ней пишу. Окно отворено;
Шум городской затих; над лампой мошки вьются.
Встаю — гашу огонь; хожу — гляжу в окно:
Как низко облака над кровлями несутся!
От этих облаков не будет и следа
В час утра — а моей любви живые грёзы,
Задумчивой любви привет, слова и слезы
Еще из-под пера не улетят... О да!
Пусть буря в эту ночь промчится, пусть потоки
Дождя всю ночь шумят и брызжут на гранит, —
Заветного письма ни буря не умчит,
Ни дождь не смоет эти строки.
Среди невежд она свои проводит дни,
Среди степных невежд... Пропустят ли они
Нераспечатанным мое письмо к ней в руки?
Не осмеют ли каждую строку,
Где так невольно я высказывал тоску
Души, подавленной насилием разлуки?
Она сама что скажет? Изорвет
Мое письмо при всех, с притворною досадой,
Или, измяв его, потом тайком прочтет
И вспомнит обо мне с мучительной отрадой?..
Нужда — невежество — родные и — любовь!..
Какая злость порой мою волнует кровь!
Но ты молчи пока — молчи, мое посланье,
Чтоб за мое негодованье
Не отомстили ей тюремщики ее,
Ценители покорного страданья.

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

ВОСПОМИНАНИЕ

Как быстро пароход летел, рулю послушный;
Как тяжко колебал в волнах он грудь свою —
И как я долго ждал душой неравнодушной,
Чтоб отворилась дверь твоей каюты душной,
Чтоб ты взошла на ют и села на скамью.
Дул ветер; сизыми грядами
Катились волны; небеса
Пурпурными светились облаками;
Труба хрипела; дым клоками
Летел, — и ты с кормы глядела вместе с нами,
Как опускали паруса...

Я помню — ты была бледна, без покрывала;
Зловещая заря свой пламень отражала
В зрачках твоих глубоко-темных глаз...
Как вдруг ты на меня взглянула и сказала:
«Дай бог, чтоб буря поднялась!»
«Зачем?» — с невольным изумленьем
Тебя я шепотом спросил...
Но бог не внял твоим моленьям
И море в ночь угомонил.

Над палубой луна сияла так приветно —
Я лунный свет ловил на пальцах рук твоих...
И ночь бессонная промчалась незаметно
Под мерный стук движений паровых.
Ты намекала мне на ранние сомненья,
На повесть грустную непонятой любви,

На бесполезные стремленья,
И на потребность утешенья,
И на страдания свои.

Случайный друг, друг только для одной
Прекрасной ночи, голос твой
Еще мне памятен; но где ты, я не знаю;
Года умчали молодость мою,
В житейском море я один блуждаю —
То к мирной пристани гоню мою ладью,
То снова парус поднимаю.
Увижусь ли когда-нибудь с тобой?
Узнаю ли тебя среди толпы людской?
Напомню ли тебе о нашей встрече?
К чему напоминать!.. Те пламенные речи,
Те призраки, что увлекали нас,
Давно их нет! И я не раз,
Над жизнию смеяться вслух не смея,
Смеялся внутренно, воображая час,
Когда на палубе сказала ты, бледнея:
«Дай бог, чтоб буря поднялась!»

1853

Жизнь движется вперед походкою неровной;
Ее намеренья ужели ты постиг!
Чтоб высказать себя, жизнь ловит миг условный;
Ужели от тебя зависит этот миг?
Жизнь, терпеливая, привыкла к испытаньям —
Не ведает конца и не спешит к концу.
Поэт! Не верь ее тоскливым ожиданьям,
И верь с трудом ее веселому лицу.

1853

БРЕД

Твой светлый лик вчера являлся мне
В каком-то странном полусне.
Ты на меня смотрела с состраданьем,
Как будто перед расставаньем.

Лаская слух, звучал мне голос твой:
«Не умирай, о милый мой!
Не уноси с собой в поток забвенья
Твою любовь — твои стремленья.

Еще не все изведано тобой
Под этим солнцем и луной.
Ты погибал, в холодной тьме блуждая, —
Блуждал, любви моей не зная.

Дай сердце мне! Его я сберегу:
Здесь на земле я все могу...
Могу к труду твои направить руки,
Могу твои прославить муки.

Приди ко мне! Склонись на грудь мою!
Узнай, как я тебя люблю!..»
И в полусне, твоим речам внимая,
Я плакал, недоумевая...

Как счастия земного сон живой,
Ты, вся любовь, была со мной,
И нежные твои лобзал я руки —
И трепетал, боясь разлуки...

1853

ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОД

(Посвящается А. Нов....ву)

Первоначальных лет неясные стремленья,
И все, чему найти не мог я выраженья;
Безумной юности неосторожный пыл,
И все, чем сердце я навеки отравил;
Возвышенных надежд несбыточные грезы,
И та действительность, к которой я привык;
Смешным неверием осмеянные слезы,
И внутренней борьбы никем неслышный крик;
Все прежние мечты, все страсти, все желанья,
Все равнодушие к тому, чего уж нет, —
Всё вместе, как одно всецелое страданье,
Могло б в сердцах людей найти себе ответ...
Но я не жду его, я не прошу ответа;
И все, что скажут мне, я знаю наперед:
«Мы так же, как и ты, похожи на Гамлета;
Ты так же, как и мы, немножко Дон Кихот».

1853

КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица... путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!

Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть; белый призрак луны
Смотрит в душу мою — и былую печаль
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет —
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизнь!.. чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле,
За цветной занавеской, кровать!..

У меня ли не жизнь!.. ночью ль ставень открыт,
По стене бродит месяца луч золотой,
Забушует ли вьюга — лампада горит,
И, когда я дремлю, мое сердце не спит,
Все по нем изнывая тоской».

То вдруг слышится мне, тот же голос поет,
    С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг? .. Я боюсь, он войдет
    И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
    И, быть может, погибла давно! ..

Что за жизнь! .. полинял пестрый полога цвет,
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет,
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,
    Оттого, что мне весело с ним! ..»

1854

СМЕРТЬ МАЛЮТКИ

Свою куклу раздела малютка
И покрыла ее лоскутком;
А сама нарядилась, как кукла,
И недетским забылася сном.

И не видит малютка из гроба —
В этот солнечный день, при свечах,
Как хорош ее маленький гробик,
Под парчой золотою, в цветах.

А уж как бы она любовалась,
Если б только могли разбудить!
Милый друг, будем плакать, как дети,
Чтоб недетское горе забыть. . .

1854

ВРЕМЕНИ

Зачем до сей поры тебя изображают
С седыми прядями на сморщенных висках,
Тогда как у тебя на юных раменах
Лишь только крылья отрастают?
О время, пестун наш! — на слабых помочах
Ты к истине ведешь людей слепое племя
И в бездну вечности роняешь их, как бремя,
И бремя новое выносишь на плечах.
Счастливый грек тебя, как смерти, ужасался,
Он в руки дал тебе песочные часы,
Косой вооружил и в страхе повергался
Пред лезвием твоей сверкающей косы.

А мы, среди своих попыток и усилий
Склонив перед тобой бесславное чело,
Твердим: когда-нибудь, авось, погибнет зло
От веянья твоих неслышно-мощных крылий!
Лети скорей, крылатое, скорей!
Нам в душу новыми надеждами повей!
Иль уж губи всех тех, которым ты пророчишь
Один бесплодный путь, и делай все, что хочешь!
Скорей мое чело морщинами изрой
И выветри скорей с лица румянец мой
И обреки меня холодному забвенью. . .
Что за беда! Другому поколенью
Ты наши лучшие надежды передашь,
Твердя ему в урок удел печальный наш.

Своекорыстие — и все, что сердце губит,
Невежество — и все, что гасит ум,
Мне беспрестанно в уши трубит:
«Живи без чувства и без дум!»
Вполне постигли мы бесплодие стремленья
К добру, к отрадному сочувствию людей,
И, выстрадав одно лишь право на презренье,
Мы говорим в порыве нетерпенья:
«О время! улетай скорей!»

1854

В ГЛУШИ

Для кого расцвела? для чего развилась?
Для кого это небо — лазурь ее глаз,
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,
Эта музыка — уст ее тихая речь?

Ясно может она своим чутким умом
Слышать голос души в разговоре простом;
И для мира любви и для мира искусств
Много в сердце у ней незатронутых чувств.

Прикоснется ли клавиш — заплачет рояль...
На ланитах — огонь, на ресницах — печаль...
Подойдет ли к окну — безотчетно-грустна
В безответную даль долго смотрит она.

Что звенит там вдали — и звенит и зовет?
И зачем там в степи пыль столбами встает?
И зачем та река широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?

И откуда, откуда тот ветер летит,
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,
Дышит запахом лип и, концами ветвей
Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?

Не природа ли тайно с душой говорит?
Сердце ль просит любви и без раны болит?
И на грудь тихо падают слезы из глаз...
Для кого расцвела? для чего развилась?

Свет восходящих звезд — вся ночь, когда она
Светла без месяца, без облаков темна,
Заключена в глазах твоих чудесных.
При них теряюсь я — и не могу понять,
И словом не могу понятным передать
Волнений, сердцу неизвестных.
Я верю иногда, что мне в глазах твоих
Читать любовь — была б отрада.
А иногда мне страшно возле них,
Как темной ночью возле клада.
Что выражает мне твой непонятный взгляд,
Когда глаза твои глядят и не глядят
Из-под ресниц тяжеловесных?
Не так ли две звезды — две путницы небесных,
Не зная, чьи мечты за ними вслед текут —
Горят — не греют — но. . . влекут.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Зачем покинул я в долине дом родной
И рощи свежие, шумящие ручьями?
«Не унывай, мой сын: за этими скалами
Пред нами ляжет путь, широкий и прямой».
— Отец, отец! пусти меня домой!
Мне страшно здесь... Какой-то гул невнятный...
«То море за горой нас чует и шумит,
Надеждой манит вдаль — и бурями грозит.

Идем!» — Душа полна тревоги непонятной...
Так вот оно — безбрежье вечных вод!
Прекрасно-гневное, оно меня зовет.
В сердитом плеске волн, отброшенных скалами,
Я слышу голос, грозно нами
Повелевающий, — и содрогаюсь я
И на корабль, как робкое дитя,
Всхожу послушными шагами...

У АСПАЗИИ

Гость

Что б это значило — вижу, сегодня ты
Дом свой, как храм, убрала:
Между колонн занавесы приподняты,
Благоухает смола.
Цитра настроена; свитки разбросаны;
У посыпающих пол
Смуглых рабынь твоих косы расчесаны...
Ставят амфоры на стол.
Ты же бледна, — словно всеми забытая,
Молча стоишь у дверей.

Аспазия

Площадь отсюда видна мне, покрытая
Тенью сквозных галерей,
Шум ее замер — и это молчание
В полдень так странно, что вновь
Сердце мне мучит тоска ожидания,
Радость, тревога, любовь.
Буйных Афин тишину изучила я:
Это — Перикл говорит;
Если бледна и молчит его милая,
Значит весь город молчит...
Чу! шум на площади — рукоплескания —
Друга венчает народ —
Но и в лавровом венке из собрания
Он к этой двери придет.

ПЧЕЛА

Пчела, погибшая с последними цветами,
Недаром чистыми янтарными сотами
Ты, с помощью сестер, свой улей убрала.
Ту руку, что тебя все лето берегла,
Обогатила ты сладчайшими дарами.

А я, собравши плод с цветов господней нивы,
Я рано, до зари, вернулся в сад родной;
Но опрокинутым нашел я улей мой...
Где цвел подсолнечник — растут кусты крапивы,
И некуда сложить мне ноши дорогой...

Моя судьба, старуха, нянька злая,
И безобразная, и глупая, за мной
Следит весь день и, под руку толкая,
Надоедает мне своею болтовней.
Когда-то в карты мне она гадала
И мне сулила много светлых дней;
Я, как ребенок, верил ей сначала,
Доверчив был и уживался с ней.
То штопая, то делая заплаты,
Она не раз при мне ворчала на беду:
«Вот погоди! как будем мы богаты,
  Я от тебя сама уйду. . .»
А между тем несутся дни и годы —
Старуха все еще в моем углу ворчит,
Во все мешается, хлопочет и, свободы
  Лишая разум, сердце злит.
И жизнь моя, невольно, как-то странно
  Слилась с ее житьем-бытьем,
И где бы ни был я, один ли — беспрестанно
  Мне кажется: мы с ней вдвоем.
Проснусь ли я душою, озаренный
Внезапной мыслию иль новой красотой,
Плаксивое лицо старухи раздраженной
Как желтое пятно мелькает предо мной.
Хочу любить. . . «Нет, — говорит, — невправе,
Не смеешь ты, не должен ты любить».
Уединясь, мечтаю ли о славе,
Она, как мальчика, придет меня дразнить.

И болен я — и нет мне сил подняться,
И слышу я: старуха, головой
Качая, говорит, что вряд ли мне дождаться
Когда-нибудь судьбы иной.

1855

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Отрадней сна, товарищ мой,
Мне побеседовать с тобой:
Сердитый вал к нам в люки бьет;
Фонарь скрипит над головой;
И тяжко стонет пароход,
Как умирающий больной.

Ты так же ранен, как и я...
Но эти раны жгут меня
И в то же время холодят:
Не спас меня хирурга нож,
Но ты меня моложе, брат,
И ты меня переживешь.

Едва ли, впрочем, этот Крым,
И этот гул, и этот дым,
И эти кучи смрадных тел
Забудешь ты когда-нибудь,
Куда бы ты ни полетел
Душой и телом отдохнуть.

На лоне мира и любви
Ты вспомнишь — ужас! — ты в крови
Топтал товарищей своих,
Ты слышал их предсмертный хрип,
Ты, раненый, близ ран моих
Лежал, страдал и — не погиб.

Какой ценой, ты вспомнишь, брат,
Купили мы развалин ряд!
Для человеческих ушей
Гром неестественный гремел,
Когда мы лезли из траншей
На вал, скользя по грудам тел.

Но грянул взрыв — последний взрыв...
И я без чувств упал в обрыв.
Когда ж очнулся... Боже мой!
Какая тишь была вокруг!
И страшен город был немой,
И страшно нем был мой испуг.

Стена была обагрена...
Дым застилал, как пелена,
Небесный свод — и от земли
Тяжелый поднимался пар...
Вдали пылали корабли,
И отражал залив пожар.

Ликуйте, гордые умы!
Могилу храбрых взяли мы...
Коварной славы сладкий дым,
Ты горек нам, ты дорог нам!
Но — фимиам необходим
Кумиру и его жрецам.

Когда ты снова посетишь
Наш императорский Париж,
Смутит тебя победный крик,
Как пляска после похорон,
Как сумасшедшего язык,
Как смех, в котором слышен стон.

Пускай наш новый полубог
Вкушает славу!.. Я б не мог...
Я для иного был рожден,
Иные цели смел таить,
И был, как бурей, увлечен
Туда, где я не мог любить...

И где, казалось бы, не след
Мне умереть в чаду побед...
Но — умираю... Все, что я
Любил когда-то, в эту ночь
Как будто около меня
Стоит и не отходит прочь.

Я вижу — вот моя семья...
Вот мать... вот нежная моя
Подруга... дети... Боже мой!
А это кто?!. Иль это бред?..
Какой-то призрак роковой —
В блестящей мантии скелет...

Ужели смерть?.. Зачем она,
Грозя, кричит: «Пылай, война!
Враждуйте, племена всех стран!
Вот вам республика и трон,
И христианство и Коран,
Мадзини и Наполеон!»

Скажи, что значу я пред ней
Со всею гордостью моей?..
Ее десница мне на грудь
Легла — и я как тряпка смят!
Освободи, брат! дай вздохнуть!..
А-га! да ты уж умер, брат!

Июля 20 дня 1855

Нет, нет! не оттого признаньем медлю я,
Что я боюсь — она не отзовется
Мне на мою любовь, холодный смех тая,
Что старая печаль, как лютая змея,
Опять в душе моей проснется!
Друг! разрушать мечты уж я привык давно,
И сердце у меня готово к новым ранам;
Не в первый раз мне суждено
Быть самому себе тираном.
Но... если я любим... но если с первых слов
Она сама мне бросится на шею!..
Сказать ли, отчего я медлю и робею?
Кто перед женщиной, рыдая, пасть готов,
Тот не готов еще назвать ее своею;
Кто с юных лет страстей обуздывал язык,
Кто приучен людьми не верить их участью,
Кто к лицемерию привык —
Тому нужна привычка к счастью.
Так, если б грешнику нежданно отворен
Был рай небесный — долго б он
Не мог войти в него, растерян и смущен,
Измученной душой как бы не доверяя
Гостеприимной сени рая.

ЗВЕЗДЫ

Посреди светил ночных,
Далеко мерцающих,
Из туманов млечными
Пятнами блуждающих
И переплывающих
Небеса полярные,
Новые созиждутся
Звезды светозарные.

Так и вы, туманные
Мысли, тихо носитесь,
И неизъяснимые
В душу глухо проситесь,
Так и вы над нашими
Темными могилами
Загоритесь некогда
Яркими светилами.

Мое сердце — родник, моя песня — волна,
Пропадая вдали, — разливается...
Под грозой — моя песня, как туча, темна,
На заре — в ней заря отражается.
Если ж вдруг вспыхнут искры нежданной любви
Или нá сердце горе накопится —
В лоно песни моей льются слезы мои,
И волна уносить их торопится.

— Подойди ко мне, старушка,
Я давно тебя ждала. —
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.
— Я скажу тебе всю правду;
Дай лишь на руку взглянуть:
Берегись, тебя твой милый
Замышляет обмануть... —

И она в открытом поле
Сорвала себе цветок,
И лепечет, обрывая
Каждый белый лепесток:
— Любит — нет — не любит — любит. —
И, оборванный кругом,
«Да» сказал цветок ей темным,
Сердцу внятным языком.

На устах ее — улыбка,
В сердце — слезы и гроза.
С упоением и грустью
Он глядит в ее глаза.
Говорит она: обман твой
Я предвижу — и не лгу,
Что тебя возненавидеть
И хочу и не могу.

Он глядит все так же грустно,
Но лицо его горит...

Он, к плечу ее устами
Припадая, говорит:
— Берегись меня! — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!..

И. С. АКСАКОВУ

Когда мне в сердце бьет, звеня, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

В негодование души твоей вникая,
Собрат, пойму ли я тебя?
На смелый голос твой откликнуться желая,
Каким стихом откликнусь я?

Не внемля шепоту соблазна, строгий гений
Ведет тебя иным путем,
Туда, где нет уже ни жарких увлечений,
Ни примирения со злом.

И если ты блуждал — с тобой мы врознь блуждали:
Я силы сердца не щадил;
Ты — не щадил труда; и оба мы страдали:
Ты больше мыслил, я — любил.

Общественного зла ты корень изучая,
Стоял над ним с ножом, как врач;
Я выжал сок его, пил — душу отравляя
И заглушая сердца плач.

К чему оно влеклось, кого оно согрело?
Зачем измучено борьбой?
О брат! пойму ли я при звуках лиры, смело,
Законно поднятой тобой?

Быть может, знать добро не значит зла не видеть,
Любить — не значит тосковать...
Что искренно нельзя и тьмы возненавидеть
Тому, кто сам не мог сиять...

Вот почему, когда звенит, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

Июнь 1856 г. СПб.

НА ПУТИ ИЗ ГОСТЕЙ

Славный мороз. Ночь была бы светла,
Да застилает сиянье
Месяца душу гнетущая мгла —
Жизни застывшей дыханье.
Слышится города шорох ночной,
Снег подметенный скрипит под ногой...
Дальних огней вижу мутные звезды,
Да запертые подъезды...
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Что же в гостях удержало меня?
Или мне было привольно
В сладком забвеньи бесплодного дня
Мучить себя добровольно?
Скучно и глупо без цели болтать...
И не охотник я в карты играть,
Даже, признаться, не радует ужин;
Да и кому я там нужен!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Мери сегодня была весела
И грациозно-любезна;
Но хоть она и умна и мила —
Нравиться ей бесполезно.
Слушать — так, право, на горе мое,

Бредит героями... но до нее
Мне далеко, потому что невеста
Ищет доходного места.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Олимпиада простее сестры...
Впрочем — глаза с поволокой,
Листа играет; во время игры
Пальцы взлетают высоко,
Клавиши так и стучат и гремят...
Все, будто в страхе каком-то, молчат...
Правду сказать, мастера ее руки
На музыкальные штуки!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Виктор стихи нам сегодня прочел:
Дамы остались довольны;
Только старик отчего-то нашел,
Что чересчур мысли вольны,
Что молодежь нынче стала писать
Так, что не следует вслух и читать.
Вот и прочел я стихи эти снова, —
Ну, и не понял ни слова!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Гости бывают там разных сортов:
В дом приезжают — вертятся,
И комплимент у них мигом готов,
Из дому едут — бранятся.
Что занимает их — трудно понять,
Всё обо всем они могут сказать;
Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

В люди как будто невольно идешь:
Все будто ищешь чего-то,

Вот-вот не нынче, так завтра найдешь...
Одолевает зевота,
Скука томит... А проклятый червяк
В сердце уняться не хочет никак:
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Много есть чудных, прекрасных людей,
Светлых умом и вполне благородных,
Но и они, вроде бледных теней,
Меркнут душою в гостиных холодных.
Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Вот, вижу дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на усах его лед,
Снег в бороде, в рукавице лопата...
Спит ли он, так ли, прижавшись, сидит,
Думает думу, морозы бранит,
Или, как я же, бесплодно мечтает,
Или меня поджидает?
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

СОЛОВЬИНАЯ ЛЮБОВЬ

В те дни, как я был соловьем,
Порхающим с ветки на ветку,
Любил я поглядывать зорким глазком
В окно, на богатую клетку.

В той клетке, я помню, жила
Такая красавица-птичка,
Что видеть ее страсть невольно влекла,
Насильно тянула привычка.

Слезами во мраке ночей
Питал я блаженные грезы,
И пел про любовь я в затишье аллей, —
И звуки дрожали, как слезы.

И к месяцу я ревновал...
И часто к затворнице сонной
Я страстные вздохи свои посылал
По ветру, в струе благовонной.

Нередко внимала заря
Моей серенаде прощальной —
В тот час, как, проснувшись, малютка моя
Плескалася в ванне хрустальной.

Однажды гроза пронеслась...
Вдруг, вижу, — окно нараспашку,
И клетка, о радость! сама отперлась,
Чтоб выпустить бедную пташку.

И стал я красавицу звать
	На солнце, в зеленые сени —
Туда, где уютные гнезда качать
	Слетаются влажные тени.

«Покинь золотую тюрьму!
	Будь голосу бога послушна!» —
Я звал... но к свободе, бог весть почему,
	Осталась она равнодушна.

Бедняжка, я видел потом,
	Клевала отборные зерна —
Потом щебетала — не знаю о чем —
	Так грустно и так непритворно!

О том ли грустила она,
	Что крылышки доля связала?
О том ли, что, рано промчавшись, весна
	Навек мои песни умчала?

1856

ТУМАН

Какой туман! ни солнца нет, ни тучи!
Деревья облеклись в какой-то дым пловучий;
И тянется сырой, бревенчатый забор
Вдоль грязной улицы, обманывая взор. . .
Вот нашей осени унылая картина!
Нет, что ни говори, здесь грустно без хлопот;
Меня здесь под ярмо сама природа гнет. . .
Недаром — эта блажь, бессонница, кручина,
Холодный сон души или страстей обман,
Иль робость школьника, который перед носом
Учителя стоит, запуганный вопросом;
Недаром иногда сквозь сеющий туман
Все, чем жила душа, мне кажется хаосом.
О, где ты? где, покинутая мной
В те дни, когда я жил не сердцем, а мечтой
И к подвигам себя берег в часы досуга? —
Откликнись! воротись, утешь названьем друга! —
Но — я на севере, а ты под солнцем юга —
И мой тяжелый вздох к тебе не долетит.

1856

НА КОРАБЛЕ

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!..
Еще вчерашняя гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.
В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! звони, свисти, чтоб мы не спали! —
Еще вчерашняя гроза не унялась...
Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн...

Заря!.. друзья, заря! Глядите, как яснеет —
И капитан, и мы, и гребни черных волн.
Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет,
Что́ бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясно: божий день, вставая, зла не прячет...
Но — не погибли мы!.. и много спасено...
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных лень —
И дальше в путь пойдем, и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день!

1856

She walks in beauty like the night.

Byron[1]

Тень ангела прошла с величием царицы:
В ней были мрак и свет в одно виденье слиты.
Я видел темные, стыдливые ресницы,
Приподнятую бровь и бледные ланиты.
И с гордой кротостью уста ее молчали,
И мнилось, если б вдруг они заговорили,
　　Так много бы прекрасного сказали,
　　Так много бы высокого открыли,
　　Что и самой бы стало ей невольно
И грустно, и смешно, и тягостно, и больно. . .

Как воплощенное страдание поэта,
Она прошла в толпе с величием смиренья;
Я проводил ее глазами, без привета,
И без восторженных похвал, и без моленья. . .
С благоговением уста мои молчали —
Но. . . если б как-нибудь они заговорили,
　　Так много бы безумного сказали,
　　Так много бы сердечных язв раскрыли,
　　Что самому мне стало б вдруг невольно
И стыдно, и смешно, и тягостно, и больно. . .

---

[1] Она идет, сверкая красотой подобно ночи.
Байрон (англ.). — *Ред.*

НОЧЬ В КРЫМУ

Помнишь, лунное мерцанье,
Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье,
И цынцырны [1] стрекотанье
За оградой садово́й;

В полумгле нагорным садом
Шли мы, — лавр благоухал;
Грот чернел за виноградом,
И бассейн под водопадом
Переполненный звучал;

Помнишь, свежее дыханье,
Запах розы, говор струй —
Всей природы обаянье,
И невольное слиянье
Уст в нежданный поцелуй.

Эта музыка природы,
Эта музыка души
Мне в иные, злые годы,
После бурь и непогоды,
Ясно слышалась в тиши.

Я внимал — и сердце грелось
С юга веющим теплом,
Легче верилось и пелось...
Я внимал — и мне хотелось
Этой музыки во всем...

---

[1] Цынцырна — татарское слово, — то же, что цикада.

А. Н. МАЙКОВУ

Ответ на стихи его:
«Полонский! суждено опять судьбою злою...»

Как, ты грустишь? — помилуй бог!
Скажи мне, Майков, как ты мог,
С детьми играя, тихо гладя
Их по головке, слыша смех
Их вечно-звонкий, вспомнить тех,
Чей гений пал, с судьбой не сладя,
Чей труд погиб...
                    Как мог ты, глядя
На северные небеса,
Вдруг вспомнить Рима чудеса,
Проникнуться воспоминаньем,
Вообразить, что я стою
Средь Колизея, как в раю,
И подарить меня посланьем?
Мне задушевный твой привет
Был освежительно-отраден.
Но — я еще не в Риме, нет!
В окно я вижу Баден-Баден,
И тяжело гляжу на свет.
Хоть мне здорово и приятно
Парным питаться молоком,
Дышать нетопленым теплом
И слушать музыку бесплатно;
Но — если б не было руин,
Плющом повитых, луговин
Зеленых, гор, садов, скамеек,

Холмов и каменных лазеек, —
Здесь на меня нашел бы сплин —
Так надоело мне гулянье,
Куда, расхаживая лень,
Хожу я каждый божий день
На равнодушное свиданье,
И где встречаю, рад не рад,
При свете газовых лампад,
Американцев, итальянцев,
Французов, англичан, голландцев,
И немцев, и немецких жен,
И всем известную графиню,
И полурусскую княгиню,
И русских множество княжен.
Но в этих встречах мало толку,
И в разговорах *о ничем*
Ожесточаюсь я умом,
А сердцем плачу втихомолку.
И эта жизнь меня томит,
И этот Баден, с этим миром,
Который вкруг меня шумит,
Мне кажется большим трактиром,
В котором каждый божий час
Гуляет глупость напоказ.
А ты счастливец! — любишь ты
Домашний мир. Твои мечты
Не знают роковых стремлений;
Зато как много впечатлений
Проходит по душе твоей,
Когда ты с удочкой своей,
Нетерпеливый, вдохновенный,
Идешь на лов уединенный.
Или, раздвинув тростники,
Над золотистыми струями
Стоишь — протер свои очки —
И жадными следишь глазами,
Как шевелятся поплавки.
И весь ты страстное вниманье. . .
Вот — гнется удочка дугой,
Кружится рыбка над водой —
Плеск — серебро и трепетанье. . .
О, в этот миг перед тобой

Что́ значат Рим и все преданья,
Обломки славы мировой!

Но, чу! свисток раздался птичий,
Ночь шелестит во мгле кустов:
Спеши, мой милый рыболов,
Домой с наловленной добычей!
Спеши! — уж божья благодать
На ложе сна детей приемлет,
Твои малютки спят, — и дремлет
Их убаюкавшая мать.
Уже в румяном полусвете,
Там, в сладких грезах полусна,
Тебя ждет милая жена
Иль труд в соседнем кабинете.
Труд благодатный! Труд живой!
Часы, в которые душой
Ты, чуя бога, смело пишешь
И на себе цепей не слышишь.
Люблю я стих широкий твой,
Насквозь пропахнувший смолою
Тех самых сосен, где весною,
В тени от солнца, меж ветвей,
Ты подстерег лесную фею,
И где с Каменою твоею
Шептался плещущий ручей.
Я сам люблю твою Камену,
Подругу северных ночей:
Я помню, как неловко с ней
Ты шел на шумную арену
Народных браней и страстей;
Как ей самой неловко было. . .
Но. . . олимпийская жена,
Не внемля хохоту зоила,
Тебе осталася верна,
И вновь в объятия природы —
В поля, в леса, туда, где воды
Струятся, где синеет мгла
Из-под шатра дремучей ели,
Туда, где водятся форели,
С тобою весело ушла.

Прости, мой друг! не знай желаний
Моей блуждающей души!
Довольно творческих страданий,
Чтоб не заплесневеть в глуши.
Поверь, не нужно быть в Париже,
Чтоб к истине быть сердцем ближе,
И для того, чгоб созидать,
Не нужно в Риме кочевать.
Следы прекрасного художник
Повсюду видит и — творит,
И фимиам его горит
Везде, где ставит он треножник,
И где творец с ним говорит.

Баден-Баден.
Август 1857

НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕРЕ

На Женевском озере
Лодочка плывет —
Едет странник в лодочке,
Тяжело гребет.
Видит он по злачному
Скату берегов
Много в темной зелени
Прячется домов.
Видит — под окошками
Возле синих вод
В виноградном садике
Красный мак цветет.
Видит — из-за домиков,
В вековой пыли,
Колокольни серые
Подняли шпили,
А за ними — вечные
В снежных пеленах
Выси допотопные
Тонут в облаках.
И душой мятежною
Погрузился он
О далекой родине
В неотвязный сон —
У него на родине
Ни озер, ни гор,
У него на родине
Степи да простор.

Из простора этого
Некуда бежать,
Думы с ветром носятся,
Ветра не догнать.

КОНЦЕРТ

Здесь Берлиоз!.. я видел сам
Его жидовско-римский профиль
И думал: что-то скажет нам
Сей музыкальный Мефистофель?
И вот, при свете ламп и свеч,
При яром грохоте оркестра,
Я из-за дамских вижу плеч,
Как тешит публику маэстро.
Трубят рога, гремит тимпан,
В колокола звонят над нами...
И над поющими струнами
Несется звуков ураган.
И адская слышна угроза...
И раздаются голоса...
И встали дыбом волоса
На голове у Берлиоза.

Поют!.. увы! не понял я,
Что значит хор сей погребальный?
И вдруг — тебя увидел я,
Знакомка милая моя,
Тебя, мой критик музыкальный.
К коленам уронив цветы,
К полудню сорванные нами,
Меж двух колонн сидела ты
Бледна, с померкшими очами.
Я угадал: страдала ты
Без мысли и без наслажденья,

Как от какой-то духоты
Иль в ужасе от сновиденья.
И думал: скоро на балкон
Мы выйдем... звезды видеть будем...
И эту музыку забудем
(Инструментальный гром и звон) —
Забудем, как тяжелый сон.

Баден-Баден.
Июль, 1858

УТРАТА

Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда смеясь я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши —
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.

Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!

Напрасно голос ваш приветный
Звучал мне как далекий звон,
Из-за пучины: путь заветный
Мне к вам навеки прегражден, —
Забудь же, сердце, образ бледный,
Мелькнувший в памяти твоей,
И вновь у жизни, чувством бедной,
Ищи подобья прежних дней!

НА БЕРЕГАХ ИТАЛИИ

Я по красному щебню схожу один
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.

Ах! как млеют, вдали замыкая залив,
Выси горные!
Как рисуются здесь, уходя в тень олив,
Козы черные...

Пастухи вдали, на свои жезлы,
С их котомками,
Опершись, стоят на краю скалы —
Над обломками.

Там, у взморья, когда-то стоял чертог
С колоннадами,
И наяды плескались в его порог
Под аркадами.

Там недавно мне снился роскошный сон —
Но... всегда ли я
Ради этих снов забывал твой стон,
О Италия!

Вдохновляемый плачем твоим, я схожу
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.

Там в лазурном тумане толпой встают
Тени бледные.
То не тени встают — по волнам плывут
Пушки медные.

Корабельный флаг отдаленьем скрыт,
Словно дымкою.
Там судьба твоя с фитилем стоит
Невидимкою. . .

1858

НОЧЬ В СОРЕНТО

Волшебный край! Соренто дремлет —
Ум колобродит — сердце внемлет —
Тень Тасса начинает петь.
Луна сияет, море манит,
Ночь по волнам далеко тянет
Свою серебряную сеть.

Волна, скользя, журчит под аркой,
Рыбак зажег свой факел яркий
И мимо берега плывет.
Над морем, с высоты балкона,
Не твой ли голос, примадонна,
Взвился и замер? — Полночь бьет.

Холодной меди бой протяжный,
Будильник совести продажной,
Ты не разбудишь никого!
Одно невежество здесь дышит,
Все исповедует, все слышит,
Не понимая ничего.

Но от полуночного звона
Зачем твой голос, примадонна,
Оборвался и онемел?
Кого ты ждешь, моя синьора?
О! ты не та Элеонора,
Которую Торквато пел!

Кто там, на звон твоей гитары,
Прошел в тени с огнем сигары?
Зачем махнула ты рукой,
Облокотилась на перила,
Лицо и кудри наклонила,
И вновь поешь: «О идол мой!»

Объятый трепетом и жаром,
Я чувствую, что здесь недаром
Италия горит в крови.
Луна сияет — море дремлет —
Ум колобродит — сердце внемлет —
Тень Тасса плачет о любви.

ЧИВИТА-ВЕККИА

Встала над морем с казарменной скукою
Крепость, угрюмее моря сурового...
В милом лице я искал пред разлукою,
Нет ли для сердца чего-нибудь нового.

Долго смотрел я, как лодка качалася —
Ты уплыла — я остался над палубой,
И ничего для меня не осталося
Кроме неволи с бесплодною жалобой.

Снова помчуся я в море шумящее,
Новые пристани ждут меня, странника;
Лишь для тебя, мое сердце скорбящее,
Нет родной пристани, как для изгнанника.

ХОЛОДЕЮЩАЯ НОЧЬ

(Фантазия)

(Посв. М. Ф. Штакеншнейдер)

Там, под лаврами, на юге —
Странник бедный — только ночь
Мог я взять себе в подруги,
Юга царственную дочь.

И ко мне она сходила
В светлом пурпуре зари,
На пути, в пространствах неба,
Зажигая алтари.

Боже! как она умела
Раны сердца врачевать,
Как она над морем пела!
Как умела вдохновлять!

Но, увы! судьбой на север
Приневоленный идти,
Я сказал подруге-ночи:
«Ненаглядная, прости!»

А она со мной расстаться
Не хотела, не могла —
По горам, от слез мигая,
Вслед за мной она текла.

То сходила на долину
С томно блещущим челом
И задумчиво стояла
Над моим степным костром;

То со мною ночевала
Над рекою, у скирдов,
Вея тонким ароматом
Рано скошенных лугов.

Но чем дальше я на север
Шел чрез степи и леса,
Незаметно холодела
Ночи южная краса...

То, в туманы облачаясь,
Месяц прятала в кольцо;
То с одежд холодный иней
Отрясала мне в лицо.

Чем я дальше шел на север,
Тем гналась она быстрей,
Раньше день перегоняла,
Уходила все поздней.

И молила, и стонала...
И, дрожа, я молвил ей:
«Ты на севере не можешь
Быть подругою моей».

И, сверкнув, у синей ночи
Помутилися глаза,
И застыла на ресницах
Накипевшая слеза.

И пошла она, — и белым
Замахала рукавом,
И завыла, поднимая
Вихри снежные столбом.

Сквозь метель на север хладный
Я кой-как добрел домой...

Вижу — ночь лежит в долине
Под серебряной парчой...

И беззвучно мне лепечет:
«Погляди, как я мертва!
Сердце глухо, очи тусклы,
Холодеет голова.

Но гляди — всё те же звезды
Над моею головой...
Красотой моею мертвой
Полюбуйся, милый мой.

И поверь, что если снова
Ты воротишься на юг,
В прежнем блеске я восстану,
Чтоб принять тебя, мой друг!

С прежней негой над тобою
Я склоню главу мою
И тебе, сквозь сон, над ухом
Песню райскую спою»...

Корабль пошел навстречу темной ночи. . .
Я лег на палубу с открытой головой;
Грустя, в обитель звезд вперил я сонны очи,
Как будто в той стране таинственно-немой
Для моего чела венец плетут Плеады
И зажигают вечные лампады,
И обещают мне бессмертия покой.

Но вот — холодный ветр дохнул над океаном;
Небесные огни подернулись туманом.
И лег я ниц с покрытой головой,
И в смутных грезах мне казалось: подо мной
Наяды с хохотом в пучинный мрак ныряют,
На дне его могилу разгребают —
И обещают мне забвения покой.

ПЕСНЯ

(Посв. Н. В. Гербелю)

Выйду — за оградой
Подышать прохладой.
Горе ночи просит,
Горе сны уносит...
Только сердце бредит:
Будто милый едет,
Едет с позвонками
По степи широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

Ночь свежее дышит —
Вербою колышет,
Дрожью пробирает.
Соловей рыдает.
Высыхайте, слезы!
Улетайте, грезы!
Дальний звон пронесся
За рекой широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

Зорька выплывает —
Заревом играет.
Я через куртину
Проберусь в долину...

Я лицо умою
Водой ключевою...
Вон и домик виден
На горе высокой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

СУМАСШЕДШИЙ

Кто говорит, что я с ума сошел?!
Напротив... — я гостям радешенек... Садитесь!..
Как это вам не грех! неужели я зол!
Не укушу — чего боитесь!

Давило голову — в груди лежал свинец...
Глаза мои горят — но я давно не плачу —
Я все скрывал от вас... Внимайте, наконец
Я разрешил мою задачу!..

Да, господа! мир обновлен. — Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку. —

Народы поднялись и обнажили меч,
Но образумились и обнялись как братья.
Гербы и знамена — все надо было сжечь,
Чтоб только снять печать проклятья.

Настало царствие небесное — светло —
Просторно... — На земле нет ни одной столицы,
Тиранов также нет — и все как сон прошло:
Рабы, оковы и темницы —

Науки царствуют — виденья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу! слышите — поют со всех концов земли
Невидимые херувимы.

Ликуйте! вечную приветствуйте весну!
Свободы райской гимн из сердца так и рвется —
И я тянусь, тянусь, как луч, в одну струну —
Что́, если сердце оборвется!!.

1859

ЖЕНЩИНЕ

Когда во мне душа кипела,
Когда она, презрев судьбу,
Рвалась из тесного предела
На свет, на волю, на борьбу, —
Зачем тогда не укротила
Ты дух мой гордый и слепой,
Чтоб даром не погибла сила
В борьбе бесплодной и пустой?

Когда тоскливый, беспокойный,
Без цели — в даль от суеты
То мчался я по степи знойной,
То лез на снежные хребты, —
Зачем звездою путеводной
Ты не сияла предо мной?
Быть может, гордый и свободный,
Нашел бы я мой путь прямой.

Когда, от жизни уставая,
В нетрезвом полузабытьи,
Я повторял: о, жизнь пустая!
О, силы прежние мои! —
Как луч востока благодатный,
Зачем тогда не разбудил
Меня твой голос, сердцу внятный,
И падших сил не обновил?

Когда лампаду трудовую,
Как раб нужды, зажег я вновь

И проклинал страну родную
Без веры в славу и любовь, —
Зачем, когда лампада гасла,
Не ты пришла и в поздний час,
Как друг, спасительного масла
Не ты влила, чтоб свет не гас?

Когда, по слякоти шагая
В туман, я отличал едва
Себя от грязи — так больная
Была туманна голова, —
Зачем от этого ненастья
Ты разум мой не сберегла
И от постыдного участья
Своим участьем не спасла?

Но кто же ты? — к кому упреки! . .
Тебя я с юных лет не знал:
Не ты давала мне уроки,
Когда мой слабый ум блуждал,
Не ты любить меня учила,
Когда безумно я любил,
Не ты меня благословила
Бороться до утраты сил.

Шли годы. С упованьем тайным
Расстался я. — К чему ж теперь,
Виденьем светлым и случайным,
Ты к старику стучишься в дверь
И, слезы поздние роняя,
Мне шепчешь: о! как ты грешил!
Как низко падал! — но — святая,
Где ты была, когда я жил?

1859

По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали
И на грудь скалы горючей
К ночи медленно сползали.
Но сошлись — не уступили
Той скалы друг другу даром,
И пустыню огласили
Яркой молнии ударом.
Грянул гром — по дебрям влажным
Эхо резко засмеялось,
А скала таким протяжным
Стоном жалобно сказалась,
Так вздохнула, что не смели
Повторить удара тучи
И у ног скалы горючей
Улеглись и обомлели...

ИНАЯ ЗИМА

Я помню, как детьми, с румяными щеками,
По снегу хрупкому мы бегали с тобой —
Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню сгоняла нас клюкой;
А поздним вечером твои сияли глазки
И на тебя глядел из печки огонек,
А няня старая нам сказывала сказки,
О том, как жил да был на свете дурачок.

Но та зима от нас ушла с улыбкой мая,
И летний жар простыл — и вот, заслыша вой
Осенней бури, к нам идет зима иная,
Зима бездушная — и уж грозит клюкой.

А няня старая уж ножки протянула —
И спит себе в гробу, и даже не глядит,
Как ты, усталая, к моей груди прильнула,
Как будто слушаешь, что́ сердце говорит.
А сердце в эту ночь, как няня, к детской ласке
Неравнодушное, раздуло огонек
И на ушко тебе рассказывает сказки,
О том, как жил да был на свете дурачок.

КАЗАЧКА

Уж осень! кажется, давно ли
Цветущим ландышем дремучий пáхнул лес,
И реки, как моря, сливалися по воле
Весною дышащих небес!

Давно ль ладья моя качалась
Там, где теперь скрипят тяжелые возы;
Давно ли жаркая в разливе отражалась
Заря, предвестница грозы!

Я помню — облаков волокна
Сплывалися, и ночь спускалася кругом
На крыльях ветра, а вдали сверкали окна,
И грохотал весенний гром.

И в блеске молний мне казалось
Волшебным островом знакомое село.
Я плыл — горела грудь — ладья моя качалась,
И вырывалося весло.

Я правил к берегу разлива,
И хата, крытая соломою, с крыльцом,
Ко мне навстречу шла, мигая мне пугливо
Уединенным огоньком.

Стихало. Туча громовая
Отодвигалася за дальние плетни;
Пел соловей, а я причаливал, бросая
Весло свое на дно ладьи.

О ночка, золотая ночка,
Как ты свежа была, безлунная, в звездах!
Как ты притихла вдруг, когда ее сорочка
Мелькнула в темных воротах!

Казачка бедная, пугливой
Голубкой ты росла; но ты меня рукой
Манила издали; меня твой взор ревнивый
Мог узнавать во тьме ночной.

Не диво, корень приворотный
Мне за карбованец отец твой навязал,
И уж чего-чего старик словоохотный
Мне про него не насказал.

Когда, последний шкалик водки
Хватив, он поклялся, хмельной, на образах,
Ты вышла бледная из-за перегородки
И долго плакала в сенях.

И, недоступная девчина,
Ты в эту ночь пошла, как тень пошла за мной...
Я помню, лес был тих и сонная долина
В росе белелась под луной.

Когда холодными руками
Ты обвила меня, и с головы платок
Скатился на плеча, — прильнув к устам устами,
Я страсти одолеть не мог...

На самом деле оправдала
Ты знахарство отца: ни плеть его с тех пор,
Ни брань, ни кулаки, ничто не помогало;
Силен был вражий приговор...

На посиделках опустела
В кругу девчат твоя обычная скамья;
Ты мне лишь одному степные песни пела,
Свои предчувствия тая.

Бедняжка! в корень приворотный
Ты верила, а я, — я верил, что весна
Колдует и в гнезде у птички беззаботной
И у косящата окна.

1859

Недавно ты из мрака вышел,
Недавно ты пошел назад,
И все ты видел, все ты слышал, —
И все ты понял невпопад...
Остановись! ужель намедни,
Безумец, не заметил ты,
Что потушил огонь последний
И смял последние цветы!..

СНЫ

1

Затворены душные ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня.

Мне снилось, румяное солнце
В постели меня застает,
Кидает лучи по окошкам
И молодость к жизни зовет.

И — странно! — во сне мне казалось,
Что будто, пригретый лучом,
Лениво я голову поднял
И стал озираться кругом;

И вижу — толпа за толпою
Снует мимо окон моих.
О глупые люди! куда вы? —
Я думаю, глядя на них.

И сам наконец я за ними
Куда-то спешу из ворот...
И жжет меня полдень, и пыльный
Кругом суетится народ.

И ходят послушные ноги,
И движутся руки мои;
Без мысли язык мой лепечет,
И сердце болит без любви.

И вот уж гляжу я на запад,
Усталою грудью дыша. . .
Когда-то закатится солнце!
Когда-то проснется душа!

Проснулся: затворены ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня! . .

2

Мне снилось, легка и воздушна,
Прошла она мимо окна;
И слышу я голос: мой милый!
Спеши! я сегодня одна! . .

Слова эти были так нежны
И так нетерпенья полны,
Что сердце мое встрепенулось,
Как птичка навстречу весны.

И радостным сердца движеньем
Себя разбудил я. . . увы!
Глядела в окно мое полночь,
И слышались крики совы.

И долго лежал я — и дума
Была, как свинец, тяжела.
Неужели в это окошко
Она меня громко звала?

Неужели в это окошко
Другим я когда-то смотрел?
Был ветрен, и молод, и весел,
И многого знать не хотел?

3

Уж утро! — но, боже мой, где я?
В своем ли я нынче уме?
Вчера мне казалось так живо,
Что я засыпаю в тюрьме;

Что кашляет сторож за дверью
И что за туманным стеклом
Луна из-за черной решетки
Сияет холодным серпом;

Что мышка подкралась и скоблет
Ночник мой, потухший в углу,
И что все какая-то птичка
С надворья стучит по стеклу.

Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный, —
В своем ли я нынче уме?

4

ПОДСОЛНЕЧНОЕ ЦАРСТВО

Клонит сон — стихи, прощайте!
Погасай, моя свеча!
Сплю и слышу, будто где-то
Ходит маятник стуча...

Ходит маятник, и сонный,
Чтоб догнать его скорей,
Как по воздуху, иду я
Вдаль за тридевять полей...

И хочу я в тридесятом
Государстве кончить путь,
Чтоб хоть там свободным словом
Облегчить больную грудь.

И я вижу: в тридесятом
Государстве на часах

Сторожа стоят в тумане
С самострелами в руках.

На мосту собака лает,
И в испуге через сад
Я иду под свод каких-то
Фантастических палат.

Узнаю родные стены...
И тайком иду в покой,
Где подсолнечного царства
Царь лежит с своей женой.

Кот мурлычет на лежанке;
Светит лампа — царь не спит —
И седая из подушек
Борода его торчит.

На глаза колпак напялив,
Шевелит он бородой
И ведет такие речи
Обо мне с своей женой:

«Сокрушил меня царевич;
Кто мне что́ ни говори, —
А любя стихи да рифмы,
Не годится он в цари.

Я лишу его наследства».
А жена ему в ответ:
«Будет, бедненький, по царству
Он скитаться, как поэт».

«Но, — сказал отец, — дозволим
Мы за это, так и быть, —
Нашей фрейлине с безумцем
Одиночество делить:

У нее в лице любовью
Дышит каждая черта —

У него в стихах недаром
Все любовь да красота».

«Но, — ответила царица, —
Наша фрейлина горда
И отвергнутого нами
Не полюбит никогда».

Ах! — кричу я им, — лишите
Вы меня всего, всего...
Все-то ваше царство вряд ли
Стоит сердца моего!..

Но ужель она, чьи очи
Светят раем, — так горда,
Что отвергнутого вами
Не полюбит никогда?..

5

ТИШЬ И МРАК

Я спал — и гнетущего страха
Волненье хотел превозмочь,
И видел я сон — будто светит
Какая-то странная ночь.

Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.

И месяц, холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.

Недвижно поникли деревья;
Далеко стоит тишина:
Природа как будто не дышит
В объятиях мертвого сна.

И весь я вниманье — и сердцем
Далеко я в ночь уношусь,
И жду хоть единого звука —
И крикнуть хочу и — боюсь!

И вдруг с легким треском все небо
Подвинулось — звезды текут —
И катится месяц, как будто
На нем гроб тяжелый везут.

И темные тучи печальным
Над ним балдахином висят,
И красные звезды, как свечи,
Повитые крепом, горят.

И катится месяц все дальше
И дальше в бездонную ночь —
И звезды за ним в бесконечность
Уходят из глаз моих прочь. . .

Их след, как дымок от фосфора,
Как облачко, в черной дали
Расплылся — и мрак непроглядный
Одел мертвый череп земли.

И стал я блуждать в этом мраке
Один — как слепец. Не ночной —
Могильный был мрак, и повсюду
Была тишина и покой.

Такой был покой и такая
Была тишина, что листок
В лесу покачнись — или капля
Скатись — я услышать бы мог.

То весь замирал я — и долго
Стоял неподвижно — то бил
Я в землю ногами, не видя
Ни ног, ни земли; — то ходил,

Кружась, как помешанный, — падал —
Лежал — сам с собой говорил —

Вставал — щупал воздух руками —
И вдруг — чью-то руку схватил...

И мигом я понял, что это
Была не мужская рука,
У ней были нежные пальцы,
Она была стройно легка.

И так эту руку схватил я,
Как будто добычу поймал,
И так я был рад, что, казалось,
На время дышать перестал.

«Ага! не один я — не все мы
Пропали! — я думал. — Есть грудь
Другая, которая может
И закричать и вздохнуть».

«О, кто ты? — шептал я, — хоть слово
Скажи мне — хоть слово! — и мне
Оно будет музыкой в этой
Могильной, немой тишине...

Откуда ты шла? — Где застигла
Тебя эта тьма? — говори!
Мне звуки речей твоих будут
Сиянием новой зари».

Молчанье — молчанье — ни слова,
Ни вздоха... Одна лишь рука
Незримая руку мне жала
И трепетала слегка.

Напрасно порывисто, жадно
Уста я устами ловил,
Напрасно лобзал ее в очи
И плечи слезами кропил.

Она предавала все тело
Мучительным ласкам моим;
А я — я шептал: «Умоляю,
Порадуй хоть словом одним».

Молчанье, молчанье — и вот уж
Я сам перестал говорить,
Я помню, во сне, как безумец,
Готов был ее укусить!!

Но в эту минуту, рванувшись,
Как змей ускользнула она,
И стало опять — мрак во мраке —
И в тишине — тишина...

С простертыми долго руками
Ходил я, рыдая, стеня,
Шатаясь — и тьму обнимал я,
И тьма обнимала меня.

Споткнувшись на что-то, я поднял
Какую-то книгу — раскрыл
Страницы — и лег с ней на землю —
И лбом к ней припал — и застыл.

Из книги, мне чудилось, буквы
Всплывали — и ярче огня
Сверкали и в жгучие строки
Слагались в мозгу у меня.

И страшные мысли читал я
В невидимой книге — как вдруг
На слове «проклятье» очнулся —
И оглянулся вокруг.

О боже мой! где я!! — сквозь щели
Затворенных ставень сквозят
Лучи золотые, то солнца
Глаза золотые глядят.

Глядят и смеются — и сердце
Очнулось — и, жизни привет
Почуя, взыграло, как будто
Впервые увидело свет...

60-е ГОДЫ

ЧАЙКА

Поднял корабль паруса;
В море спешит он, родной покидая залив,
Буря его догнала и швырнула на каменный риф.

Бьется он грудью об грудь
Скал, опрокинутых вечным прибоем морским,
И белогрудая чайка летает и стонет над ним.

С бурей обломки его
Вдаль унеслись; — чайка села на волны — и вот,
Тихо волна покачав ее, новой волне отдает.

Вон — отделились опять
Крылья от скачущей пены — и ветра быстрей
Мчится она, упадая в объятья вечерних теней.

Счастье мое, ты — корабль:
Море житейское бьет в тебя бурной волной; —
Если погибнешь ты, буду как чайка стонать над тобой;

Буря обломки твои
Пусть унесет! но — пока будет пена блестеть,
Дам я волнам покачать себя, прежде чем в ночь
улететь.

Я ль первый отойду из мира в вечность — ты ли,
Предупредив меня, уйдешь за грань могил,
Поведать небесам страстей земные были,
Невероятные в стране бесплотных сил!
Мы оба поразим своим рассказом небо
Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба,
Где золото к вражде — к безумию ведет,
Где ложь всем явная наивно лицемерит,
Где робкое добро себе пощады ждет,
А правда так страшна, что сердце ей не верит,
Где — ненавидя — я боролся и страдал,
Где ты — любя — томилась и страдала;
Но —
Ты скажи, что я не проклинал;
А я скажу, что ты благословляла! . .

БЕЗУМИЕ ГОРЯ

(Посв. пам. Ел. П....й)

Когда, держась за ручку гроба,
Мой друг! в могилу я тебя сопровождал —
Я думал: умерли мы оба —
И как безумный — не рыдал.
И представлялось мне два гроба:
Один был твой — он был уютно-мал,
И я его с тупым, бессмысленным вниманьем
В сырую землю опускал;
Другой был мой — он был просторен,
Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел,
И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха
Роскошно золоченая, горел.
Когда твой гроб исчез, забросанный землею,
Увы! мой — все еще насмешливо сиял,
И озирался я, покинутый тобою,
Душа души моей! — и смутно сознавал,
Как нелегко в моем громадно-пышном гробе
Забыться — умереть настолько, чтоб забыть
Любви утраченное счастье,
Свое ничтожество и — жажду вечно жить.
И порывался я очнуться — встрепенуться —
Подняться — вечную мою гробницу изломать —
Как саван сбросить это небо,
На солнце наступить и звезды разметать —
И ринуться по этому кладбищу,
Покрытому обломками светил,
Туда, где ты — где нет воспоминаний,
Прикованных к ничтожеству могил.

1860

Я читаю книгу песен,
«Рай любви — змея любовь» —
Ничего не понимаю —
Перечитываю вновь.

Что со мной! — с невольным страхом
В душу крадется тоска...
Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука —

Словно чья-то тень поникла
За плечом — и в тишине
Тихо плачет — тихо дышит
И дышать мешает мне.

Словно эту книгу песен
Прочитать хотят со мной
Потухающие очи
С накипевшею слезой.

Когда б любовь твоя мне спутницей была,
О, может быть, в огне твоих объятий
Я проклинать не стал бы даже зла,
Я б не слыхал ничьих проклятий! —
Но я один — один, — мне суждено внимать
Оков бряцанью — крику поколений —
Один — я не могу ни сам благословлять,
Ни услыхать благословений! —
То клики торжества... то похоронный звон, —
Все от сомнения влечет меня к сомненью...
Иль, братьям чуждый брат, я буду осужден
Меж них пройти неслышной тенью!
Иль, братьям чуждый брат, без песен, без надежд,
С великой скорбию моих воспоминаний,
Я буду страждущим орудием невежд,
Подпоркою гнилых преданий!

Признаться сказать, я забыл, господа,
Что думает алая роза, когда
Ей где-то во мраке поет соловей,
И даже не знаю, поет ли он ей.
Но знаю, что думает русский мужик,
Который и думать-то вовсе отвык...
Освобождаемый добрым царем,
Всё розги да розги он видит кругом.
И думает он: то-то станут нас бить,
Как мы захотим на свободе-то жить...

Признаться, забыл я — не знаю, о чем
Беседуют звезды на небе ночном,
И точно ли жаждут упиться росой
Цветы полевые в полуденный зной.
Но знаю, о чем тайно плачет бедняк,
Когда, запирая свой пыльный чердак,
Лежит он, и мрачен, и зол оттого,
Что даже не смеет любить никого,
И зол он на звезды — что с неба глядят,
Как люди глядят — и помочь не хотят.

Я вам признаюсь, что я знать не могу,
Что думает птица, когда на лугу
Холодный туман начинает бродить,
А солнце встает и не смеет светить.
Но знаю — ох, знаю, что мыслит поэт,
Когда для него гаснет солнечный свет.
Ведь я у цензуры слуга крепостной,

Так думает он — и, холодной рукой
Сдавя свою голову, тихо поет,
Когда его музу цензура сечет.

Признаться, не знаю, что думает пес,
Когда птички крадут в навозе овес,
Когда кот пушистым виляет хвостом,
Не знаю, что думают мыши об нем,
Но знаю, что думают слуги царя,
Ближайшие слуги!
                        Усердьем горя,
Они день и ночь молят господа сил,
Чтоб он взволновать им народ пособил:
Дай, боже! царя убедить нам хоть раз,
Что плохо бы было престолу без нас;
Ведь эдакий глупый презренный народ:
Как хочешь дразни — ничего не берет.

20 марта 1861

БЕГЛЫЙ

— Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока:
Не сегодня — завтра свяжут молодца.
Не ушел ли ты от матери-отца?
Не гулял ли ты за Волгой в степи?
Не сидел ли ты в остроге на цепи?

«Я сидел и в остроге на цепи,
Я гулял и за Волгой в степи,
Да наскучила мне волюшка моя,
Воля буйная, чужая, не своя.
С горя, братцы, изловить себя я дал —
Из острога, братцы, с радости бежал.

Как в остроге-то послышалося нам,
Что про волю-то читают по церквам, —
Уж откуда сила-силушка взялась:
Цепь железная, и та, вишь, порвалась!
И задумал я на родину бежать;
Божья ночка обещалась покрывать.

Я бежал — ног не чуял под собой. . .
Очутился на сторонушке родной,
Тут за речкой моя матушка живет,
Не разбойничка, а сына в гости ждет.
Я сначала постучуся у окна —
Выходи, скажу, на улицу, жена!

Ты не спрашивай, в лицо мне не гляди,
От меня, жена, гостинчика не жди.
Много всяких я подарков тебе нес,
Да, вишь, как-то по дороге все растрес;
Я вина не пил — с воды был пьян,
Были деньги — не зашил карман.

Как нам волю-то объявят господа,
Я с воды хмелен не буду никогда;
Как мне землю-то отмерят на миру —
Я в кармане-то зашью себе дыру.
Буду в праздники царев указ читать...
Кто же, братцы, меня может забижать?»

— Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока.
Хоть родное-то гнездо недалеко, —
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в дому хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить.

ДВОЙНИК

Я шел и не слыхал, как пели соловьи,
И не видал, как звезды загорались,
И слушал я шаги — шаги, не знаю чьи,
За мной в лесной глуши неясно повторялись.
Я думал — эхо, зверь, колышется тростник;
Я верить не хотел, дрожа и замирая,
Что по моим следам, на шаг не отставая,
Идет не человек, не зверь, а мой двойник.
То я бежать хотел, пугливо озираясь,
То самого себя, как мальчика, стыдил...
Вдруг злость меня взяла — и, страшно задыхаясь,
Я сам пошел к нему навстречу и спросил:
— Что ты пророчишь мне или зачем пугаешь?
Ты призрак иль обман фантазии больной?
— Ах! — отвечал двойник, — ты видеть мне мешаешь
И не даешь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,
Меня — живой родник поэзии твоей!..
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,
Как будто *я* к нему среди ночных теней —
Я, а не *он,* ко мне явился привиденьем.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Дым потянуло вдаль, повеяло прохладой.
Без тени, без огней, над бледною Невой
Идет ночь белая — лишь купол золотой
Из-за седых дворцов, над круглой колоннадой,
Как мертвеца венец перед лампадой,
Мерцает в высоте холодной и немой.
Скажи, куда идти за счастьем, за отрадой,
Скажи, на что ты зол, товарищ бедный мой?!
Вот — темный монумент вознесся над гранитом...
Иль мысль стесненная твоя
Спасенья ищет в жале ядовитом,
Как эта медная змея
Под медным всадником, прижатая копытом
Его несущего коня...

(Е. А. Штакеншнейдер)

Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки...
Травою пахнет и влажна
В саду скамья твоя... Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закосненья,
О всем, что губит вдохновенье,
Чем так унижен человек
И что великого презренья
Достойно в наш великий век.

А там — сквозь тень — огни за чаем,
Сквозь окна — музыка... Серпом
Блестит луна, и лес кругом,
С его росой и соловьем,
И ты назвать готова раем
И этот сад и этот дом.

Страну волков преображая
В подобие земного рая,
Здесь речка вышла из болот,
На тундрах дом возник — и вот

Трудом тяжелым, неустанным
Кругом все ожило: нежданным
Паденьем безмятежных вод
Возмущены ночные тени,
И усыпительно для лени
Однообразно жернова
Шумят, — и лодка у плотины,
И Термуса из белой глины
Вдали мелькает голова...

Здесь точно рай, и ты привыкла
К благополучью своему.
Здесь рай. Зачем же ты поникла,
И вновь задумалась к чему?
Иль поняла, что рай твой тесен
Для гражданина и для песен,
Что мысли здесь займут луна,
Цветы, грибы, прогулки летом,
И новой жизни семена
Взойдут, быть может, пустоцветом;
Что в этом маленьком раю
Все измельчает понемногу.
Иные скажут: «Слава богу!»
А ты, — ты, голову свою
Повесив, будешь, как немая,
Сидеть и думать: «Боже мой!
Как хорошо бежать из рая
И окунуться с головой
В жизнь, поднимающую вой,
Как злое море под грозой...»

Мыза Ивановка. 1862

ПОЦЕЛУЙ

И рассудок, и сердце, и память губя,
Я недаром так жарко целую тебя —
    Я целую тебя и за ту, перед кем
    Я таил мои страсти — был робок и нем,
    И за ту, что меня обожгла без огня
    И смеялась, и долго терзала меня,
    И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
    Да, убитая, спит под могильным крестом.
Все, что в сердце моем загоралось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.

СТАРЫЙ ОРЕЛ

Еще на солнце я гляжу и не моргаю,
И вижу далеко играющих орлят —
Отлет их жадными глазами провожаю,
 И знать хочу — куда они летят...
Но я отяжелел — одряхл — не без кручины
Сижу один я на краю стремнины,
 У разоренного гнезда,
И только изредка, позабывая годы,
На отдаленный шум их крыл и клич свободы:
 «Сюда, сюда! старик, сюда!»
Я поднимаю машущие крылья,
Хочу лететь насколько хватит сил.
 Увы! напрасные усилья!
Я только с камней пыль сметаю взмахом крыл —
И, утомленный, вновь дремлю, сомкнув зеницы,
И жду, когда в горах погаснет красный день, —
За мной появится блуждающая тень
 Моей возлюбленной орлицы...

ОДНОМУ ИЗ УСТАЛЫХ

Ожесточила ли тебя людская тупость,
Иль повседневная сует их кутерьма,
Их сердца старческая скупость,
Или ребячество их гордого ума; —
Вся эта современность злая,
Вся эта бестолочь живая,
Весь этот сонм тиранов и льстецов,
Иль эта кучка маленьких бойцов,
Самолюбивых и в припадках гнева
Готовых бить направо и налево;
Устал ли ты науку догонять,
Иль гнаться по следам младого поколенья —
Не говори, что хочешь ты бежать,
В глуши искать уединенья.
К чему! — Прошли те дни, когда лесную глушь
Преданье чудными духами населяло,
Когда отшельника незримо навещала
Семья оплаканных им душ,
Когда, дитя фантазии народной,
Со дна реки на свет луны холодной
Всплывала и его дразнила наготой
Русалка бледная с зеленою косой;
Когда под шумный говор леса
Пустынник, тихую лампаду засветя,
Молился, а его, как малое дитя,
Хранитель-ангел блюл от беса,
И одиноким не был он,
Бесплотных сил толпой повсюду окружен,

И были для него, как мир, разнообразны
Неизъяснимые то страхи, то соблазны.
Ну, а тебя, товарищ старый мой,
Все эти чудеса займут едва ли!
Мы от мифических годов с тобой отстали
И унесем в пустыню за собой
На дне души разбитой, но живой
Невыносимые воспоминанья,
Неутолимые, законные желанья
И жажду жить и двигаться с толпой.
О! я б и сам желал уединиться,
Но, друг, мы и в глуши не перестанем злиться
И к злой толпе воротимся опять.
Не говори мне, что природа — мать:
Она детей не любит одиноких,
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы — вольная страна.

Твой скромный вид таит в себе
Так много силы страстной воли,
Что не уступишь ты судьбе
Ни шагу без борьбы и боли.

Мгновенья счастья ты трудом
Или болезнями искупишь;
Но пред общественным судом
Ресниц стыдливо не потупишь.

Свет осужден тобою — он
Не может дать тебе закона;
Святая правда — твой закон,
Святая гордость — оборона.

Пускай поэта стих живой
В тебе отзыва не находит,
Поэт, отвергнутый тобой,
Тебя и встретит и проводит.

Осмеянный певец любви
Не осмеет твои порывы —
Откликнется на все призывы,
На все страдания твои.

Все, что меня терзало, — все давно
Великодушно прощено
Иль равнодушно позабыто,
И если б сердце не было разбито,
Не ныло от усталости и ран, —
Я б думал: все мечта, все призрак, все обман.
Надежды гибли, слезы высыхали,
Как бури страсти налетали
И разлетались как туман —
И ты, которая, даря меня мечтами,
Была отрадой для души больной,
Унесена — исчезла за горами,
Как облачко с поднявшейся росой...

Чтобы песня моя разлилась как поток,
Ясной зорьки она дожидается:
Пусть не темная ночь, пусть горящий восток
Отражается в ней, отливается.
Пусть чиликают вольные птицы вокруг,
Сонный лес пусть проснется-нарядится,
И сова — пусть она не тревожит мой слух
И, слепая, подальше усядется.

ЧУЖОЕ ОКНО

Помню, где-то в ночь с проливным дождем
Я бродил и дрог под чужим окном;
За чужим окном было так светло,
Так манил огонь, что я — стук в стекло. . .
Боже мой! какой поднялся содом!
Как встревожил я благородный дом!
«Кто стучит! — кричат, — убирайся, вор!
Аль не знаешь, где постоялый двор! . .»
Ваше сердце мне — тоже дом чужой,
Хоть и светит в нем огонек порой,
Да уж я учен — не возьму ничего,
Чтоб с отчаянья постучать в него. . .

ВЕК

Век девятнадцатый — мятежный, строгий век —
Идет и говорит: «Бедняжка человек!
О чем задумался? бери перо, пиши:
В твореньях нет творца, в природе нет души.
Твоя вселенная — броженье сил живых,
Но бессознательных, — творящих, но слепых,
Нет цели в вечности; жизнь льется как поток,
И, на ее волнах мелькнувший пузырек,
Ты лопнешь, падая в пространство без небес, —
Туда ж, куда упал и раб твой, и Зевес,
И червь, и твой кумир; фантазию твою
Я разбиваю в прах. . . покорствуй, я велю!»
Он пишет — век идет; он кончил — век проходит.
Сомненья вновь кипят, ум снова колобродит, —
И снова слушает бедняжка-человек,
Что́ будет диктовать ему грядущий век. . .

ЧТО, ЕСЛИ

Что, если на любовь последнюю твою
Она любовью первою ответит
И, как дитя, произнесет: «люблю», —
И сумеркам души твоей посветит?
Ее беспечности, смотри, не отрави
    Неугомонным подозреньем;
    К ее ребяческой любви
Не подходи ревнивым привиденьем.
Очнувшись женщиной, в испуге за себя,
Она к другому кинется в объятья
И не захочет понимать тебя, —
И в первый раз услышишь ты проклятья,
    Увы! в последний раз любя.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

«Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел —
Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

ПОЭТУ-ГРАЖДАНИНУ

О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликаяся, идет,

Хоть прокляни — не обернется...
И верь, усталая, в досужий час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
Чем музе ропщущей твоей.

Хоть плачь — у ней своя задача:
Толпа-работница считает каждый грош;
Дай руки ей свои, дай голову, — но плача
По ней, ты к ней не подойдешь.

Тупая, сильная, не вникнет
В слова, которыми ты любишь поражать,
И к поэтическим страданьям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.

Оставь напрасные воззванья!
Не хныкай! Голос твой пусть льется из груди,
Как льется музыка, — в цветы ряди страданья,
Любовью — к правде нас веди!

Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
К познанью нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты...

Любви не боялась ты, сердцем созревшая рано:
Поверила ей, отдалась — и грустишь одиноко...
О бедная жертва неволи, страстей и обмана,
Порви ты их грязную сеть и не бойся упрека!

Людские упреки — фальшивая совесть людская...
Не плачь, не горюй, проясни отуманенный взор твой!
Ведь я не судья, не палач, — хоть и знаю, что злая
Молва подписала — заочно, смеясь — приговор твой.

Но каждый из нас разве не был страстями обманут?
Но разве враги твои могут смеяться до гроба?
И разве друзья твою душу терзать не устанут?..
Без повода к злу у людей выдыхается злоба...

И все, что в тебе было дорого, чисто и свято,
Для любящих будет таким же священным казаться;
И щедрое сердце твое будет так же богато —
И так же ты будешь любить и, любя, улыбаться.

Заплетя свои темные косы венцом,
Ты напомнила мне полудетским лицом
Все то счастье, которым мы грезим во сне,
Грезы детской любви ты напомнила мне.

Ты напомнила мне зноем темных очей
Лучезарные тени восточных ночей —
Мрак цветущих садов — бледный лик при луне, —
Бури первых страстей ты напомнила мне.

Ты напомнила мне много милых теней
Простотой, темным цветом одежды твоей.
И могилу, и слезы, и бред в тишине
Одиноких ночей ты напомнила мне.

Все, что в жизни с улыбкой навстречу мне шло,
Все, что время навек от меня унесло,
Все, что гибло, и все, что стремилось любить, —
Ты напомнила мне. — Помоги позабыть!

Рассказать ли тебе, как однажды
Хоронил друг твой сердце свое,
Всех знакомых на пышную тризну
Пригласил он и позвал *ее*.

И в назначенный час панихиды,
При сиянии ламп и свечей,
Вкруг убитого сердца толпою
Собралось много всяких гостей.

И *она* появилась — все так же
Хороша, холодна и мила,
Он с улыбкой красавицу встретил;
Но *она* без улыбки вошла.

Поняла ли *она*, что́ за праздник
У него на душе в этот день,
Иль убитого сердца над нею
Пронеслась молчаливая тень?

Иль боялась *она*, что воскреснет
Это глупое сердце — и вновь
Потревожит ее жаждой счастья —
Пожелает любви за любовь! —

В честь убитого сердца заезжий
Музыкант «Marche funèbre» играл,
И гремела рояль — струны пели,
Каждый звук их как будто рыдал.

Его слушая, томные дамы
Опускали задумчивый взгляд, —
Вообще они тронуты были,
Ели дули и пили оршад.

А мужчины стояли поодаль,
Исподлобья глядели на дам,
Вынимали свои папиросы
И курили в дверях фимиам.

В честь убитого сердца какой-то
Балагур притчу нам говорил,
Раздирательно-грустную притчу, —
Но до слез, до упаду смешил.

В два часа появилась закуска,
И никто отказаться не мог
В честь убитого сердца отведать,
Хорошо ли состряпан пирог?

Наконец, слава богу, шампанским
Он *ее* и гостей проводил —
Так, без жалоб, роскошно и шумно
Друг твой сердце свое хоронил.

1864

Время новое повеяло — смотри,
Время новое повеяло крылом:
У одних глаза вдруг вспыхнули огнем,
Словно луч в лицо ударил от зари,
У других глаза померкли и чело
Потемнело, словно облако нашло...

И в праздности горе, и горе в труде...
Откликнитесь, где вы, счастливые, где?
Довольные, бодрые, где вы?
Кто любит без боли, кто мыслит без страха?
Кого не тревожит упрек или плач?
Суда и позора боится палач —
Свободе мерещится плаха...
Хоть сотую долю тяжелых задач
Реши ты нам, жизнь бестолковая,
Некстати к нам нежная,
Некстати суровая,
Слепая, — беспутно мятежная!..

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Ночной костер зимой у перелеска,
Бог весть кем запален, пылает на бугре,
Вокруг него, полны таинственного блеска,
Деревья в хрусталях и белом серебре;
К нему в глухую ночь и запоздалый пеший
Подсядет, и с сумой приляжет нищий брат,
И богомолец, и, быть может, даже леший;
Но мимо пролетит кто счастием богат.
К его щеке горячими губами
Прильнула милая, — на что им твой костер!
Их поцелуй обвеян полуснами,
Их кони мчат, минуя косогор,
Кибитка их в сугробе не увязнет,
Дорога лоснится, полозьев след визжит,
За ними эхо по лесу летит,
То издали им жалобно звенит,
То звонким лепетом их колокольчик дразнит.

Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберег на склоне бурных лет,
Счастливец не придет. Огонь под сединами
Не греет юности, летящей с бубенцами
На тройке ухарской, в тот теплый уголок,
Где ждет ее к столу кутил живой кружок
Иль полог, затканный цветами.

Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждет...

Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающие и́гла
Открытое лицо мое язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад —
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни еще горят...
. . . .

1865

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Кто этот гений, что заставит
Очнуться нас от тяжких снов,
Разъединенных мысли сплавит
И силу новую поставит
На место старых рычагов?
Кто упростит задачи сложность?
Кто к совершенству даст возможность
Расчистить миллион дорог?
Кто этот дерзкий полубог?
Кто нечестивец сей блаженный,
Кто гениальный сей глупец?
Пророк-фанатик вдохновенный
Или практический мудрец?..
　　Придет ли он как утешитель
Иль как могучий, грозный мститель,
Чтоб образумить племена;
Любовь ли в нужды наши вникнет,
Иль ненависть народам кликнет,
Пойдет и сдвинет знамена?
　　Бог весть! напрасно ум гадает,
А там предтеча, может быть,
Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что́ есть и пить.
Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.

ПЛОХОЙ МЕРТВЕЦ

Схоронил я навек и оплакал
  Мое сердце — и что ж, наконец!
Чудеса, наконец! — Шевелится,
  Шевелится в груди мой мертвец...
Что с тобой, мое бедное сердце?
  — Жить хочу, выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
  Стану я умирать, что за вздор!

Мир с тобой, мое бедное сердце!
  Я недаром тебя схоронил,
Для кого тебе жить! Что за радость
  Трепетать, выбиваться из сил!
Никому ты не нужно — покойся!
  — Жить хочу — выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
  Стану я умирать, что за вздор!

Слышу я, моей соседки
Днем и ночью, за стеной,
Раздается смех веселый,
Плачет голос молодой —
За моей стеной бездушной-
Чью-то душу слышу я,
В струнных звуках чье-то сердце
Долетает до меня.

За стеной поющий голос —
Дух незримый, но живой,
Потому что и без двери
Проникает в угол мой,
Потому что и без слова
Может мне в ночной тиши
На призыв звучать отзывом,
Быть душою для души.

ПОЗДНЯЯ МОЛОДОСТЬ

Лета идут — идут и бременят —
Суровой старости в усах мелькает иней, —
Жизнь многолюдная, как многогрешный ад,
Не откликается — становится пустыней —
Глаза из-под бровей завистливо глядят,
Улыбка на лице морщины выгоняет.
Куда подчас нехороша
Улыбка старости, которая страдает!
А между тем безумная душа
Еще кипит, еще желает.

Уже боясь чарующей мечты,
Невольно, может быть, она припоминает,
При виде каждой красоты,
Когда-то свежие и милые черты
Своих богинь, давно уже отцветших, —
И мнит из радостей прошедших
Неслыханные радости создать,
Отдаться новым искушеньям —
Последним насладиться наслажденьем,
Последнее отдать.

Но страсть, лишенная живительной награды,
Как жалкий и смешной порыв,
Сменяется слезой отчаянной досады,
Иль гаснет, тщетные желанья изнурив.
Так музыкант, каким бы в нем огнем
Ни пламенели памятные звуки,

С разбитой скрипкой, взятой в руки,
Стоит с понуренным челом.
В душе любовь — и слезы — и перуны —
И музыки бушующий поток —
В руках — обломки, — порванные струны
Или надломленный смычок.

СРЕДИ ХАОСА

Я не того боюсь, что время нас изменит,
Что ты полюбишь вновь или простыну я.
Боюсь я — дряблый свет сил свежих не оценит,
Боюсь — каприз судьбы в лохмотья нас оденет,
Не даст прохлады в зной, в мороз не даст огня...

Отдамся ль творчеству в минуты вдохновенья! —
К поэзии чутье утратил гордый век:
В мишурной роскоши он ищет наслажденья,
Гордится пушками — боится разоренья,
И первый враг его — есть честный человек.

Наука ль, озарив рассудок мой, понудит
Сонливые умы толкать на верный след! —
Мой связанный язык, скажи, кого разбудит?
Невежество грозит, и долго, долго будет
Грозить, со всех сторон загородивши свет.

Вооружу ли я изнеженные руки
Пилой и топором, чтоб с бедною толпой
Делить поденный труд, — ужели, боже мой!
Тебя утешит, в дни томительной разлуки,
Мечта, что я вернусь голодный иль больной?

Чудес ли ожидать без веры в тайны неба!
Иль верить нам в металл — как в высшее добро?
Но биржа голосит: где наше серебро?!
Богач клянет долги, работник ищет хлеба,
Писатель продает свободное перо.

Покоя ль ожидать! — но там, где наши силы
Стремятся на простор и рвутся из пелен,
Где правды нет еще, а вымыслы постылы, —
Там нет желанного покоя вне могилы,
Там даже сон любви — больной, тревожный сон.

Случайность не творит, не мыслит и не любит,
А мы — мы все рабы случайности слепой,
Она не видит нас и не жалея губит;
Но верит ей толпа, и долго, долго будет
Ловить ее впотьмах и звать ее *судьбой*.

Повалит ли меня случайность та слепая?
Не знаю, но дай бог, чтоб был я одинок,
Чтоб ты не падала, мне руки простирая...
Нет — издали заплачь, и — пусть толпа, толкая
Друг друга, топчет мой, ненужный ей, венок.

ДЕТСКОЕ ГЕРОЙСТВО

Когда я был совсем дитя,
  На палочке скакал я;
Тогда героем не шутя
  Себя воображал я.

Порой рассказы я читал
  Про битвы да походы —
И, восторгаясь, повторял
  Торжественные оды.

Мне говорили, что сильней
  Нет нашего народа;
Что всех ученей и умней
  Поп нашего прихода;

Что всех храбрее генерал,
  Тот самый, что всех раньше
На чай с ученья приезжал
  К какой-то капитанше.

В парадный день, я помню, был
  Развод перед собором —
Коня он ловко осадил
  Перед тамбур-мажором.

И с музыкой прошли полки...
  А генерал в коляске
Проехал, кончиком руки
  Дотронувшись до каски.

Поп был наставником моим
Первейшим из мудрейших,
А генерал, с конем своим,
Храбрейшим из первейших.

Я верил славе — и кричал:
Дрожите, супостаты!
Себе врагов изобретал —
И братьев брал в солдаты.

Богатыри почти всегда
Детьми боготворимы,
И гордо думал я тогда,
Что все богатыри мы.

И ничего я не щадил
(Такой уж был затейник!) —
Колосьям головы рубил,
В защиту брал репейник.

Потом трубил в бумажный рог,
Кичась неравным боем.
О! для чего всю жизнь не мог
Я быть таким героем!

СПУСТЯ 15 ЛЕТ

Там, где на каменные мысы
Буруны хлещут, а в горах
Сады, плющи и — кипарисы
У светлых лестниц на́ часах,

Там, где когда-то равнодушный
К весне моих тридцатых лет,
Я не сносил ни лжи бездушной,
Ни деспотизма, ни клевет, —

Не благодатный ветер южный,
Не злого моря бурный вал
Остепенял мой жар недужный,
Мне раны сердца врачевал,

Нет, — я встречал людей с душою,
Счастливых, добрых и простых,
За них мирился я с судьбою
И сердцем счастлив был при них;

Я отдыхал в их тесном круге,
Их ласкам верил как добру,
Я видел брата в каждом друге
И в каждой женщине сестру.

Но и тогда, как будто скован
Их сладко дремлющим умом,
Я втайне не был очарован
Их счастья будничным венцом, —

Иных людей я жаждал встретить,
Иные страсти испытать,
На зов их трепетом ответить,
Торжествовать иль погибать.

Пора титановских стремлений,
Дух бескорыстного труда,
Часы горячих вдохновений,
Куда умчались вы, — куда!

Новорожденные титаны,
Где ваши тени! — я один,
Поклонник ваш, скрывая раны,
Брожу, как тень, среди руин...

В борьбе утраченные силы,
Увы! нескоро оживут...
Молчат далекие могилы, —
Темницы тайн не выдают.

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

На горах, под метелями,
Где лишь ели одни вечно зелены,
Сел орел на скалу в тень под елями
И глядит — из расселины
Выползает змея, извивается,
И на темном граните змеиная
Чешуя серебром отливается...

У орла гордый взгляд загорается:
Заиграло, знать, сердце орлиное.
«Высоко ты, змея, забираешься! —
Молвил он, — будешь плакать —
раскаешься!..»

Но змея ему кротко ответила:
«Из-под камня горючего
Я давно тебя в небе заметила
И тебя полюбила, могучего...
Не пугай меня злыми угрозами,
Нет! — бери меня в когти железные,
Познакомь меня с темными грозами,
Иль умчи меня в сферы надзвездные».

Засветилися глазки змеиные
Тихим пламенем, по-змеиному, —
Распахнулися крылья орлиные,
Он прижал ее к сердцу орлиному,

Полетел с ней в пространство холодное;
Туча грозная с ним повстречалася:
Изгибаясь, змея подколодная
Под крыло его робко прижалася.

С бурей борются крылья орлиные:
Близко молния где-то ударила...
Он сквозь гром слышит речи змеиные —
Вдруг —
Змея его в сердце ужалила.

И в очах у орла помутилося,
Он от боли упал как подстреленный,
А змея уползла и сокрылася
В глубине, под гранитной расселиной.

ЦЫГАНЫ

Скоро солнце взойдет...
Шевелися, народ,
Шевелись! .. Мы пожитки увязываем...
Надоело нам в зной
У опушки лесной —
Гайда в степь! Мы колеса подмазываем...
Куда туча с дождем,
Куда вихорь столбом,
И куда мы плетемся — не сказываем...
На потеху ребят
Мы ведем медвежат,
Снарядили козу-барабанщицу,
А до панских ворот
Мы пошлем наперед
Ворожить ворожейку-обманщицу.
Ворожейка бойка —
Воровская рука,
Да зато молода, черноокая!
Молода, весела...
Гей! идем до села...
Через поле дорога широкая.
Дождик вымоет нас,
Ветер высушит нас,
И поклонится нам рожь высокая...

23 ноября. 1865

МУЗА

В туман и холод, внемля стуку
Колес по мерзлой мостовой,
Тревоги духа, а не скуку
Делил я с музой молодой.

Я с ней делил неволи бремя —
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время —
Уйти в пророческие сны.
Ее нервического плача
Я был свидетелем не раз —
Так тяжела была для нас
Нам жизнью данная задача!
Бессилья крик, иль неудача
Людей, сочувствующих нам,
По девственным ее чертам
Унылой тенью пробегала,
Дрожала бледная рука
И олимпийского венка
С досадой листья обрывала.
Зато печаль моя порой
Ее безжалостно смешила,
Она в венок лавровый свой
Меня, как мальчика, рядила.
Без веры в ясный идеал
Смешно ей было вдохновенье,
И звонкий голос заглушал
Мое рифмованное пенье.

Смешон ей был весь наш Парнас
И нами пойманная кляча —
Давно измученный Пегас;
Но этот смех — предвестник плача —
Ни разу не поссорил нас.

И до сего дня муза эта
Приходит тайно разделять
Тревоги бедного поэта,
Бодрит и учит презирать
Смех гаера и холод света.

НАПРАСНО

Напрасно иногда взывал он к тени милой
И ждал — былое вновь придет и воскресит
Все то, что мертвым сном спит, взятое могилой,
Придет — и усыпит любви волшебной силой
Ту жажду счастья, что проснулась и — томит.

Напрасно он хотел любовь предать забвенью, —
Чтоб ясный свет ее, утраченный навек,
Не раздражал его, подобно впечатленью
Потухшего огня, который красной тенью,
Рябя впотьмах, плывет из-под усталых век.

Напрасно он молил, отдавшись страсти новой:
— Хоть ты приди ко мне с улыбкой на устах!
Чтоб с новой силой мог я к старости суровой
На голове пронесть вражды венец терновый
И крест — тяжелый крест на слабых раменах.

Любовь не шла к нему, как месяц из тумана.
Жизнь в душу веяла, как ветер в зимний день.
Сильней час от часу горела в сердце рана, —
Но в новом образе в мир мрака и обмана
Не возвращалася возлюбленная тень.

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕСЯЦ

(Посв. М. Л. Златковскому)

Моя барышня по садику гуляла,
По дорожке поздно вечером ходила —
С бриллиантиком колечко потеряла,
С белой ручки его, видно, обронила.

Как ложилась на кроватку, спохватилась;
Спохватившись, по коврам его искала...
Не нашла она колечка — обозлилась, —
Меня, бедную, воровкой обозвала.

И не знала я с тоски, куда деваться;
Хоть бы матушка воскресла — заступилась!..
Вышла в садик я тихонько прогуляться,
Увидала ясный месяц — застыдилась.

Слышу, месяц говорит мне — сам сияет:
«Не пугайся меня, красная девица!
Бедный месяц, как и ты, всю ночь блуждает,
И ему под темным пологом не спится.

И недаром в эту ночь я вышел — светел:
Много горя, много девушек видал я,
А как барышню твою вечор заметил,
О каком-то тихом счастье возмечтал я.

Как вечор она по садику гуляла —
Плечи белые, грудь белую раскрыла... —
Ты скажи мне, не по мне ль она скучала,
На сырой песок слезинку уронила?..»

Встрепенулось во мне сердце ретивое...
Наклонилась я к дорожке — увидала
Не слезинку, а колечко дорогое,
И обмолвилась я — месяцу сказала:

«Мою барышню любовь не беспокоит,
Ни по ком она, красавица, не плачет,
Много денег ей колечко это стоит,
Имя ж честное мое не много значит...

И свети ты хоть над целою землею —
Не дождешься ты любви от белоручки!..» —
И закапали серебряной росою
Слезы месяца, и спрятался он в тучки.

С той поры, когда я, бедная, горюя,
Выхожу одна поплакать на крылечко, —
Бедный месяц! бедный месяц! — говорю я, —
Хоть с тобой мне перекинуть дай словечко...

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок;
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу, —
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! я покуда молчу...
Погоди, соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет...

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты,
И цепляется пар за кусты;
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты...

Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне;
Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.

Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез.
Мчится, мчится железный конек
И, свистя, катит сотни колес.

Вон река — блеск и тень камыша;
Красна девица с горки идет,
По тропинке идет не спеша;
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.

Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить, —
Сам бы мог, наконец, полюбить...
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.

Вон, вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог;
Однокашник мой там, говорят,
Вечно борется, жизни не рад...
И к нему завернуть бы я мог...

Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет,
Да немало испытано бед...
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед...

И, крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит: «Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к черту пошли»...

МИАЗМ

Дом стоит близ Мойки — вензеля в коронках
Скрасили балкон.
В доме роскошь — мрамор — хоры на колонках —
Расписной плафон.

Шумно было в доме: гости приезжали —
Вечера — балы;
Вдруг все стало тихо — даже перестали
Натирать полы.

Няня в кухне плачет, повар снял передник,
Перевязь — швейцар:
Заболел внезапно маленький наследник —
Судороги, жар...

Вот перед киотом огонек лампадки...
И хозяйка-мать
Приложила ухо к пологу кроватки —
Стонов не слыхать.

«Боже мой! ужели?!. Кажется, что дышит...»
Но на этот раз
Мнимое дыханье только сердце слышит —
Сын ее погас.

«Боже милосердый! Я ли не молилась
За родную кровь!
Я ли не любила! Чем же отплатилась
Мне моя любовь!

Боже! страшный боже! Где ж твои щедроты,
Коли отнял ты
У отца — надежду, у моей заботы —
Лучшие мечты!»

И от взрыва горя в ней иссякли слезы, —
Жалобы напев
Перешел в упреки, в дикие угрозы,
В богохульный гнев.

Вдруг остановилась, дрогнула от страха,
Крестится, глядит:
Видит — промелькнула белая рубаха,
Что-то шелестит.

И мужик косматый, точно из берлоги
Вылез на простор,
Сел на табурете и босые ноги
Свесил на ковер.

И вздохнул, и молвил: «Ты уж за ребенка
Лучше помолись;
Это *я*, голубка, глупый мужичонко, —
На меня гневись...»

В ужасе хозяйка — жмурится, читает
«Да воскреснет бог!»
«Няня, няня! Люди! — Кто ты? — вопрошает. —
Как войти ты мог?»

«А сквозь щель, голубка! Ведь твое жилище
На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище —
Наш отпетый прах.

Вызваны мы были при Петре Великом...
Как пришел указ —
Взвыли наши бабы, и ребята криком
Проводили нас —

И, крестясь, мы вышли. С родиной проститься
Жалко было тож —
Подрастали детки, да и колоситься
Начинала рожь...

За спиной-то пилы, топоры несли мы:
Шел не я один, —
К Петрову, голубка, под Москву пришли мы,
А сюда в Ильин.

Истоптал я лапти, началась работа,
По́чали спешить:
Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить, —

Годик был тяжелый. За Невою, в лето,
Вырос городок!
Прихватила осень, — я шубенку где-то
Заложил в шинок.

К зиме-то пригнали новых на подмогу;
А я слег в шалаш;
К утру, под рогожей, отморозил ногу,
Умер и — шабаш!

Вот на этом самом месте и зарыли, —
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли —
То ли, что теперь!

Ге! теперь не то что... — миллион народу...
Стены выше гор...
Из подвальной ямы выкачали воду —
Дали мне простор...

Ты меня не бойся, — что́ я? мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

Он исчез — хозяйку около кроватки
На полу нашли;
Появленье духа к нервной лихорадке,
К бреду отнесли.

Но с тех пор хозяйка в северной столице
Что-то не живет;
Вечно то в деревне, то на юге, в Ницце. . .
Дом свой продает, —

И пустой стоит он, только дождь стучится
В запертой подъезд,
Да в окошках темных по ночам слезится
Отраженье звезд.

1868

Заря под тучами взошла и загорелась
И смотрит на дорогу сквозь кусты...
Гляди и ты,
Как бледны в их тени поникшие цветы
И как в блестящий пурпур грязь оделась...

В АЛЬБОМ К. Ш...

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Когда октава за октавой
Неслась и голос твой звучал
Далекой, отзвучавшей славой, —
Верь, не о славе я мечтал!

Нет! воротясь к весне погибшей,
Моя мечта ласкала вновь
Цветущий образ, переживший
В душе погибшую любовь.

Опять остывшей скорби сила
Сжимала сердце — и опять
Меня гармония учила
По-человечески страдать...

ПРОСТАЯ БЫЛЬ

1

Вначале был неуловимый взгляд,
И взгляд тот был любовью брошен,
И взгляд тот был сама любовь;
Потом с мечтой заговорила кровь,
И первый страсти сон был так роскошен,
Что первый поцелуй их был не свят.

2

Умышленно сошлись они тайком,
Не испугались наслажденья
И увенчали свой союз...
Взаимность их сердец вне брачных уз
Никто и не вменил им в преступленье,
И стали жить они своим трудом.

3

«Живите, но не множитеся» — вот
Что б я сказал им, если б свыше
Меня послушал Саваоф.
Невеселы часы для бедняков,
Когда в квартире их пищат не мыши,
А дети и — нужда ведет расход.

4

Влюбленные должны природу знать,
Но ей не всякий благодарен.
Природа свой какой-то счет
Вела, плодя детей им что ни год.
Он как отец был нежен, но бездарен,
Она была — заботливая мать...

5

Прошло пять лет — в одну глухую ночь
Он думал: «Нам пора расстаться,
Не то с ума сойдешь — беда!»
Любовь придирчива и зла, когда
Гнетет нужда, с ней трудно уживаться;
Будь в моде черт — он мог бы им помочь.

6

Он изленился, — рассуждала мать, —
Живет на счет моей работы...
«Иди, — сказала, — место есть;
Приобрети». — «И рад бы приобресть,
Но не могу я...» — «Ну, так от зевоты
Спаси меня — мне некогда зевать...»

7

Он стал кутить — и, наконец, в один
Прекрасный день они расстались...
И в их прощаньи как намек
На их страданье слышался упрек;
Потом от слез глаза у ней слипались, —
Всю ночь светился в лампе керосин.

8

Иглой, пером работала она,
Своих — чужих детей учила
И часто думала о нем;

И с завистью глядела, за окном
Как ласточка гнездо свое лепила;
Он был далек — она была одна.

9

Еще прошло, быть может, лет пять-шесть.
Он где-то, говорят, женился
И запил: видно, деньги взял...
Хотя и так семье не помогал,
Дух тайной злобы в ней зашевелился,
Когда ей сообщили эту весть.

10

Неутомимая, влача свой груз,
Она грубее стала, суше,
Глаза погасли, красота
Поблекла, и не радует мечта...
Так вот к чему их пламенные души
Привел когда-то сладостный союз!..

1870

ЗА НЕПОГРЕШИМОСТЬ

1

Простительно не понимать,
Что даже солнце не без пятен;
Но... боже! вам ли утверждать,
Что новый догмат непонятен!
Что папа Пий непогрешим,
Что эта истина вне спора,
Пускай об этом спорит Рим, —
Не спорьте, милая синьора!

2

Конечно, пышно он живет,
Рабы — льстецы — куда ни взглянет...
Но в наше время свой народ
Благословлять кто ж даром станет!
Ему нет нужды взятки брать,
Всегда за деньги душу вора
Он может прямо в рай послать, —
Не спорьте, милая синьора!

3

Уж он одрях — все больше спит,
Кровь еле двигается в жилах,

И, потерявши аппетит,
Служить маммону он не в силах.
Скажите же еретикам,
В ответ на их протест проклятый,
Что даже — даже по летам
Непогрешим наш Пий Девятый.

4

Чтоб всепрощенье получить
За кой-какие увлеченья,
Попробуйте его пленить
Лукавой негою смиренья,
Наедине оставшись с ним, —
Вы сами скажете, синьора,
Что он, хоть брось, непогрешим —
Непогрешим и без собора.

5

Когда попы ему кадят,
А туфли барыни лобзают,
Когда толпы, за рядом ряд,
Пред ним колени преклоняют,
Он завистью не одержим —
Таких, как он, найдешь нескоро —
И в этом он непогрешим,
Непогрешим и без собора.

6

Он собственного ничего
Своим умом не созидает,
Небесный голос до него
Чрез иезуитов достигает.
Решат они, что он рожден
При кликах ангельского хора,
И он поверит, — ибо он
Непогрешим и без собора.

7

Конечно, властен он проклясть;
Но так как он не простирает
На дураков такую власть,
А умных только раздражает,
То в чем же зло! — Благословим
Безвредность папского задора.
И в этом он непогрешим —
Непогрешим и без собора.

8

Всех римских догматов венец —
Последний догмат: папа римский,
Непогрешимый как мертвец,
Достоин славы херувимской.
Так суждено — должно так быть:
Кто под грехами изнеможет,
Тот — если б и хотел грешить,
Увы! грешить уже не может.

1870

ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ

У нас весна, а там — отбитые волнами,
Плывут громады льдин — плывут они в туман —
Плывут и в ясный день и — тают под лучами,
Роняя слезы в океан.

То буря обдает их пеной и ломает,
То в штиль, когда заря сливается с зарей,
Холодный океан столбами отражает
Всю ночь румянец их больной.

Им жаль полярных стран величья ледяного,
И — тянет их на юг, на этот бережок,
На эти камни, где нам очага родного
Меж сосен слышится дымок.

И не вернуться им в предел родного края,
И к нашим берегам они не доплывут;
Одни лишь вздохи их, к нам с ветром долетая,
Весной дышать нам не дают...

Уж зелень на холмах, уж почки на березах;
Но день нахмурился и — моросит снежок. —
Не так ли мы вчера тонули в теплых грезах...
А нынче веет холодок.

Когда я был в неволе,
Я помню, голос мой
Пел о любви, о славе,
О воле золотой,
И узники вздыхали
В оковах за стеной.

Когда пришла свобода,
И я на тот же лад
Пою, — меня за это
Клевещут и язвят:
«Тюремные всё песни
Поешь ты, — говорят. —

Когда ты был в неволе,
Ты за своей стеной
Мог петь о лучшей доле,
О воле золотой, —
И узники вздыхали,
Внимая песне той!..

Теперь ты, брат, на воле,
Другие песни пой, —
Пой о цепях, о злобе,
О дикости людской,
Чтоб мы не задремали,
Внимая песне той».

О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Я помню, был я с ним знаком
В те дни, когда, больной, он говорил с трудом,
Когда, гражданству нас уча,
Он словно вспыхивал и таял как свеча,
Когда любить его могли
Мы все, лишенные даров и благ земли...

Перед дверями гроба он
Был бодр, невозмутим — был тем, чем сотворен;
С своим поникнувшим челом
Над рифмой — он глядел бойцом, а не рабом,
И верил я ему тогда,
Как вещему певцу страданий и труда.

Теперь пускай кричит молва,
Что это были всё слова — слова — слова, —
Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,
Что с юных лет его грызет
То зависть жгучая, то ледяной расчет.

Пред запоздалою молвой,
Как вы, я не склонюсь послушной головой;
Ей нипочем сказать уму:
За то, что ты светил, иди скорей во тьму...
Молва и слава — два врага;
Молва мне не судья, и я ей не слуга.

КОРАБЛИКИ

Я, двух корабликов хозяин с юных дней,
Стал снаряжать их в путь: один кораблик мой
Ушел в прошедшее, на поиски людей,
Прославленных молвой,

Другой — заветные мечты мои помчал
В загадочную даль — в туман грядущих дней,
Туда, где братства и свободы идеал,
Но — нет еще людей.

И вот, назад пришли кораблики мои:
Один из них принес мне бледный рой теней,
Борьбу их, казни, стон, мучения любви
Да тяжкий груз идей.

Другой кораблик мой рой призраков принес,
Мечтою созданных, невидимых людей,
С довольством без рабов, с утратами без слез,
С любовью без цепей.

И вот, одни из них, как тени прошлых лет,
Мне голосят: увы! для всех один закон, —
К чему стремиться?! знай — без горя жизни нет;
Надежда — глупый сон.

Другие мне в ответ таинственно звучат:
У нас иная жизнь! У нас иной закон. . .
Не верь отжившим, пусть плывут они назад, —
Былое — глупый сон!

ОТКУДА?!

Откуда же взойдет та новая заря
Свободы истинной — любви и пониманья?
Из-за ограды ли того монастыря,
Где Нестор набожно писал свои сказанья?
Из-за кремля ли, смявшего татар
И посрамившего сарматские знамена,
Из-за того кремля, которого пожар
Обжег венцы Наполеона?
Из-за Невы ль, увенчанной Петром,
Тем императором, который не жезлом
Ивана Грозного владел, а топором:
На запад просеки рубил и строил флоты,
К труду с престола шел, к престолу от труда
И не чуждался никогда
Ни ученической, ни черновой работы? —
Оттуда ли, где хитрый иезуит,
Престола папского орудие и щит,
Во имя нетерпимости и братства,
Кичась, расшатывал основы государства?
Оттуда ли, где Гус, за чашу крест подняв,
Учил на площадях когда-то славной Праги,
Где Жижка страшно мстил за поруганье прав,
Мечом тушил костры и, цепи оборвав,
Внушал страдальцам дух отваги?
Или от Запада, где партии шумят,
Где борются с трибун народные витии,
Где от искусства к нам несется аромат,
Где от наук целебно-жгучий яд,
Того гляди, коснется язв России? . .

. . . .

Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет —
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет...

ВЛОЖИ СВОЙ МЕЧ[1]

(Немецкому народу)

Недаром создал ты порядок, полный сил,
И воспитал в себе отвагу:
Твой враг, как пленник, — отдал шпагу,
Как император — скипетр уронил;
Во всеоружии ты встал и отрезвил
Войнолюбивое, слепое племя —
И опасения свои угомонил, —
Так, *совершил ты все, что подсказало время.*
Довольно! Зло войны должно иметь предел. . .
И если слава — твой удел,
Ты будешь истинно великою державой,
Гнушаясь варварскою славой
Над пеплом городов, среди кровавых тел. . .

«Довольно!! — говорили мы,
С младенчества тобой повитые умы,
Недальновидные соседи. —
Довольно пороху, каленой стали, меди,
Свинцу и чугуна, — их гул, их дым и гром
Сливает реки слез с победным торжеством;
Твои трофеи — символы печали,
Тоски и ужасов». — «Довольно!» — восклицали
Все, для которых идеал
То человечности, то правды, то свободы
Ты так роскошно в блеск и звуки облекал,

---

[1] Писано во время осады Парижа в 1870 г.

Когда к лобзанью призывал
Устами Шиллера весь мир и все народы.

. . . .

Все изменилось! —
Юноши твои
Уже не жаждут мировой любви,
Искусство их — военное искусство...
(Наука с увлеченьем пушки льет...)

. . . .

И тот лишь у тебя великий патриот,
Кто из презрительного чувства
К другим народам говорит,
Что сам господь тебе велит
Восток и Запад онемечить!

. . . .

С почетом принял ты под свой покров того,
Кто мог — и смел тебе недавно поперечить,
Кто думал произвол собой увековечить
И пал от произвола своего, —
С почетом принял — и, клевретами его
Обезоруженный, народ пошел калечить.
Венчая славою безнравственный успех,
Инстинктам дикаря послушен,
Теперь ты, как палач, стоишь в виду у всех,
И к воплям жертвы равнодушен.
Ты ей на горло наступил,
Ты в ней одобрил дух измены,
Ты, как на плахе, раздробил
Ее трепещущие члены...

На мертвые тела жен, стариков, детей
Косясь, внесешь ли ты в Париж грабеж повальный
Или почтишь их тризной погребальной
И лицемерный гимн споешь царю царей?!.
О просвещеннейший народ!
О наш великий просветитель!
Знай, если Франция падет, —
С ее могилы встанет мститель.
Он проскользнет к тебе, как змей,
Он даст тебе понять всю силу
Полураздавленных идей,
Не поместившихся в могилу...

Он, Немезида наших дней,
Тебе, — едва лишь из трофеев
Ты выкроишь венки для всех своих страстей, —
Руками тысячи пигмеев
Расставит тысячи сетей...
И если ты — хоть это знаешь,
Свои надежды возлагаешь
На мудрость собственных детей, —
Чтоб эта мудрость не зачахла,
Скорей вложи твой меч и руку ту отмой,
Которая грозой пороховой,
Кровавым запахом пропахла...

ЧТО С НЕЙ?

1

Когда из пелен порывалась она,
Молилась и жарко мечтала,
Растленная жизнь, зла и грязи полна,
Ей раны свои обнажала.

И в лучшие дни, как цвела красота,
Мечты ее вяли и вяли;
Ни ласковых слов не шептали уста,
Ни детских молитв не шептали.

Пытливым огнем из-под темных ресниц
Мерцая, в ней мысль загоралась.
В те дни много-много запретных страниц
В бессонные ночи читалось...

Ее жажда правды томила до слез;
На Западе бури шумели,
И к нам проникал за вопросом вопрос,
Как ветер свистя в наши щели...

От этого вольного ветра спасти
Нельзя лицемерной морали,
Когда люди свято велят нам блюсти
Все то, что они попирали...

2

И дух отрицанья ее посетил, —
Он понял, какая в ней сила;
Он юную душу настолько пленил,
Насколько душа та — изныла;

Науку, семью, государство, права,
Религию, гений, искусство,
Все, все превратил он в пустые слова,
Насилуя разум и чувство.

«Иди, — говорил он, — иди вслед за мной,
И будет твой путь — путь свободный.
И скоро среди мастерских мы с тобой
Сойдемся на тризне народной.

На каждой версте — будет общий дворец;
За труд — будет плата любовью;
И — будет тогда отрицанью конец,
Созреет — политое кровью».

И эти туманные речи она
При нас горячо повторяла;
Ее слабый голос дрожал, как струна,
В нем гордая вера звучала.

3

А время все шло, шло — и много надежд,
Им грубо задетых, сломалось;
Чадясь, погасали восторги невежд —
И мысль на ветру колебалась.

Поблекло лицо ее — в темных глазах
Мысль робким огнем чуть мелькала,
И уж не улыбка на бледных устах —
Тень прежней улыбки блуждала.

Ее предреканьям послушный кружок
Давно позабыл ее грезы;

У каждого путь свой — и свой уголок
Нашелся для грез и для прозы.

И тот, кто взял дань с ее сердца, и тот
Пошел уж другою дорогой,
Ей бросивши на руки много забот
И грудь познакомив с тревогой...

И вот, чтоб друзей не осталось следа,
Нужда в ее дверь постучалась.
И билась она — и искала труда —
И где теперь? Что с нею сталось?

4

Ушла ли на Запад она, в край чужой,
Где жатва давно уж созрела,
И все, что не смято в ней братской враждой,
Для новой вражды уцелело?

Ушла ли она в наши степи, туда,
Где нет ни конца, ни начала,
Где требует время иного труда
И веры иного закала?

Или, изможденная страшной борьбой,
В чаду, в тесноте еле дышит
И, чуткая, слышит бред жизни хмельной,
И — боже! — неужели слышит,

Как дух отрицанья глумится над ней,
И даже ее отрицает,
Ее — кто ему в жертву нес радость дней
И ради его погибает!

Ожесточенная — вряд ли поймет,
Что в бездне людских заблуждений
Лишь только поэт искры сердца найдет,
А искры ума — только гений.

1871

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.

Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он — уму,
И от богов не ждет ответа.

Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.

Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.

Яд в глубине его страстей,
Спасенье — в силе отрицанья,
В любви — зародыши идей,
В идеях — выход из страданья.

Невольный крик его — наш крик,
Его пороки — наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен — и велик.

1872

Мой ум подавлен был тоской,
Мои глаза без слез горели;
Над озером сплетались ели,
Чернел камыш, — сквозили щели
Из мрака к свету над водой.

И много, много звезд мерцало;
Но в сердце мне ночная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мне виделось так мало, мало
Лучей любви над бездной зла!

Молчи, минутного покоя не тревожь!
Не говори, что — сплин!
Ведь безнаказанно и ты не доживешь
До роковых седин.
Все то, что радует тебя своим расцветом,
В тумане осени погибнет вместе с летом.

Настанут дни, когда, приятелей своих
Знакомые черты
Припоминая, ты сочтешь над прахом их
Забытые кресты.
И будут их сердца, их суетные силы
Не нужны для тебя, иль немы, как могилы.

Сойдешься ль ты опять случайно, где-нибудь,
С подругой светлых дней,
Чьи взгляды жгут тебя, чья молодая грудь
Блаженных ждет ночей, —
Морщины встретишь ты да высохшие плечи,
В глазах — тупой вопрос, в устах — пустые речи.

Сойдешься ль с юношей, который, в цвете сил,
Исполненный надежд,
Был благородно смел, так счастлив, что прослыл
Бойцом среди невежд, —
И встретишь, может быть, ханжу иль бюрократа,
Которому одно начальство только свято.

Ребенка ль милого захочешь встретить ты,
Которого ласкал,
Который матери прелестные черты
Тебе напоминал, —

И встретишь взрослого болвана, или злого
Льстеца-предателя, душе твоей чужого.

Надежда ль на успех волнует грудь твою —
Или, стремясь вперед,
Ты, как за кровную, всем общую семью,
Хлопочешь за народ, —
И вдруг увидишь: все, что ныне к свету рвется,
Попятится назад, простынет иль уймется.

А сколько злых измен, вражды, насмешек, слез
Ты встретишь? Не сочтешь!..
Нет, безнаказанно, брат, до седых волос
И ты не доживешь.
Путь долгой жизни есть путь к жизни безнадежной
Таков закон судьбы...
Ужели неизбежный?

ИЗ БУРДИЛЬЁНА

«The night has a thousand eyes»[1]

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

---

[1] «Ночь смотрит тысячами глаз» (англ.). — *Ред.*

КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ

(Посв. памяти А. Ф. Гильфердинга) [1]

1

В расписных санях, ковром покрытых,
Нараспашку, в бурке боевой,
Казимир, круль польский, мчится в Краков
С молодой, веселою женой.

К ночи он домой спешит с охоты;
Позвонки бренчат на хомутах;
Впереди, на всем скаку, не видно,
Кто трубит, вздымая снежный прах;

Позади в санях несется свита...
Ясный месяц выглянул едва...

---

[1] Стихотворение «Казимир Великий» было задумано мною в 1871 году. Покойный А. Ф. Гильфердинг просил меня написать его для второго литературного вечера в пользу Славянского комитета. — Тема для стихов была выбрана самим Гильфердингом, им же были присланы мне и материалы, — выписки из Польского летописца Длугоша, с следующею в конце припискою: «Раздача хлеба в пору голода у летописца рассказана без всякой связи с другими фактами из жизни Казимира, потому тут у вас carte blanche...» — Стихи были набросаны, когда я узнал, что литературный вечер с живыми картинами в пользу Славянского комитета не состоялся и отложен на неопределенное время. — Затем умер и наш многоуважаемый ученый А. Ф. Гильфердинг, самоотверженно собирая легенды и песни того народа, изучению которого, в связи со всеми ему соплеменными народами, с любовью посвящал он всю свою жизнь.

Из саней торчат собачьи морды,
Свесилась оленья голова. . .

Казимир на пир спешит с охоты;
В новом замке ждут его давно
Воеводы, шляхта, краковянки,
Музыка, и танцы, и вино.

Но не в духе круль: насупил брови,
На морозе дышит горячо.
Королева с ласкою склонилась
На его могучее плечо.

«Что с тобою, государь мой?! друг мой?
У тебя такой сердитый вид. . .
Или ты охотой недоволен?
Или мною? — на меня сердит? . .»

«Хороши мы! — молвил он с досадой. —
Хороши мы! Голодает край,
Хлопы мрут, — а мы и не слыхали,
Что у нас в краю неурожай! . .

Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гусляр, что встретили мы там. . .
Пусть-ка он споет магнатам нашим
То, что спьяна пел он лесникам. . .»

Мчатся кони, резче раздается
Звук рогов и топот, — и встает
Над заснувшим Краковом зубчатой
Башни тень, с огнями у ворот.

2

В замке светят фонари и лампы;
Музыка и пир идет горой.
Казимир сидит в полукафтанье,
Подпирает бороду рукой.

Борода вперед выходит клином,
Волосы подстрижены в кружок.

Перед ним с вином стоит на блюде
    В золотой оправе турий рог;

Позади — в чешуйчатых кольчугах
    Стражников колеблющийся строй;
Над его бровями дума бродит,
    Точно тень от тучи грозовой.

Утомилась пляской королева,
    Дышит зноем молодая грудь,
Пышут щеки, светится улыбка:
    «Государь мой, веселее будь!..

Гусляра вели позвать, покуда
    Гости не успели задремать».
И к гостям идет она, и гости
    — Гусляра, — кричат, — скорей позвать!

3

Стихли трубы, бубны и цимбалы;
    И, венгерским жажду утоля,
Чинно сели под столбами залы
    Воеводы, гости короля.

А у ног хозяйки-королевы,
    Не на табуретах и скамьях,
На ступеньках трона сели панны
    С розовой усмешкой на устах.

Ждут, — и вот на праздник королевский
    Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной,
    Из народа вызванный гусляр.

От него надворной веет стужей,
    Искры снега тают в волосах,
И как тень лежит румянец сизый
    На его обветренных щеках.

Низко перед царственной четою
    Преклонясь косматой головой,

На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой,

Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
«Начинай!» — и дрогнувшие пальцы
Звонко пробежали по струнам.

Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусляр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар...

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!» огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слыхал!

«Пой другую!» — и, потупив очи,
Прославлять стал молодой певец
Молодость и чары королевы
И любовь — щедрот ее венец.

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!» огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слыхал!

«Каждый шляхтич, — молвил он, — поет их
На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника, — *та* будет поновей...

Да не бойся!» —
Но гусляр, как будто
К пытке присужденный, побледнел..
И, как пленник, дико озираясь,
Заунывным голосом запел:

«Ох, вы хлопы, ой, вы божьи люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит — валит с ног.

Продает за пуд муки корову,
  Продает последнего конька.
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
  Грудь твоя давно без молока.

Ой, не плачь ты, хлопец, по девчине!
  По весне авось помрешь и ты...
Уж растут, должно быть к урожаю,
  На кладбищах новые кресты...

Уж на хлеб, должно быть к урожаю,
  Цены, что ни день, растут, растут.
Только паны потирают руки —
  Выгодно свой хлебец продают».

Не успел он кончить этой песни:
  «Правда ли?!» — вдруг вскрикнул Казимир
И привстал, и в гневе, весь багровый,
  Озирает онемевший пир.

Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
  «Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
  И дошла до нашего лица...

Завтра же, в подрыв корысти вашей,
  Я мои амбары отопру...
Вы... лжецы! глядите, я, король ваш,
  Кланяюсь, за правду, гусляру...»

И, певцу поклон отвесив, вышел
  Казимир, — и пир его притих...
«Хлопский круль!» — в сенях бормочут паны...
  «Хлопский круль!» — лепечут жены их.

Онемел гусляр, поник, не слышит
  Ни угроз, ни ропота кругом...
Гнев Великого велик был, страшен —
  И отраден, как в засуху гром!

НОЧНАЯ ДУМА

Я червь — я бог!
Державин

Ты не спишь, блестящая столица.
Как сквозь сон, я слышу за стеной
Звяканье подков и экипажей,
Грохот по неровной мостовой. . .

Как больной, я раскрываю очи.
Ночь, как море темное, кругом.
И один, на дне осенней ночи,
Я лежу, как червь на дне морском.

Где-нибудь, быть может, в эту полночь
Праздничные звуки льются с хор.
Слезы льются — сладострастье стонет —
Крадется с ножом голодный вор. . .

Но для тех, кто пляшет или плачет,
И для тех, кто крадется с ножом,
В эту ночь неслышный и незримый
Разве я не червь на дне морском?!

Если нет хоть злых духов у ночи,
Кто свидетель тайных дум моих?
Эта ночь не прячет ли их раньше,
Чем моя могила спрячет их!

С этой жаждой, что воды не просит,
И которой не залить вином,

Для себя — я дух, стремлений полный,
Для других — я червь на дне морском.

Духа титанические стоны
Слышит ли во мраке кто-нибудь?
Знает ли хоть кто-нибудь на свете,
Отчего так трудно дышит грудь!

Между мной и целою вселенной
Ночь, как море темное, кругом.
И уж если бог меня не слышит —
В эту ночь я — червь на дне морском!

1874

В СТЕПИ

1

Скучно-бесцветные дни, — сумерки, вместо дневного
Света, застигли меня, здесь, — на степном перепутье;
То ливень лил, то кругом хутора выл мокрый ветер,
Муза, и та, наконец, вместе со мной стала дрогнуть.
Все говорило ей: стой! не залетай высоко! . .
Здесь даже сказки свои перезабыла старуха,
И без осмысленных слов тянется грустный напев.
Вдру́г наступила жара: в щели лучи пронизались,
И посветлело в сенях, и заскрипели ворота;
Стал просыхать чернозем, и колея со двора
Через проселок меня в серую степь увела —
В эту широкую степь, где ни куста, ни пригорка.
К вечеру зной посвежел, воздух был мягко-прозрачен;
Вьющийся столб комаров стал провожать меня; где-то
Свистнул — должно быть, сурок, и, как струна басовая,
В сумерках вечера жук мимо ушей прогудел.
Дорого б дал я, чтоб здесь мне навсегда надышаться
Силой земли, тишиной и обаяньем простора,
Чтоб унести далеко, в сердце, в мозгу, в каждом нерве,
Этот целебный фиал — эту росу — этот воздух. . .
Вспомнил я шум городской, стены и лестницы — гнезда
Зависти и клеветы; вспомнил дома, где интрига
Тонкие сети плетет, сводит людей и разводит
Вечно в подрыв свежих сил, вечно свободе в ущерб!
Вспомнил я. . . и пожелал (неисправимый мечтатель!)
В этом приволье степном взять на себя труд посильный.

2

В этом приволье степном, взяв на себя труд посильный,
Шел босоногий мужик, клячу свою понукая;
Вытянув шею свою — кляча тянула соху,
Из-под железа сохи черные глыбы валились,
Около свежих борозд свежей ложась бороздой.
«Бог тебе в помощь, земляк!» — вымолвил я и подумал:
Ум мой и руки мои, видно, не в помощь тебе!
Остановился мужик — остановилась и кляча.
Он молча шапку стянул — кляча развесила уши
И, помотав головой, потную морду свою
Стала тянуть к мураве, и, как лохмотья, повисли
Спутанной гривы ее космы до самой земли.

3

«Дядя! — сказал я шутя, — не променяешь ли клячу?
Я за нее тебе дам славную штуку — Пегаса.
Конь — что ни в сказке сказать, ни пером описать — конь крылатый.
Он приведен к нам из Греции через Европу. Слыхал ли
Ты об Европе хоть что-нибудь?» — «Нет, не слыхал». — «Ну, так верь мне,
Есть, дядя, эдакий конь. . .» И мужик с недоверьем оскалил
Белые зубы. — «Да сам-то видал ли ты?» — «Как не видать!
Сам я носился на нем выше лесу стоячего, выше
Облака в небе ходячего. Конь удивительный! Только
Надо уметь его сдерживать, разум на то человеку
Дан: а не то ему удержу нет — понесет, что твой вихорь!
В Иерусалим загадал? — в Иерусалиме. . . в Афон? — на Афоне
Мигом очутишься. Горы, моря, города, даже царства,
Как у себя на ладони, увидишь ты. Мало того,
Можешь на нем ты с молитвою, выше полночной звезды,
К праведным, в царство небесное, очи зажмурив, подняться
И услыхать, как в раю там поют херувимскую, — или
Можешь там встретить несметное множество ярких светил:

Кишмя-кишат там миры лучезарные, и, как пылинки,
Носятся около них вот такие же точно обители,
Как и земля наша, где мы с тобой прозябаем. И все это
Видел я, дядя, сам видел». — «Да ты не колдун ли?» —
«Нет, не колдун, у меня есть другое, старинное
прозвище:
Люди меня обзывают *поэтом*. Слыхал ли ты это
Громкое слово: поэт?» — «Не слыхал, милый! сроду
не слыхивал.
Что ж это значит — поэт?» — «То же почти, что колдун».—
«А коли так, ты б, родимый, мне клад указал, где
зарыт. . .» —
«Клад у тебя под рукой, только засей свою пашню,
Из-под земли сам собой к осени выйдет твой клад».
Понял мужик эту притчу и почесал свой затылок:
«С этого клада, — сказал он, — дай бог до весны
прокормиться. . .
. . .Ишь, лошаденка-то — кожа да кости! Крылатая
лошадь
Тоже, чай, тощая! Ты мне ее покажи,
Да уж потом и тово — и выменивай. Кто же те знает;
Грамоте я не учен; может статься, и вправду такое
Водится чудо заморское». — «Ну, а куда бы, любезный,
Ты бы на нем полетел?» — «Да куда полететь? — нешто
в город;
Али бы к куму махнул. А не то обрубил бы
Чертовы крылья анафеме, да и запряг бы в телегу». —
«Ну, дядя, вряд ли нам выгодно будет меняться.
Ты на Пегасе моем далеко не уедешь, а я
С клячей твоей не спашу и одной десятины. . .»
. . . .

ДИССОНАНС

(Мотив из признаний Ады Кристен)

Пусть по воле судеб я рассталась с тобой, —
Пусть другой обладает моей красотой!

Из объятий его, из ночной духоты,
Уношусь я далёко на крыльях мечты.

Вижу снова наш старый, запущенный сад:
Отраженный в пруде потухает закат,

Пахнет липовым цветом в прохладе аллей;
За прудом, где-то в роще, урчит соловей...

Я стеклянную дверь отворила — дрожу —
Я из мрака в таинственный сумрак гляжу —

Чу! там хрустнула ветка — не ты ли шагнул?!
Встрепенулася птичка — не ты ли спугнул?!

Я прислушиваюсь, я мучительно жду,
Я на шелест шагов твоих тихо иду —

Холодит мои члены то страсть, то испуг —
Это ты меня за руку взял, милый друг?!

Это ты осторожно так обнял меня,
Это твой поцелуй — поцелуй без огня!

С болью в трепетном сердце, с волненьем в крови
Ты не смеешь отдаться безумствам любви, —

И, внимая речам благородным твоим,
Я не смею дать волю влеченьям своим,

И дрожу, и шепчу тебе: милый ты мой!
Пусть владеет он жалкой моей красотой!

Из объятий его, из ночной духоты,
Я опять улетаю на крыльях мечты,

В этот сад, в эту темь, вот на эту скамью,
Где впервые подслушал ты душу мою...

Я душою сливаюсь с твоею душой —
Пусть владеет он жалкой моей красотой!

В дни, когда над сонным морем
Духота и тишина,
В отуманенном просторе
Еле движется волна.

Если ж вдруг дохнет над бездной
Ветер, грозен и могуч,
Закипит волна грознее
Надвигающихся туч...

И помчится, точно в битву
Разъяренный шпорой конь,
Отражая в брызгах пены
Молний солнечный огонь.

И рассыпавшись о скалы,
Изомнет у берегов
Раскачавшиеся перья
Прошумевших тростников...

СЛЕПОЙ ТАПЕР

Хозяйка руки жмет богатым игрокам,
При свете ламп на ней сверкают бриллианты. . .
В урочный час, на бал, спешат к ее сеням
Франтихи-барыни и франты.

Улыбкам счету нет. Один тапер слепой,
Рекомендованный женой официанта,
В парадном галстуке, с понурой головой,
Угрюм и не похож на франта.

И по́д локоть слепца сажают за рояль. . .
Он поднял голову — и вот, едва коснулся
Упругих клавишей, едва нажал педаль —
Гремя, бог музыки проснулся.

Струн металлических звучит высокий строй,
Как вихрь несется вальс — побрякивают шпоры,
Шуршат подолы дам, мелькают их узоры
И ароматный веет зной. . .

А он — потухшими глазами смотрит в стену,
Не слышит говора, не видит голых плеч —
Лишь звуки, что бегут одни другим на смену,
Сердечную ведут с ним речь.

На бедного слепца слетает вдохновенье,
И грезит скорбная душа его — к нему
Из вечной тьмы плывет и светится сквозь тьму
Одно любимое виденье.

Восторг томит его — мечта волнует кровь:
Вот жаркий летний день — вот кудри золотые —
И полудетские уста, еще немые,
С одним намеком на любовь...

Вот ночь волшебная, — шушукают березы —
Прошла по саду тень — и к милому лицу
Прильнул свет месяца — горят глаза и слезы...
И вот уж кажется слепцу:

Похолодевшие, трепещущие руки,
Белеясь, тянутся к нему из темноты —
И соловьи поют — и сладостные звуки
Благоухают, как цветы...

Так образ девушки, когда-то им любимой,
Ослепнув, в памяти свежо сберечь он мог;
Тот образ для него расцвел и — не поблек,
Уже ничем не заменимый.

Еще не знает он, не чует он, что та
Подруга юности — давно хозяйка дома
Великосветская — изнежена, пуста
И с аферистами знакома!

Что от него она в пяти шагах стоит
И никогда в слепом тапере не узнает
Того, кто вечною любовью к ней пылает,
С ее прошедшим говорит.

Что, если б он прозрел, что, если бы, друг в друга
Вглядясь, они могли с усилием узнать —
Он побледнел бы от смертельного испуга,
Она бы — стала хохотать!

ПАМЯТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Оттого ль, что в божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
Освежала зной грозою
И, сквозь капли слез,
В тучах радугой мелькала —
Отраженьем грез!..

Оттого ль, что от бездушья,
Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня, —
С ранних лет и до преклонных,
Безотрадных лет
Был к нему неравнодушен
Равнодушный свет!

Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров
Ставил идеал...
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!..

Оттого ль, что он в народ свой
Верил и — страдал,

И ему на цепи братьев
    Издали казал, —
Чую: дух его то верит,
    То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
    Льется наша кровь! . .

1876

У ОКНА

. . .И вижу я в окно, как душу холодящий
Отлив зелено-золотой,
В туманную лазурь переходящий,
Объемлет неба свод ночной.

Далекая звезда мелькает точкой белой —
И в небе нет других светил.
Громадный город спит, в беспутстве закоснелый,
И бредит, как лишенный сил. . .

Мысль ищет выхода — ее пугает холод,
Она мне кажется мечтой,
И не найдут ее, когда проснется город
С его бездушной суетой.

БОЛГАРКА

Без песен и слез, в духоте городской,
Роптать и молиться не смея,
Живу я в гареме продажной рабой
У жен мусульманского бея.

Одна говорит: «Ну, рассказывай мне,
Как ваше селенье горело;
И выл ли твой муж, пригвожденный к стене,
Как жгли его белое тело...»

Другая, смеясь, говорит мне: «Ну да,
Недаром тебя пощадили:
Наш бей, уж конечно, был первым, когда
Твою красоту обнажили...»

«Ну что ж? — нараспев третья мне говорит,
Держа над лицом опахало, —
Хоть резать детей нам Коран не велит...
Но ты ли одна пострадала?!»

И злятся, что я так скупа на слова,
Внимая речам безучастным,
Глаза мои сухи, в огне голова,
Все небо мне кажется красным:

Как будто сады, минарет и дома
В кровавом стоят освещенье...
В глазах ли обман, иль схожу я с ума,
Иль это предчувствие мщенья!

Навеки тот душу отравит свою
Стыдом или жаждою битвы,
Кто в страшную душу заглянет мою
В часы безнадежной молитвы.

Прийди же, спаситель! — бери города,
Где слышится крик муэзина,
И пусть в их дыму я задохнусь тогда
В надежде на божьего сына!..

1876

В ПОТЕРЯННОМ РАЮ

. . . .

Уже впервые дымной мглою
Подернут был Едемский сад,
Уже пожёлкнувшей листвою
Усеян синий был Ефрат,

Уж райская не пела птица —
Над ней орел шумел крылом,
И тяжело рычала львица,
В пещеру загнанная львом.

И озирал злой дух с презреньем
Добычу смерти — пышный мир
И мыслил: смертным поколеньям
Отныне буду *я* кумир.

И вдруг, он видит, в райской сени,
Уязвлена, омрачена,
Идет, подобно скорбной тени,
Им соблазненная жена.

Невольно прядью кос волнистых
Она слегка прикрыла грудь,
Уже для помыслов нечистых
Пролег ей в душу знойный путь.

И, ей десницу простирая,
Встает злой дух, — он вновь готов,

Ей сладкой лестью слух лаская,
Петь о блаженстве грешных снов.

Но что уста его сковало?
Зачем он пятится назад?
Чем эта жертва испугала
Того, кому не страшен ад?

Он ждал слезы, улыбки рая,
Молений, робкого стыда...
И что ж в очах у ней? — такая
Непримиримая вражда,

Такая мощь души без страха,
Такая ненависть, какой
Не ждал он от земного праха
С его минутной красотой.

Грозы божественной сверканье —
Тех молний, что его с небес
Низвергли, — не без содроганья
В ее очах увидел бес,

И в мглу сокрылся привиденьем,
Холодным облаком осел,
Змеей в траву прополз с шипеньем,
В деревьях бурей прошумел.

Но сила праведного гнева
Земного рая не спасла,
И канула слеза у древа
Познания добра и зла...

СТАРАЯ НЯНЯ

Ты девчонкой крепостной
По дороге столбовой
К нам с обозом дотащилася;
Долго плакала, дичилася,
Непричесанная,
Неотесанная...

Чуть я начал подрастать,
Стали няню выбирать, —
И тебя ко мне приставили,
И обули, и наставили,
Чтоб не важничала,
Не проказничала.

Славной няней ты была,
Скоро в роль свою вошла:
Теребила меня зá ворот,
Да гулять водила зá город...
С горок скатывалась,
В рожь запрятывалась...

Иль, раздевшись на песке,
Ты плескалась в ручейке,
Выжимала свои кóсынки;
А кругом шумели сосенки,
Птички радовались...
Мы оглядывались...

Вот пришла зимы пора;
Дальше нашего двора
Не пускали нас с салазками.
Ты меня, не муча ласками,
То закутывала,
То раскутывала.

Раз, я помню, при огне
Ты чулки вязала мне
(Или платье свое штопала?),
К нам метель в окошко хлопала,
Песнь затягивала —
Сердце вздрагивало...

Ты ж другую песню мне
Напевала при огне:
«Ай, кипят котлы кипучие!..»
Помню сказки я певучие,
Сказки всяческие —
Не ребяческие...

И, побитая не раз,
Ты любила, рассердясь,
Потихоньку мне отплачивать —
Меня больно поколачивать;
Я не жаловался,
Отбояривался.

А как в школу поступил,
Я читать тебя учил:
Ты за мной твердила «Верую»...
И потом молилась с верою,
С воздыханиями,
С причитаниями.

По ночам на образа
Возводила ты глаза,
Озаренные лампадкою;
И когда с мечтою сладкою
Сон мой спутывался,
Я закутывался...

Но пришли твои года...
Подросла ты — и тогда,
Знать, тебя цыганка сглазила:
Из окна ты ночью лазила,
Вся трепещущая,
С кем-то шепчущая...

Друг любил тебя шутя,
И, поблекнув, не цветя,
Перестала ты пошаливать:
Начала свой грех замаливать;
Много маялася,
Мне же каялася!

. . . .

Через тридцать лет домой
Я вернулся и слепой
Уж застал тебя старушкою,
В темной кухне, с чайной кружкою —
Ты догадывалась...
Слезно радовалась.

И когда я лег вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Как дитя свое любимое —
Старика, в гнездо родимое
Воротившегося,
Истомившегося.

Я измучен был, а ты
Прожила без суеты
И мятежных дум не ведала,
Капли яду не отведала —
Яду мающихся,
Сомневающихся.

И напомнила Христа
Ты страдальцу без креста,
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.

Бог с тобой! я жизнь мою
Не сменяю на твою...
Но ты мне близка, безродная,
В самом рабстве благородная,
Не оплаченная
И утраченная.

В ГОДИНУ УТРАТЫ

(Посв. Н. Ф. Христиановичу)

В тепле злое горе цветет — зеленеет,
Как будто его солнце вешнее греет... —
Оттаяли слезы и льются ключом, —
А там над могильным, сыпучим бугром
Березка стоит и в снегу коченеет.

Но будет пора, холод в душу сойдет,
И горе застынет, как будто замрет... —
А там, над могилкой, повеет весною,
Березка очнется, и свежей листвою
Оденутся длинные сети ветвей,
И дети сбегутся с цветами сирени,
И молча сойдутся могильные тени
Внимать голосам беззаботных детей.

В ТЕЛЕГЕ ЖИЗНИ

С утра садимся мы в телегу...
Пушкин

К моей телеге я привык,
Мне и ухабы нипочем...
Я только дрогну, как старик,
В холодном воздухе ночном...
Порой задумчиво молчу,
Порой отчаянно кричу:
— Пошел!.. Валяй по всем по трем.

Но хоть кричи, бранись иль плачь —
Молчит, упрям ямщик седой:
Слегка подстегивая кляч,
Он ровной гонит их рысцой;
И шлепает под ними грязь,
И, незаметно шевелясь,
Они бегут во тьме ночной.

1876

АЛЛЕГОРИЯ

Я еду — мрак меня гнетет —
И в ночь гляжу я; огонек
Навстречу мне то вдруг мелькнет,
То вдруг, как будто ветерок
Его задует, пропадет... —
Уж там не станция ли ждет
Меня в свой тесный уголок?..

Ну что ж!.. Я знаю наперед —
Возница слезет с облучка,
И кляч усталых отпряжет,
И, при мерцаньи ночника,
В сырой покой меня сведет,
И скажет: ляг, родной мой, вот
Дощатый одр — засни пока...

А ну, как я, презрев покой,
Не захочу — не лягу спать,
И крикну: «Живо, хрыч седой,
Вели мне лошадей менять!..
Да слушай ты... впряги не кляч —
Лихих коней, чтоб мог я вскачь
Опередивших нас догнать...

Чтоб мог прижать я к сердцу вновь
Все, что вперед умчал злой рок:
Свободу — молодость — любовь, —

Чтоб загоревшийся восток
Открыл мне даль — чтоб новый день
Рассеял этой ночи тень
Не так, как этот огонек».

1876

НА ЗАКАТЕ

Вижу я, сизые с золотом тучи
Загромоздили весь запад; в их щель
Светит заря, — каменистые кручи,
Ребра утесов, березник и ель

Озарены вечереющим блеском;
Ниже — безбрежное море. Из мглы
Темные скачут и мчатся валы
С неумолкаемым гулом и плеском.

К морю тропинка в кустах чуть видна,
К морю схожу я, и —
Здравствуй, волна!
Мне, охлажденному жизнью и светом,
Дай хоть тебя встретить теплым приветом!..

Но на скалу набежала волна —
Тяжко обрушилась, в пену зарылась
И прошумела, отхлынув назад:
— Новой волны подожди, — я разбилась...

Новые волны бегут и шумят, —
То же, все то же я слышу от каждой...
Сердце полно бесконечною жаждой —
Жду, — все темно — погасает закат...

И. С. ТУРГЕНЕВУ

Благословенный край — пленительный предел!
Там лавры зыблются...

А. Пушкин

Невесела ты, родная картина!..

Н. Некрасов

Туда, в Париж, где я когда-то
Впервые, искренно и свято,
Любим был женскою душой...
Туда, где ныне образ твой,
Еще живой, мне свят и дорог,
Не раз стремился я мечтой
Подслушать милой тени шорох,
Поймать хоть призрака черты...

Увы! поклонник красоты —
Я ей страдальческую службу
Давно усердно отслужил
И прозаическую дружбу
В своей душе благословил.
Но где друзья? — друзей немного...
Я их не вижу по годам;
Подчас глуха моя дорога...
В разброде мы: я — здесь, ты — там.

Донашивать свои седины
Нам порознь суждено судьбой!..
Тебе — в объятиях чужбины,
Мне — в кандалах нужды родной.

Устал я — лег — почти что болен,
Своей работой недоволен;
Не бросить ли? не сжечь ли? —
Нет!
В моем уединеньи скучном,
Замкнувшись в тесный кабинет,
Не чужд я мысли о насущном,
Забот и будничных сует...

Устал я... размышлять нет мочи, —
Не сплю... погас огарок мой...
В окно глядит и лезет в очи
Сырая мгла плаксивой ночи...
Осенней выоги слышен вой...
И вот разнузданной мечтой
Я мчусь в Париж, туда, где свято
Впервые я любил когда-то
И был блажен — в последний раз!..

. . . .

Вот позднего досуга час...
Париж недавно отобедал,
Он все, что мог, изжил, изведал,
И жаждет ночи...
Чердаков
Окошки — гнезда бедняков —
Ушли под тучи в мрак печальный:
Там голод, замыслы, нахальной
Нужды запросы — бой с нуждой,
Или при лампе трудовой
Мечты о жизни идеальной...

Зато внизу — Париж иной,
Картинный, бронзовый, зеркальный;
Сверкают тысячи огней —
Гул катится по всем бульварам,
Толпа снует... Любуйся даром,
Дивись на роскошь богачей;
Вздохнув о юности своей,
Давай простор влюбленным парам...

. . . .

Вот дом — громада. Из сеней
На тротуар и мостовую
Ложится про́свет полосой;
Из-под балкона, головой
Курчавясь, кажут грудь нагую
Шесть статуй — шесть кариатид;
Свет газовых рожков скользит
Кой-где по мрамору их тела;
Полураскрыв уста, оне
Прижались к каменной стене,
И никому до них нет дела...

Вот — лестница осаждена...
Идут, сгибаются колена,
Ступенек не видать — одна
С площадки мраморной видна
Тебе знакомая арена:
Звездятся люстры; их кайма
Из хрусталей, как бахрома
Из радужных огней, сверкает;
Раздвинув занавес, ведет
В громадный зал широкий вход,
И тесную толпу стесняет.

Толпа рассыпалась — и вот
Шуршит атлас, пестрят наряды,
Круглятся плечи бледных дам —
Затылки — профили — а там,
Из-за высокой балюстрады,
Уже виднеются певцы,
Артисты-гении, певицы,
Которым пышные столицы
Несут алмазы и венцы.

И ты в толпе — уж за рядами
Кудрей и лысин мне видна
Твоя густая седина;
Ты искоса повел глазами —
Быть узнанным тщеславный страх
Читаю я в твоих глазах...
От русских барынь, от туристов,

От доморощенных артистов
Еще хранит тебя судьба...
Но — чу! гремят рукоплесканья,
Ты дрогнул — жадное вниманье
Приподнимает складки лба;
(Как будто что тебя толкнуло!)
Ты тяжело привстал со стула,
В перчатке сжатою рукой
Прижал к глазам лорнет двойной
И — побледнел:
Она выходит...
Уже вдали, как эхо, бродит
Последних плесков гул, и — вот
Хор по струнам смычками водит —
Она вошла — она поет.

О, это вкрадчивое пенье!
В нем пламя скрыто — нет спасенья!
Восторг, похожий на испуг,
Уже захватывает дух —
Опять весь зал гремит и плещет...
Ты замер... Сладко замирать,
Когда, как бы ожив, опять
Пришла любовь с тобой страдать —
И на груди твоей трепещет...
Ты молча голову склонил,
Как юноша, лишенный сил
Перед разлукой...
Но — быть может —
(Кто знает?!) грустною мечтой
Перелетел ты в край родной,
Туда, где все тебя тревожит,
И слава, и судьба друзей,
И тот народ, что от цепей
Страдал и — без цепей страдает...
Повеся нос, потупя взор,
Быть может, слышишь ты — качает
Свои вершины темный бор —
Несутся крики — кто-то скачет —
А там, в глуши, стучит топор —
А там, в избе, ребенок плачет...

Быть может, вдруг перед тобой
Возникла тусклая картина —
Необозримая равнина,
Застывшая во мгле ночной.
Как бледно-озаренный рой
Бесов, над снежной пеленой
Несется вьюга; — коченеет,
Теряясь в непроглядной мгле,
Блуждающий обоз... Чернеет,
Как призрак, в нищенском селе
Пустая церковь; тускло рдеет
Окно с затычкой — пар валит
Из кабака; из-под дерюги
Мужик вздыхает: «Вот-те на!»
Иль «караул!» хрипит со сна,
Под музыку крещенской вьюги.

Быть может, видишь ты свой дом,
Забитый ставнями кругом, —
Гнилой забор — оранжерею —
И ту заглохшую аллею,
С неподметенною листвой,
Где пахнет детской стариной
И где теперь еще, быть может,
Когда луна светла, как день,
Блуждает молодая тень —
Тот бледный призрак, что тревожит
Сердца, когда поет *она*
Перед толпой, окружена
Лучами славы...

1877

УЗНИЦА

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душной тюрьме,
Вижу я — своды... окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме...

С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос.

Не шевелятся ни губы, ни бледные
Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди...

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь!

1878

ОПАСЕНИЕ

На праздник ты одна ушла, друг милый мой,
Без горничной, без провожатых,
Ушла — порадовать своею красотой
Людей беспечных и богатых.

Уж поздно... тьма кругом... и напряжен мой слух,
И ум мой полон смутных бредней:
Не твой ли шорох там, где газ давно потух?
Чу! что-то звякнуло в передней!..

Уж поздно; я не сплю — клянусь, не оттого,
Что горячо тебя люблю я
И что не мог бы я заснуть без твоего
Рассказа или поцелуя...

Нет, не из ревности я не смыкаю глаз
И жду тебя не как влюбленный:
Я праздника боюсь — мне страшен поздний час
И этот город полусонный.

Здесь каждый ждет беды, здесь каждый запер дверь,
Здесь невидимкой между нами
Блуждает нищета, косматая, как зверь,
Дрожит и шарит за дверями.

Быть может, тень ее завистливо глядит
На яркий свет тех самых окон,
Где под напев смычка нога твоя скользит,
Где вьется твой летучий локон.

Ты не нуждаешься благодаря трудам, —
Но для нее и ты богата;
И то, что любишь ты, и то, что свято нам,
Для голодающих не свято...
. . . .

О, я б не ждал тебя с тревогой и тоской,
Об этом не было б и речи,
Когда б у каждого, в семье его родной,
Горели праздничные свечи!

Н. А. ГРИБОЕДОВА

I

Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней.
Не вождь грузинских удальцов —
Гроза соседних гор —
Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор.
Не там, где слышат валуны
Плеск Алазанских струй, [1]
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам [2]
Святая старина,
Где часто музыка слышна
И веют знамена.

---

[1] Алазань — река в Кахетии.
[2] Сазандар — грузинский народный певец.

2

В Тифлисе я ее встречал...
Вникал в ее черты:
То — тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела и не грустна, —
Где б ни была она,
Повсюду на ее лице
Царила тишина.
Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,
Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты;
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом,
Или о том, кто, силу зла
Изведав, завещал
Ей всепрощающую скорбь
И веру в идеал...

3

Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули и тень
С холмов сошла в сады,
Когда Метех[1] с своей скалой
Стоял как бы в дыму
И уходил сионский крест[2]
В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце
С поникшей головой,

---

[1] Замок и острог в Тифлисе.
[2] Крест Сионского собора, самой большой церкви в Тифлисе.

И, помню, кроткий взор ее
Увлажен был слезой.
О незабвенной старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой.
И мне казалось, в этот миг
Я у нее в глазах
Прочел ту повесть — что прошла
Тайком в ее мечтах:
. . . .

4

«Он русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость — он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом;
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандар;
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман;
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон;
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно Север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму;

Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой...
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд...

5

И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир,
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук.
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни,
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца
И ласковых очей.

6

Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран.
Прощай, любви моей заря!
Пал на́ сердце туман...
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,

Так я ждала его, ждала, —
Не уставала ждать...
Еще мой верующий ум
Был грезами повит,
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!..
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть,
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь,
Что труп его — кровавый труп —
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой. [1]
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...
Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис, —
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...

И я пошла его встречать,
И весь Тифлис со мной
К заставе эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!

---

[1] Записки А. С. Пушкина, т. 5, стр. 76. Изд. Анненкова.

И положила я его
    На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
    Давид их сторожит;
Где раньше, чем заглянет к нам
    В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
    Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
    Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
    Ночные облака;
Куда весной, по четвергам,
    Бредут на ранний звон,
Тропинкой каменной, в чадрах,
    Толпы грузинских жен.
Бредут, нередко в страшный зной,
    Одни — просить детей,
Другие — воротить мольбой
    Простывших к ним мужей...
Там, в темном гроте — мавзолей,
    И — скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,
    Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтоб вам она
    Напомнила сама —
Два горя: горе от любви
    И горе от ума».

1879, января 30

(ГИПОТЕЗА)

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила, —
И в бездне, как вихрь, закружились светила:
Певучей струной каждый луч их дрожит,
И жизнь, пробужденная этою дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку божью,
Кто разумом светел, в ком сердце горит.

Любя колосьев мягкий шорох
    И ясную лазурь,
Я не любил, любуясь нивой,
    Ни темных туч, ни бурь...
Но налетела туча с градом,
    Шумит-гремит во мгле;
И я с колосьями, как колос,
    Прибит к сырой земле...
К сырой земле прибит — и стыну,
    Холодный и немой,
И уж не все ль равно мне — солнце
    Иль туча надо мной?!

Глаза и ум, и вся блестишь ты,
Невзгод житейских далека...
И молча взорам говоришь ты,
Как ночью пламень маяка...
Но я, пловец, завидя пламень,
Своим спасеньем дорожу
И, обходя подводный камень,
От блеска дальше ухожу...
Вот, если б я волной был шумной —
Ветрам послушною волной,
С какой бы страстью вольнодумной
Примчался я к твоим стопам,
Чтоб хоть на малое мгновенье
Взыграть — разбиться и — слезам
Дав волю, выплакать забвенье
Своим безумствам и страстям.

Я умер, и мой дух умчался в тот эфир,
Что соткан звездными лучами;
Я не могу к тебе вернуться в пыльный мир
С его пороком и цепями.

Прощай! Ты слышишь дня однообразный гул,
И для тебя он скучно-светел;
Но день твой предо мной как молния мелькнул,
И в нем тебя я не заметил.

Ты видишь, ночи тень идет на смену дня;
Но я твоей не вижу ночи;
Какое ж дело мне, ты любишь ли меня
Или другому смотришь в очи...

Я на земле постиг изменчивость страстей:
Смерть погасила жар недужный...
Не бойся ж ревности и не проси моей
Взаимности, тебе ненужной...

НА ИСКУСЕ

Как промаюсь я, службы все выстою,
Да уйду на ночь в келью свою,
Да лампадку пред девой пречистою
Засветив, на молитве стою...

Я поклоны творю пред иконою
И не слышу, как сладко поют
Соловьи за решеткой оконною,
В том саду, где жасмины цветут...

Но когда, после долгого бдения,
Я на одр мой ложусь, на меня,
Сладострастием вея, видения
Прошлой жизни встают ярче дня.

Замыкаю ль ресницы усталые —
Я тону в бездне сладостных грез:
Всё-то вижу глаза ее впалые...
Плечи бледные... волны волос...

Начинаю ль дремать — тяжко дышится, —
Я безумца в себе узнаю;
Мне сквозь сон ее жалоба слышится
На беспутную юность мою...

И в слезах призывая спасителя,
Крик ребенка я слышу — и в нем,
В сироте, чую вечного мстителя
За любовь, что покрыл я стыдом...

И нет сил одолеть искушение!
Забывая молитву мою,
У погибшей прошу я прощение,
Перед ней на коленях стою...

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда, заботами иль злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй
Не отвечаю я таким же поцелуем, —
Не упрекай и не ревнуй!

Любовь моя давно чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
В дни беспрерывных битв она вернее друга;
Но от нее тепла не жди!

Не изменю тебе; но если ты изменишь
И, оклеветанная вновь,
Поймешь, как трудно жить, ты вспомнишь, ты оценишь
Мою холодную любовь.

СТАРИК

Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая
Ступеньки лестницы крутой,
А чудо-девушка, наверх за ним взбегая,
Казалось, веяла весной.
Пронесся легкий шум шагов, и ветер складок,
И длинный локона извив...
О, как тогда себе он показался гадок,
Тяжел, ненужен и ворчлив.
Вздохнув, поник старик, годами удрученный;
Она ж исчезла вдруг за дверью растворенной,
Как призрак, смеющий любить,
Как призрак красоты, судьбой приговоренной
Безжалостно любимой быть.
Постой, красавица! Жизнь и тебя научит
Кряхтеть и ныть, чтоб кто-нибудь
Мог перегнать тебя, когда тебя измучит
Крутой подъем — житейский путь!..

1884, май

Томит предчувствием болезненный покой...
Давным-давно ко мне не приходила Муза;
К чему мне звать ее!.. К чему искать союза
Усталого ума с красавицей мечтой!
Как бесприютные, как нищие, скитались
Те песни, что от нас на божий свет рождались,
И те, которые любили им внимать,
Как отголоску их стремлений идеальных,
Дремотно ждут конца или ушли — витать
С тенями между ив и камней погребальных;
А те, что родились позднее нас, идут
За призраком давно потухшей в нас надежды:
Они для нас, а мы для них — невежды,
У них свои певцы, они свое поют...

И пусть они поют... и пусть я им внимаю
И радуюсь, что я их слезы понимаю,
И, чуя в их сердцах моей богини тень,
Молю бессмертную благословить тот день,
Когда мы на земле сошлись для песен бедных,
Не побеждаемых, хотя и не победных.

ПАМЯТИ С. Я. НАДСОНА
(19 ЯНВАРЯ 1887 г.)

Он вышел рано, а прощальный
Луч солнца в тучах догорал;
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал:
В темь надвигающейся ночи
Вперив задумчивые очи,
Он видел — смерть идет...
Хотел
Тревоги сердца успокоить
И хоть не мог еще настроить
Всех струн души своей, — запел.
И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата, в час глухой,
Подслушан пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.

Без веры в плод своих стремлений,
Любя, страдая, чуть дыша,
Он жаждал светлых откровений,
И темных недоразумений
Была полна его душа.

И ум его не знал досуга:
Поэта ль, женщину иль друга
Встречал он на пути своем, —
Рой образов боролся в нем
С роями мыслей неотвязных.

. . . .
Рассудку не хватало слов...
И сердце жаждало стихов,
Унылых и однообразных,
Как у пустынных берегов
Немолчный шум морских валов.
Томил недуг и — вдохновенье
Томило до изнеможенья:
Недаром, из страны в страну
Блуждая, он искал спасенья,
И, как эмблему возрожденья,
Любил цветущую весну.
Но паче всех благоуханий
И чужеземных алтарей
Поэт тревожных упований
И сокрушительных идей
Любил, среди своих блужданий,
Отчизну бедную свою:
Ее метелями обвеян,
Ее пигмеями осмеян,
Он жить хотел в ее краю,
И там, под шум родного моря,
В горах, среди цветущих вилл,
Чтоб отдохнуть от зол и горя,
Прилег — и в боге опочил.

Спи с миром, юноша-поэт!
Вкусивший по дороге краткой
Все, что любовь дает украдкой,
Отраву ласки и клевет,
Разлуки гнет, часы свиданий,
Шум славы, гром рукоплесканий,
Насмешку, холод и привет...
Спи с миром, юноша-поэт!

ОРЕЛ И ГОЛУБКА

(Посв. Я. К. Гроту)

Вздымая волны, над заливом
Шла к ночи буря, — гром гудел...
За облака, навстречу ливня,
Орел с добычею летел:
В свое гнездо, не внемля грому,
Крылами рассекая мглу,
Он нес в когтях своих голубку
И опустился на скалу.

За ним мерцали на закате
Вершин незыблемых снега,
Под ним клубились тучи — пена
Посеребряла берега.
Ручьи скакали по каменьям,
Орлы кричали... Никому
Не откликался он и слушал,
Как жертва плакалась ему...

В его когтях, дрожа и жмурясь,
Она молила: «Отпусти...»
И внял мольбам великодушный
Орел и молвил ей: «Лети!»
И радостно, своей свободы
Почуя миг, как снежный ком,
Сразмаху брошенный, голубка
Рванулась вдаль, мелькнув крылом,

И полетела; — закружилась,
Ища родных ей берегов,
И погрузилась в водяную
Пыль между волн и облаков,
И сделалась добычей бури —
Добыча мощного орла...
Увы, бездушная стихия
Ее молитв не приняла...

Как мотылек, дождем прибитый,
Едва мелькая в бурной мгле,
Она исчезла в серой пене
Валов, несущихся к скале;
На той скале все тот же мощный
Орел державно отдыхал,
Порой свой клюв точил, порою
Лениво крылья расправлял.

И думал он: авось под утро
Стихий угомонится вой,
И выпрыгнет на солнце серна,
И гуси взмоют над водой...
А там, где конь пылит дорогу,
Стада потянутся в кусты...
И мне потребную добычу
Господь укажет с высоты...

1887

Н. Н. ЛОРАНУ

Друг! По слякоти дорожной
Я бреду на склоне лет,
Как беглец с душой тревожной,
Как носильщик осторожный,
Как измученный поэт.

Плохо вижу я дорогу;
Но шагая рядом, в ногу
С неотзывчивой толпой, —
Страсти жар неутоленной,
Холод мысли непреклонной,
Жажду правды роковой
Я несу еще с собой.

Разливается по жилам
Жар и жгучий холодок. . .
Или ношу не по силам
Взял я на душу, — ходок?
Или ноша эта стала
Тяжелее и гнетет
От осенних непогод? —
Ум тупеет, грудь устала,
Чувство стынет в этой мгле,
Что зари сиянье прячет,
И дождит, как будто плачет,
Расстилаясь по земле.

Но, поверь мне, ноша эта
Мне была бы нипочем,

Если б только было лето
И дышалось бы теплом.
Мне б казался путь недолог,
Если б солнечных небес
Голубой прозрачный полог
Окаймлял зеленый лес;
Если б в поле пели птицы,
А за пашней, на юру,
Полоса густой пшеницы
Колыхалась по ветру.

Не простыл бы жар сердечный,
Я б надеждою беспечной
Дух мой втайне веселил...
И меня б, с утратой сил,
По дороге к правде вечной
Холод мысли не знобил.

1887

А. А. ФЕТ

Нет, не забуду я тот ранний огонек,
Который мы зажгли на первом перевале,
В лесу, где соловьи и пели и рыдали,
Но миновал наш май — и миновал их срок.
О, эти соловьи! .. Благословенный рок
Умчал их из страны калинника и елей
В тот теплый край, где нет простора для метелей.
И там, где жарче юг и где светлей восток,
Где с резвой пеною и с сладостным журчаньем
По камушкам ручьи текут, а ветерок
Разносит вздохи роз, дыша благоуханьем,
Пока у нас в снегах весны простыл и след,
Там — те же соловьи и с ними тот же Фет. . .
Постиг он как мудрец, что если нас с годами
Влечет к зиме, то — нам к весне возврата нет,
И — улетел за соловьями.
И вот, мне чудится, наш соловей-поэт,
Любимец роз, пахучими листами
Прикрыт, и — вечной той весне поет привет.
Он славит красоту и чары, как влюбленный
И в звезды и в грозу, что́ будит воздух сонный,
И в тучки сизые, и в ту немую даль,
Куда уносятся и грезы, и печаль,
И стаи призраков причудливых и странных,
И вздохи роз благоуханных.
Волшебные мечты не знают наших бед:
Ни злобы дня, ни думы омраченной,
Ни ропота, ни лжи, на все ожесточенной,
Ни поражений, ни побед.

Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то,
Не гаснет для него и в сумерках заката,
Он видит призраки ночные, что ведут
Свой шепотливый спор в лесу у перевала.
Там мириады звезд плывут без покрывала,
И те же соловьи рыдают и поют.

1888, 1 февраля

У ДВЕРИ

(Посвящается А. П. Чехову)

Однажды в ночь осеннюю,
  Пройдя пустынный двор,
Я на крутую лестницу
  Вскарабкался, как вор.

Там дверь одну заветную
  Впотьмах нащупал я
И постучался. — Милая!
  Не бойся... это я...

А мгла в окно разбитое
  Сползала на чердак,
И смрад стоял на лестнице,
  И шевелился мрак.

— Вот-вот она откликнется,
  И бледная рука
Меня обнимет трепетно
  При свете ночника.

Попрежнему на грудь ко мне
  Склонясь, она вздохнет,
И страстный голосок ее
  Порвется и замрет...

Она — мой друг единственный,
  Она — мой идеал!

И снова в дверь дощатую
Я тихо постучал.

— Прости меня, пусти меня,
Я дрогну, ангел мой!
Измучен я, истерзан я
Сомненьем и тоской.

И долго я стучался к ней —
Стучался, звал и — вдруг
За дверью подозрительный
Почудился мне стук.

Я дрогнул и весь замер я,
Дыханье затая...
— Так вот ты как, — изменница!
Лукавая змея!

Вдвоем ты... но... безумец я!
Очнуться мне пора...
Здесь буду ждать соперника
До позднего утра.

Все, все, чему так верил я, —
Ничтожество и ложь!
Улика будет явная —
Меня не проведешь...

Но притаив дыхание,
Как сыщик у дверей,
Я не слыхал ни шороха,
Ни скрипа, ни речей...

— О гнусность подозрения!
Искупит ли вину
Отрадная уверенность
Застать ее одну.

И, сердцем успокоенный,
Я понял, что она
Моим же поведением
Была оскорблена.

Недаром в час свидания
    У лестницы, внизу,
Подметил я в глазах ея
    Обидную слезу.

Не я ль — гордец бесчувственный! —
    Сознался ей, как трус,
Что я стыжусь любви моей,
    Что бедности стыжусь...

Проснулась страсть мятежная,
    Тоской изныла грудь;
Прости меня, пусти меня,
    Слова мои забудь.

Но чу! .. Опять сомнение! ..
    Не ветер ли пахнул?
Не мышь ли? не соседи ли?
    Нет! — Кто же так вздохнул?

Так тяжко, так мучительно
    Вздыхает смерть одна —
Что, если... счеты с жизнию
    Покончила она?

Увы! Никто не учит нас
    Любить и уповать;
А яд и дети малые
    Умеют добывать.

Мерещился мне труп ее,
    Потухшие глаза
И с горькой укоризною
    Застывшая слеза.

Я плакал, я с ума сходил,
    Я милой видел тень,
Холодную и бледную,
    Как этот серый день.

Уже в окно разбитое
    На сумрачный чердак

Глядело небо тусклое,
    Рассеева́я мрак.

И дождь урчал по желобу,
    И ветер выл, как зверь...
Меня застали дворники
    Ломившегося в дверь.

Они узнали прежнего
    Жильца и, неспроста
Хихикая, сказали мне,
    Что комната пуста...

С тех пор я, как потерянный,
    Куда ни заходил,
Все было пусто, холодно...
    Чего-то — след простыл...

1888

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Вот здесь сидел он у окна,
Безмолвный, сумрачный: больна
Была душа его — он жался
Как бы от холода, глядел
Рассеянно и не хотел
Мне возражать, — а я старался
Утешить гостя и не мог.

Быть может, веры в исцеленье
Он жаждал, а не утешенья;
Но где взять веры?! Слово «бог»
Мне на уста не приходило;
Молитв целительная сила
Была чужда обоим нам,
И он ко всем моим речам
Был равнодушен, как могила.

Как птица раненая, он
Приник — и уж не ждал полета;
А я сказал ему, чтоб он
Житейских дрязг порвал тенета,
Чтоб он рванулся на простор —
Бежал в прохладу дальних гор,
В глушь деревень, к полям иль к морю,
Туда, где человек в борьбе
С природой смело смотрит горю
В лицо, не мысля о себе...

Он воспаленными глазами
Мне заглянул в глаза, руками

Закрыл лицо и не шутя
Заплакал горько, как дитя.
То были слезы без рыданья,
То было горе без названья,
То были вздохи без мечты —

В сетях любви и пустоты,
В когтях завистливого рока,
Он был не властен над собой;
Ни жить не мог он одиноко,
Ни заодно брести с толпой.
И думал я: «Поэт! — больное
Дитя! Ужель в судьбе твоей
Есть что-то злое, роковое,
Неодолимое! . .»

С тех пор прошло немало дней;
Я слышал от его друзей,
Что он в далекий путь собрался
И стал заметно веселей;
Но беспощадный рок дождался
Его на лестнице крутой
И сбросил. . .
Странный стук раздался. . .
Он грохнулся и разметался,
Изломанный, полуживой, —

И огненные сновиденья
Его умчали в край иной.
Без крика и без сожаленья
Покинул он больной наш свет;
Его не восторгал он — нет! . .
В его глазах он был теплицей,
Где гордой пальме места нет,
Где так роскошен пустоцвет,
Где пойманной, помятой птицей,
Не веря собственным крылам,
Сквозь стекла потемневших рам,
Сквозь дымку чадных испарений
Напрасно к свету рвется гений,
К полям, к дубровам, к небесам. . .

28 марта 1888

В ЗАСУХУ

Все жаждет, истомясь от зною;
Все вопиет: дождя, дождя!
И рады все, что солнце мглою
Покрылось, сумрак наводя.

Влачится туч густых завеса,
Грозя нам ливнем и пыля;
Из-за синеющего леса
Прохладой веет на поля.

Шуршит соломой рожь сухая,
Пыль зарывается в кусты, —
И только капля дождевая
Одна спадает с высоты.

Дождя, дождя!.. Ужель обманут
Нас громовые голоса,
С земли колосья не привстанут
И не омоются леса?

Увы! Грозы насмешка злая,
Громовый хохот над землей!..
К чему нам капля дождевая!
Что значит капля в этот зной!..

Молниеносной тучи глыба
Перевалила за леса, —
Никто не скажет ей спасибо,
С упреком глядя в небеса.

Ушла! .. Но где над злом победа?
В чем торжество? Все тот же зной... —
И не осталось даже следа
От бедной капли дождевой...

ЛЕБЕДЬ

Пел смычок — в садах горели
Огоньки — сновал народ —
Только ветер спал, да темен
Был ночной небесный свод;

Темен был и пруд зеленый
И густые камыши,
Где томился бедный лебедь,
Притаясь в ночной тиши.

Умирая, не видал он —
Прирученный нелюдим, —
Как над ним взвилась ракета
И рассыпалась над ним;

Не слыхал, как струйка билась,
Как журчал прибрежный ключ, —
Он глаза смыкал и грезил
О полете выше туч:

Как в простор небес высоко
Унесет его полет
И какую там он песню
Вдохновенную споет!

Как на все, на все святое,
Что таил он от людей,
Там откликнутся родные
Стаи белых лебедей.

И уж грезит он: минута, —
Вздох — и крылья зашумят,
И его свободной песни
Звуки утро возвестят. —

Но крыло не шевелилось,
Песня путалась в уме:
Без полета и без пенья
Умирал он в полутьме.

Сквозь камыш, шурша по листьям,
Пробирался ветерок. . .
А кругом в садах горели
Огоньки и пел смычок.

12 мая 1888

В ХВОЙНОМ ЛЕСУ

Лес, как бы кадильным дымом
Весь пропахнувший смолой,
Дышит гнилью вековою
И весною молодой.

А смолу, как слезы, точит
Сосен старая кора,
Вся в царапинах и ранах
От ножа и топора.

Смолянистым и целебным
Ароматом этих ран
Я люблю дышать всей грудью
В теплый утренний туман.

Ведь и я был также ранен —
Ранен сердцем и душой,
И дышу такой же гнилью
И такою же весной. . .

Ф. ж. д. Райвола. 1888

Для сердца нежного и любящего страстно
Те поцелуи слаще всех наград,
Что с милых робких уст похищены украдкой
И потихоньку отданы назад.

Но к обладанью нас влечет слепая сила,
Наш ум мутит блаженства сладкий яд:
Слезами и тоской отравленная чаша
Из милых рук приходит к нам назад.

Не всякому дано любви хмельной напиток
Разбавить дружбы трезвою водой,
И дотянуть его до старости глубокой
С наперсницей, когда-то молодой.

1888

В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ А. А. ФЕТА

(1889 г. 28-го ЯНВАРЯ)

Ночи текли — звезды трепетно в бездну лучи свои
сеяли...
Капали слезы, — рыдала любовь; и алел
Жаркий рассвет, и те грезы, что в сердце мы тайно
лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки...
Игру эту боги затеяли;
В их мировую игру Фет замешался и пел...

Песни его были чужды сует и минут увлечения,
Чужды теченью излюбленных нами идей; —
Песни его вековые — в них вечный закон тяготения
К жизни — и нега вакханки, и жалоба фей —
В них находила природа свои отражения.
Были невнятны и дики его вдохновения
Многим; но тайна богов требует чутких людей.

Музыки выспренний гений недаром любил сочетания
Слов его, спаянных в «нечто» душевным огнем,
Гений поэзии видел в стихах его правды мерцание,
Капли, где солнце своим отраженным лучом
Нам говорило: «Я солнце!» И пусть гений знания
С вечно пытливым умом, уходя в отрицание,
Мимо проходит! — наш Фет русскому сердцу знаком...

ЗИМОЙ, В КАРЕТЕ

Вот, на каретных стеклах, в блеске
Огней и в зареве костров,
Из бледных линий и цветов
Мороз рисует арабески.
Бегут на смену темноты
Не фонари, а пятна света;
И катится моя карета
Средь этой мглы и суеты.

Огни, дворцы, базары, лица
И небо — все заслонено...
Миражем кажется столица —
Тень сквозь узорное окно
Проносится узорной дымкой,
Клубится пар, и — мнится мне,
Я сам, как призрак, невидимкой
Уселся в тряской тишине.

Скрипят тяжелые колеса,
Теряя в мгле следы свои;
Меня везут, и — нет вопроса:
Бегут ли лошади мои.
Я сам не знаю, где я еду, —
Заботливый слуга страстей,
Я словно рад ночному бреду,
Воспоминанью давних дней.

И снится мне — в холодном свете
Еще есть теплый уголок...

Я не один в моей карете...
Вот-вот сверкнул ее зрачок...
Я весь в пару ее дыханья —
Как мне тепло назло зиме!
Как сладостно благоуханье
Весны в морозной полутьме!

Очнулся — и мечта поблёкла:
Опять, румяный от огней,
Мороз забрасывает стекла
И веет холодом. Злодей!
Он подглядел, как сердце билось:
Любовь, и страсти, и мечты,
И вздох мой — все преобразилось
В кристаллы, звезды и цветы.

Ткань ледяного их узора
Вросла в края звенящих рам,
И нет глазам моим простора,
И нет конца слепым мечтам!
Мечтать и дрогнуть не хочу я;
Но — каждый путь ведет к концу.
И скоро, скоро подкачу я
К гостеприимному крыльцу.

Январь, 1889

Не то мучительно, что вечно-страшной тайной
    В недоуменье повергает ум,
Не то, что может дать простор для вдохновенья
    И пищу для крылатых дум,

А то мучительно, что и в потемках ясно,
    Что с детских лет знакомо нам, о чем
Мы судим сердцем так любовно, так пристрастно,
    И так безжалостно — умом...

Не мириады звезд, что увлекают дух мой
    В простор небес, холодный и немой,
А искры жгутся, и одной из них довольно,
    Чтоб я простыл, сгорев душой...

1890

Зной — и всё в томительном покое —
В пятнах света тени спят в аллее...
Только чуткой чудится лилее,
Что гроза таится в этом зное.

Бледная, поникла у балкона —
Ждет грозы, — и грезится ей, бедной,
Что далекой бури призрак бледный
Стал темнеть в лазури небосклона...

Грезы лета кажутся ей былью, —
Гроз и бурь она еще не знает,
Ждет... зовет... и жутко замирает,
Золотой осыпанная пылью...

Воробьевка, 1890

В ГОСТЯХ У А. А. ФЕТА

Тщетно сторою оконной
Ты ночлег мой занавесил, —
Новый день, румян и весел,
Заглянул в мой угол сонный.

Вижу утреннего блеска
Разгоревшиеся краски, —
И не спрячет солнца ласки
Никакая занавеска...

Угол мой для снов не тесен
(Если б даже снились боги...)
Чу! меня в свои чертоги
Кличет Муза птичьих песен.

Но, как раб иной привычки,
Жаждущий иного счастья,
Вряд ли я приму участье
В этой птичьей перекличке!..

Д. Воробьевка. 12 июня 1890

Полонский здесь не без привета
Был встречен Фетом, и пока
Старик гостил у старика,
Поэт благословлял поэта.
И, поправляя каждый стих,
Здесь молодые музы их
Уютно провели все лето.

1890

НА ПУТИ

Хмурая застигла ночь,
    На пути — бурьян. . .
Дышит холодом с реки,
    Каплет сквозь туман.
Но как будто там — вдали,
    Из-под этих туч,
За рекою — огонька
    Вздрагивает луч. . .
И как будто где-то там
    Голоса в кустах. . .
Песня это или звон
    У меня в ушах?
В реку брошусь я — в кусты
    Брошусь сквозь туман —
Впереди тепло и свет,
    На пути — бурьян. . .

В ОСЕННЮЮ ТЕМЬ

(Отрывок)

. . . .
. . . .

Вечера настали мглистые —
Отсырели камни мшистые;
И не цветиками розовыми,
Не листочками березовыми,
Не черемухой в ночном пару,
Пахнет, веет во сыром бору —
Веет тучами сгустившимися,
Пахнет липами — свалившимися,
Или мокрых листьев ворохом;
Тишина пугает шорохом...
Только там, за речкой ти́нистою,
Что-то злое и порывистое
С гулом по лесу промчалося,
Словно смерти испугалося...
Что со мной!.. Чего спасительного
Или хоть бы утешительного
Ожидать от лесу темного,
В сон и холод погруженного?
Пусть другой тут с горя топится!..
Сердце жить еще торопится...
Чувство тайное, весеннее,
Будь смелей и откровеннее —
Выручай свою возлюбленную,
Злыми сплетнями погубленную!

Пусть ее — мою красавицу,
Сироту и бесприданницу —
Силой выдали за пьяницу. . .
Знаю я тебя, пиявицу,
Моего лихого ворога!!
Ты купил ее недорого, —
Только я возьму недешево —
Ничего не жди хорошего! . .

Когда в наш темный сад вошла ты привиденьем,
Бледна, взволнованна, и жалобой звучал
Твой голос трепетный, — с невольным сокрушеньем
Внимал я твоему признанью, трепетал
За молодость, за честь, за рок, тебе грозящий:
Я верил искренно душе твоей скорбящей.

Теперь, когда, в цветах, с протянутой рукой
Стоишь ты светлая, как светлый призрак мая,
И улыбаешься, и смотришь, выжидая...
И взор твой светится лукавою мечтой, —
Прости, не верю я душе твоей — не верю —
Хочу сказать — молчу, смеюсь и — лицемерю...

По торжищам влача тяжелый крест поэта,
    У дикарей пощады не проси, —
Молчи и не зови их в скинию завета,
    И с ними жертв не приноси.

Будь правды жаждущих невольным отголоском,
    Разнузданных страстей не прославляй
И модной мишуры за золото под лоском
    Блестящих рифм не выдавай.

И если чернь слепа, не жаждет и не просит,
    И если свет — к злу равнодушный свет
Надменно, как трофей, свои оковы носит, —
    Знай, что для них поэта нет...

ТЕНИ И СНЫ

Я свечи загасил, и сразу тени ночи,
Нахлынув, темною толпой ко мне влетели;
Я стал ловить сквозь сон их призрачные очи
И увидал их тьму вокруг моей постели.

Таинственно они мигали и шептались:
«Вот он сейчас заснет, сейчас угомонится...
Давно ль мы страшным сном счастливца
любовались, —
Авось, веселый сон несчастному приснится.

Глядите, как при нас, во сне, он свеж и молод!
Как может он, любя, и трепетать и верить!..
А завтра вновь сожмет его житейский холод,
И снова будет он хандрить и лицемерить...

И снова белый день, с утра, своим возвратом
Раскроет бездну зол, вражды, потерь и горя,
Разбудит богача, измятого развратом,
И нищего, что пьет, из-за копейки споря...

А мы умчимся в ночь, обвеянные снами
И грезами живых и мертвых поколений,
И счастья призраки умчатся вместе с нами —
Поблеклые цветы весенних вождений»...

Полуночных теней уловленные речи
Встревожили мой сон и подняли с постели;
Я руку протянул и вновь зажег я свечи;
И тени от меня ушли в углы и щели,

И к окнам хлынули, и на пороге стали, —
Я видел, при огне, их чуть заметный трепет,
Но то, что я писал, они уж не видали,
И я записывал таинственный их лепет.

1891, февраль 20

Вот и ночь... К ее порогу
Он пришел, едва дыша:
Утомился ли он медля?
Опоздал ли он спеша?..

Сел и шляпу снял, и, бледный,
К ней наверх в окно глядит;
И, прислушиваясь, тихо,
Точно бредит, говорит:

— Милый ангел! Будь покойна —
Я к тебе не постучусь...
Вижу свет твоей лампады
И безумствую — молюсь...

За тебя ли, за себя ли
Я молюсь, не знаю сам.
Ни глазам твоим не верю,
Ни лампаде, ни звездам.

Ведь они, все эти звезды,
Как и твой небесный взгляд,
И горят, и в душу смотрят —
И неправду говорят...

Ведь они, все эти звезды,
Никогда не скажут мне,
Кто сейчас твою лампаду
Погасил, мелькнув в окне.

Или это промелькнуло
Отражение луны?..
Или это — греза ночи, •
Шорох знойной тишины?

Или это — у забора
Ветерок шуршит листвой?
Нет!.. Я слышу смех влюбленных
Над моей смешной слезой.

И, как тень, с ее порога
Поднялся он, чуть дыша...
Утомился ли он медля,
Опоздал ли он спеша?..

ОТВЕТ

Ты спрашиваешь: отчего
Так пошло все и так ничтожно,
Что превосходства своего
Не сознавать нам невозможно? . .
— Нет, я такой же, как и все —
Такая ж спица в колесе,
Которое само не знает
И не ответит — хоть спроси, —
Зачем оно в пыли мелькает,
Вертясь вокруг своей оси. . .
Зачем своей железной шиной,
Мирской дорогою катясь,
Оно захватывает грязь,
Марая спицы липкой глиной,
И почему не сознает
То колесо, кого везет?
Кто держит вожжи — кто возница?
Чье око видит с высоты,
Куда несется колесница?
Какие кони впряжены?

В САДУ

Мы празднуем в саду прощальный наш досуг.
Прощай! пью за твое здоровье, милый друг! —
И солнцу, что на все наводит зной, не жарко,
И льду не холодно, и этот пышный куст
Своих не знает роз, и даже эта чарка
Не знает, чьих она касалась жарких уст.
И блеск, и шорохи, и это колыханье
Деревьев — все полно блаженного незнанья;
А мы осуждены отпраздновать страданье,
И холод сознаем и пламенный недуг...
Прощай! пью за твое здоровье, милый друг!

ПУСТЫЕ НОЖНЫ

Иль никогда на голос мщенья
Поэт не вырвет свой клинок.

М. Лермонтов

Без лезвия, ножны пустые —
Кому вы нужны? . . Кто, простясь
С родной семьей, в минуты злые,
Идя на битву, вспомнит вас? . .
Неумолимого кинжала
Ножны — где ваша рукоять?
Где ваш клинок — стальное жало? . .
Быть может, и на них лежала
Востока старого печать?

В какую грудь, до крови жадный,
Впился клинок ваш беспощадный?
А вы — ножны? . . Какой герой
С ремня убитого героя
Отрезал вас на месте боя
И пал от пули роковой?
С каких племен сбирая дани,
Гордились вы своим клинком?
Чья власть велела вас кругом
Убрать каменьями без грани
И золоченым серебром?
Теперь никто уж из-под злата
Не вырвет вашего булата
На месть и злую гибель: он,
Слуга любого супостата,
Навеки с вами разлучен.

Блестите же своей оправой,
Когда-то страшные ножны!
Я рад, что вы осуждены
Быть антиквария забавой
Иль украшением стены.
Где та насечка золотая,
Тот стих Корана, что, внушая
Слепую веру в деву рая,
Завоевал себе Восток? —
Ножны — вы пусты. . .
Но не нужен
Поэту мстительный клинок!
Пусть льется кровь — он безоружен,
Молчит иль бредит, как пророк,
Быть может, бредит поневоле —
От старых ран, от новой боли,
От непосильной нам борьбы,
От горя, от негодованья,
От безнадежного исканья
Иной, спасительной судьбы. . .

В ПОТЕМКАХ

Один проснулся я и — вслушиваюсь чутко,
Кругом бездонный мрак и — нет нигде огня.
И сердце, слышу я, стучит в виски... мне жутко...
Что, если я ослеп! Ни зги не вижу я,
Ни окон, ни стены, ни самого себя!..
И вдруг, сквозь этот мрак глухой и безответный,
Там, где гардинами завешено окно,
С усильем разглядел я мутное пятно —
Ночного неба свет... полоской чуть заметной.
И этой малости довольно, чтоб понять,
Что я еще не слеп и что во мраке этом
Все, все пророчески полно холодным светом,
Чтоб утра теплого могли мы ожидать.

28 декабря 1892

В НОВЫЙ ДОМ

Из храма, где обряд венчальный
Связал их жребий и сердца,
В свой новый дом, с зеркальной спальной,
Он вез ее из-под венца.

И колыхалася карета,
И жутко было им вдвоем:
Ей — в красоте полурасцвета,
Ему — с поблекнувшим лицом.

Не зимний холод — желтый глянец
Ей непривычного кольца
Сгонял пленительный румянец
С ее поникшего лица...

И колыхалася карета;
И, дар обычной суеты,
Оранжерейного букета
С ней дрогли пышные цветы.

— Мечты, куда вы улетели?! —
Злой дух ей на ухо шептал...
Колеса по́ снегу скрипели —
И ветер след их заметал.

Метель недаром разыгралась,
Недаром меркли фонари;
Он ласки ждал — она боялась
Дожить до утренней зари.

И как надежда — как свобода
От позоло́ченных цепей,
Как смерть — предчувствие развода
Таилось на́ сердце у ней.

1893

СМЕРТЬ

А! .. говорят. .. И только слезы
Мешают им договорить,
Что безнадежен ты, страдалец,
И что тебе уже не жить. . .
Впервые, несомненно, правду
Почуяли твои друзья,
Что это я пришла и встала
У ног твоих, — да, это я —
Тень твоего существованья —
Стихийный мрак небытия —
Развязка лжи — конец страданья —
Твой призрак — смерть — да, это я! . .
Кто б ни был ты, глупец иль гений,
Все, что ты любишь, позабудь.
Я догорающее пламя
В твоей груди пришла задуть.
Не думай, не молись, не кайся,
И не желай, и не жалей,
И умирай, не сознавая,
Как меркнет свет твоих очей. . .

— Нет! нет! пока еще до срока —
До забытья, или пока
На грудь мне тяжко не наляжет
Твоя всевластная рука,
Я буду силиться без страха,
Дрожа, глядеть в твои глаза:
Что в них? Бездонный мрак кромешный
Иль гнева божьего гроза?

Пусть погибает мой рассудок!..
К чему он нужен там, куда
Я отхожу? — не ум, а сердце
Боится высшего суда...
И пусть бесчувственное тело
Есть достояние твое:
Возьми его; но то, что будет
Твоим, то будет не мое...
Что ты такое? — Тень; но тенью
Была вся жизнь; и эта тень
Бежит от света — и не видит,
Как брезжит бесконечный день...
Настолько ж был я человечен
И чужд мертвящей суеты,
Что вечен я или не вечен,
Про то я знаю, а не ты.
Да, ты ужасна! Поневоле
Я содрогаюсь; но когда
В последний раз вздохну я тихо, —
Мы разойдемся навсегда...

31 июля 1896

Если б смерть была мне мать родная,
Как больное, жалкое дитя,
На ее груди заснул бы я
И, о злобах дня позабывая,
О самом себе забыл бы я.

Но она — не мать, она — чужая,
Грубо мстит тому, кто смеет жить,
Мыслить и мучительно любить,
И, покровы с вечности срывая,
Не дает нам прошлое забыть.

И любя и злясь от колыбели,
Слез немало в жизни пролил я;
Где ж они — те слезы? Улетели,
Воротились к Солнцу бытия.

Чтоб найти все то, за что страдал я,
И за горькими слезами я
Полетел бы, если б только знал я,
Где оно — то Солнце бытия? . .

Еще не все мне довелось увидеть. . .
И вот одно осталось мне:
Закрыв глаза, любить и ненавидеть
Бесплодно, смутно — как во сне!

1898. Август

ПОЭМЫ

КУЗНЕЧИК-МУЗЫКАНТ

Шутка в виде поэмы

ПЕСНЬ 1

Не сверчка нахала, что скрипит у печек,
Я пою: герой мой — полевой кузнечик!
Росту небольшого, но продолговатый;
На спине носил он фрак зеленоватый;
Тонконогий, тощий и широколобый...
Был он сущий гений — дар имел особый:
Музыкантом слыл он между насекомых
И концерты слушать приглашал знакомых.
Под роскошной жатвой жил он в поле чистом,
Оглашая воздух бесконечным свистом
Своего оркестра. Ветреное племя
Скакунов забыло, что в полях в то время
Музыки и вкуса был он представитель.
Все, что нынче летом деревенский житель
Слышит за окошком, лежа на кровати
Или на балкон свой выходя в халате, —
Этот свист трескучий, этот звон безбрежный,
Разлитой повсюду, и сухой, и нежный, —
Если только в этом сумрачном концерте
Есть живая нега и восторг, поверьте —
Это всё былые, вечные созданья
Моего героя, или — подражанья.

Бедненький кузнечик! позабыт твой гений!
Но ты век свой прожил не без приключений.

Помню, ты недаром слыл идеалистом:
Сядешь ты бывало в свете серебристом
Месяца, под полог ночи, на соломке,
Ветром сокрушенной. (Даром, что не ломки
Гибкие колосья, все же в ниве шаткой
Много их подломит этот ветер гадкий.)
Сядешь ты бывало и во славу ночи
На своей скрипице пилишь что есть мочи.
И тебя дразнили пискуны пустые,
Комары-злодеи, трубачи степные,
И в тебя влюблялись божии коровки,
И мутила зависть многие головки,
С тем же, музыкальным то есть, направленьем,
С тою же охотой, да не с тем уменьем.
И грозилась мошка с помощью науки
Умертвить тобою созданные звуки,
И тяжеловесный жук неоднократно
Уверял, что уши смачивать приятно
На твоих концертах, а не то де уши,
Как трава, завянут от ужасной суши.
В частной жизни также к добреньким коровкам,
К мушкам и козявкам часто в пренеловком
Был ты положеньи: слушал их признанья,
Робко избегая тайного свиданья.
Но ничто, однакож, не поколебало
Твоего покоя; никакое жало
Твоему таланту не казалось вредным:
В музыкальном мире был ты всепобедным.
Ты вполне блажен был! — но пришла невзгода. . .

Слушайте! Однажды, в половине года,
В самый жар, быть может, в самые Петровки,
В дни, когда на рынках потные торговки
Продают малину, вишенья, клубнику
И, маша платками, часто не без крику,
С мухами заводят из-за ягод ссоры;
В дни, когда из праха созидают горы
Муравьи и роют скрытые туннели
Под корнями дуба иль смолистой ели;
Бабочка, танцуя, празднует свободу;
А пчела, с клубочком золотого меду,

Покидая липу, вся в пыли цветочной,
Так и льнет к жасмину белизны молочной;
Шмель, бичуя воздух, знойный и душистый,
И кружась над морем нивы золотистой,
Пропадает в блеске солнца, как пылинка;
В дни, когда для мошки каждая былинка
Получает соки, сладость и значенье,
И она вкушает те же наслажденья, —
Стало быть, в Петровки, около полудня,
Мой герой, кузнечик, понаевшись студня,
То есть за обедом начинив желудок,
Вышел насладиться видом незабудок
И, вдыхая запах алого горошка,
Лег, прищуря глазки, — и мечтал немножко.
Много пролетало мимо насекомых,
Ос, шмелей сердитых — трубачей знакомых,
С разными вестями. Ни к кому с вопросом
Он не обратился. Все, что перед носом
У него вертелось, ползало, жужжало,
Было чуждо сердцу — и не занимало...
Моему герою, верно бы, вздремнулось,
Как и вам, читатель, если б не взгрустнулось.

Вдруг над ним порхнуло чудное виденье,
Бабочка — такая, что — мое почтенье!
Белизны жемчужной крылышки с каемкой,
Глазки — изумруды, носик нежный, тонкий,
Бархатец на шейке, бантик на затылке.
Увидал кузнечик — затряслись в нем жилки.
Бабочка все ниже и так близко вьется,
Что невольно сердце у артиста бьется.
Бабочка — не знаю, видела ль бедняжку
Или не видала, — только кушать кашку
Села — и, конечно, ничего не съела.
«Ах! — она сказала, — если б я умела
Так же петь отлично, как один известный
Всем артист-кузнечик! — Если бы небесный
Голос я имела, — как бы я запела!
О, как я бездарна! о, как я...» —
«Напрасно...» —
Перебил кузнечик. (Он влюбился страстно
В милую болтунью.)

Бабочка украдкой
На него взглянула:
«Ах, какой он гадкий!» —
Думает... Однакож улыбнулась мило,
Подняла свой носик и проговорила:
«Отчего ж напрасно?!» —
«Отчего!?» —
Смешался
Мой артист, однако рекомендовался.
«Очень, очень рада! — молвила кокетка
(Бабочки бывают без кокетства редко). —
Очень, очень рада! Звуки вашей скрипки
Часто долетают даже к нам под Липки».
Покраснел кузнечик, начал завираться,
Умоляя гостью чаще с ним видаться.
Бабочка вспорхнула и, не давши слова
Прилететь вторично, прилетела снова
И заговорила:
«Даже в свете знают,
Что большой вы гений, — все вас изучают...
Только я к вам с просьбой: сделайте такую
Божескую милость — напишите злую,
Злую эпиграмму на мою соседку,
Бабочку кокетку, что недавно в сетку
К мальчикам попалась и с крылом помятым
Ночью воротилась к братцам глуповатым.
Эти братцы также пребольшие фаты,
И воображают, что они богаты!
К эпиграмме можно сочинить любую
Музыку — такую, самую смешную».

Упорхнула гостья — а кузнечик бедный
Так был озадачен, что немой и бледный
Шел он, глядя в землю (так, видал я, в воду
Сунувшись, мальчишки ищут в речке броду),
Шел, повеся нос свой, чуть переступая
Длинными ногами и соображая:
Тьфу! Да как же это? — разве эпиграммы
Можно класть на ноты? Ах, как глупы дамы!
Шел он, шел, и бредил: то ему казалось,
Что она хитрила и над ним смеялась,

То воображал он, что Сильфида эта
Захотела только испытать поэта
И ему такую задала задачу,
Что хоть плачь!

«Однакож, что ж я время трачу! —
Думает кузнечик. — Разве не сумею
Я в смешном и жалком отразить идею».
И с таким решеньем за работу смело
Принялся он: мигом закипело дело —
И слова и звуки. Хоть и не бывал он
В обществе Жорж-Занда — вот что написал он:
«К мальчику под сетку бабочка попалась —
Краски полиняли, крылышко помялось.
Если враг лукавый расставляет сети,
Кто в них попадает? — попадают дети.
Боже! отчего же за поступок детский
Их казнит так страшно суд великосветский?»
Кончено! —
И начал сочинять он ноты;
И устал он, бедный, от такой работы.
Но любовь всесильна! Оставалось скликать
Прочих музыкантов — и начать пиликать.

И народу куча собралась на пробу;
Даже жук навозный, начинив утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рогатый,
Уши от простуды затыкая ватой,
За толпой туда же пробрался сторонкой, —
Ничего не понял, но заметил тонкий
Хвост у музыканта и бочком поплелся
Рассказать соседям, что-де он сошелся
С молодым маэстро, что-де он невзрачен,
Что его фигурой был он озадачен. . .
Черная козявка, та, что бьет баклуши
И весь день вертится, навострила уши;
Божия коровка всех перепугала:
От восторга ныла — ныла и упала
В обморок. . . Спасибо, муравей, с шнуровкой
Под жилетом модным — малый очень ловкий —
Дал ей спирт понюхать в маленьком флаконе.
Он встречал коровку у N. N. в салоне,

Где он появлялся, насурмивши бровки,
И, быть может, рад был услужить коровке.
Много было шуму: музыку хвалили,
Музыку бранили, спорили, судили. —
Бабочки ночные, в сереньких бурнусах,
В белых пелеринках и в гранатных бусах,
Просто побледнели от негодованья,
Раскусивши новой песни содержанье.
Но в тот день герой мой так уж был рассеян,
Что и не заметил, кем он был осмеян.

ПЕСНЬ 2

Эос поднимала алыми перстами
Темные покровы ночи — и местами
В небе загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно
Бормотала в роще, бормотала в поле.
Поцелуй сливался с ропотом неволи
Всюду, где лишь только брачные оковы
Гименея были ржавы и не новы.
Поцелуй был звонче, ропот был нежнее —
Там, где эти цепи были поновее.
Лишь один герой мой этой сладкой муки
Не вкушал и, верно, умер бы со скуки. . .
Рано он проснулся — но не до зевоты
Было музыканту: нужно было ноты
На листочках розы написать как можно
Лучше, тоньше, чище. — Тихо, осторожно
Перышком водил он. . . Сочинил виньетку,
Где изобразил он миртовую ветку —
Миртовую ветку, а над ней с крылами
Огненное сердце, с надписью стихами:
«Я неуловима; но не унывайте!
Обожгитесь прежде, а потом поймайте!»
Даровитый малый был артист мой — мило
Сочинил он эти два стиха; в них было
Столько такта, столько нежности игривой,
Что в наш век холодный и самолюбивый
Ни один кузнечик не найдет в них смысла
И, быть может, даже улыбнется кисло.

Для кого ж на этих розовых листочках
Мой герой всю душу в линиях и точках
Выражает, сердцем страстно пламенея? —
Для тебя, Сильфида, праздничная фея,
Цветников роскошных милая жилица!
Но откликнись, где ты? где твоя светлица?
Спишь ли ты? Быть может, всякие обновки
Бог-Морфей готовит для твоей головки.
Для Морфея нет ведь никаких таможен.
Для твоей головки всякий сон возможен —
Глупая головка!

Солнце поднимает
Из-за сосен шар свой. Сильно припекает
Жатву. Сладко пахнет в воздухе гречихой.
По ржаному полю утренничек тихий,
Ветерок, гуляя, ро́су отрясает,
Быть дождю иль вёдру — по росе гадает
И шуршит соломой, словно беспокоясь,
И ему колосья кланяются в пояс.
А лопух, высоко поднимая шишку
С веником, из листьев сделал точно крышку,
Так расположил их, что под их навесом
В жар всегда прохладно молодым повесам.
В сей харчевне много всяких насе́комых;
Но, на это время, никого знакомых.
Вот сидит кузнечик, но не наш кузнечик,
А другой, — и курит, точно человечек.
С нашим музыкантом он одной породы —
И скрипач, быть может, но не любит моды:
Лапками на шею повязал тряпицу,
В зубы взял сигару, да и корчит птицу.
Клопика заставить заплатить за водку,
Напоить козявку, осмеять коровку,
Муху одурачить, паука спровадить,
И при всем при этом с целым миром ладить
Был он мастерище. — Страстно обожал он
Нашего артиста; редко покидал он
Друга, даже пьяный; перед целым светом
Защищал — и часто наделял советом,
Ибо, хоть и редко брал он книги в руки,
Знал он «Твердо», «Слово» и не верил в «Буки».

Под лопух в харчевню рано он забился,
Потому что утром не шутя бранился.
Больно было другу — больно и досадно,
Глядя на артиста, видеть, как нескладно
Он проводит время, вечно задыхаясь
От бесплодной страсти и ни в чем не каясь.

Но пора вернуться к нашему герою!
Тот, кто болен сердцем, болен головою,
Так всегда бывает: тот не жди успеха,
Чье больное сердце голове помеха.
Бабочка гуляла — и кузнечик тоже
(Так и мы гуляли, бывши помоложе!);
Наконец, гуляя, встретились — и, ножки
Подогнув, кузнечик ей кивнул. — С дорожки
Бабочка, виляя, села на цветочек.
Он прыг-прыг — и рядом сел на бугорочек.
«Ах! — она сказала. — Я не ожидала!
Я вас за другого приняла сначала!
Вашу эпиграмму нам вчера достали:
Вы мою соседку мило оправдали.
На нее за это все напали вдвое...
(Насекомых племя — племя очень злое!)
Впрочем, ваши мысли так всегда игривы,
Так всегда̀ глубоки, так красноречивы
И так звуки сладки — точно земляника».
Лестное сравненье — было очень дико;
Но его артист мой даже не заметил —
И уж я не знаю, что́ он ей ответил.

«Ба! — его Сильфида громко перебила, —
Вы мне написали ноты?! Ах, как это мило!
Очень благодарна! очень благодарна!»
И она при этом тонко и коварно
Улыбнулась; глазки стали веселее,
Или — кто поймет их? — стали просто злее.
Помолчав немного, бабочка вздохнула
И сказала: «Поздно я вчера заснула...
У моей кузины я была на бале...
То-то б вы влюбились, если б увидали!
Впрочем, извините! — я вас утомила
Болтовней. Прощайте!»

И она сложила
Крылышки (так точно бабушкины внучки,
Гостю приседая, складывают ручки),
И по-над дорожкой, тихо ковыляя,
Словно листик ветром сорванный, мелькая
Белизною крыльев, понеслась Сильфида...

Скоро мой кузнечик потерял из вида
Полевую фею, подскакнул, вцепился
В усики ржаного колоса — и злился,
Что проклятый ветер колос нагибает,
Нагибая колос, видеть вдаль мешает...
В этом положеньи шмель его увидел
И нескромным словом прыгуна обидел.
Бедненький кузнечик тут же спохватился,
Растопырил фалды и в траву свалился.

ПЕСНЬ 3

На глазах с повязкой, стало быть слепая,
Едет где попало, день и ночь зевая,
Глупая Фортуна. Ею прихоть правит.
На одних наедет — колесом раздавит,
На других наткнется — вдруг начнет бросаться
Золотом, чтоб только поскорей умчаться,
Да забрызгать липкой грязью пешехода,
Да загнать в объятья красоты урода,
Или так, без пользы и не для примера,
Сдернуть мимоездом маску с лицемера.
Рыская по свету, этот идол света
Не имеет сердца. — Прихотница эта
Никого не любит; и когда бросает
Деньги, звезды, ленты — денег не считает;
Звезд сама не носит, лент не покупает;
И когда счастливо влюбит двух несчастных,
Их лица не видя, из речей их страстных
Верно заключает, что влюбиться значит:
И себя дурачить и других дурачить.
Так сама Фортуна, на глазах с повязкой,
Счастье в этом мире почитает сказкой.
Для такой богини целый мир — пустыня!

И не то, чтоб эта странная богиня
К нашему герою благосклонна стала:
Только улыбнулась и в него попала
Чем-то благовонным, проезжая мимо.

Здесь, поставив точку, мне необходимо
Вам сказать, что жертва тайного страданья,
Мой герой, кузнечик, получил посланье,
Спрыснутое амброй. Бабочка писала:
«Приходите: жду вас!» — Счастия немало
В себе заключало это выраженье —
«Приходите: жду вас!» Это приглашенье
Принял мой кузнечик с той надеждой темной,
При которой искра кажется огромной
Огненной звездою. Друг его, гуляка,
Принимал все к сердцу — много врал. Однако,
Если только слушать мы его захочем,
Говорил такие речи между прочим:
«Ты, брат, рассуждаешь глупо и постыдно!
Буду правду резать: где же это видно,
Чтоб сверчок. . .» —
«Кузнечик», — перебил кузнечик.
«Чтоб сверчок. . .» —
«Кузнечик», — перебил кузнечик.
«Ну хоть и кузнечик! — ну, положим даже,
Ты сверчка немного чище и поглаже
И немножко больше чувствуешь свободы —
Все ж ты, братец, с нею не одной породы.
Знаю я всех этих бабочек, бабошек!
Жить они не могут без цветных ветошек;
За женой бабошкой где ж тебе упрыгать?
Где ж тебе повсюду вслед за нею шмыгать?
В свете, где нередко всех умней — невежда,
На талант — плохая, братец мой, надежда». —

«Слава — вот надежда». —
«Экой, брат, ты, право!
Рассуди же здраво и пойми, что слава
У людей бывает; а у насекомых
Что такое слава? — болтовня знакомых.
Мы не лавры носим — носим побрякушки,
То есть наша слава просто — *финтифлюшки,*

Как сказал когда-то автор водевильный
Публике, пуская пузыречек мыльный».

Тут гуляка, видно утомившись спором,
Оглядел артиста мутно-строгим взором;
Выпил рюмку водки, пискнул, углубился
В созерцанье почвы и — угомонился.
Ну, и слава богу! Не до возражений
Было музыканту. Как упрямый гений,
Он с хлыстом, наместо беспокойной скрипки,
По меже зеленой поскакал под Липки.

Липки — это было нечто вроде парка:
В середине — прудик, а при въезде — арка
Из ветвей — такая, что была, бесспорно,
Чудом совершенства; так была просторна,
Что, вообразите, насекомых двести
В ряд могло бы въехать. Вы меня повесьте,
Если вру! Строитель, я и не скрываю,
Был — сама природа; только я не знаю,
Кто ей за работу заплатил; а впрочем,
Здесь мы о природе вовсе не хлопочем. . .
Так, чтоб журналисты нас не заклевали,
Признаюсь, что в доме бабочек едва ли
Описать возможно лестницу под желтым
Ковриком из моху, кое-где протертым;
Пасмурные сени, где с утра лакеи
Без сапог быть могут, но не без ливреи;
Залу, где гнилушки, точно сталактиты,
Облепив карнизы, зеленью повиты.
Мой один знакомый, архитектор русский,
Видел в этой зале черепок этрусский;
И, я живо помню, хвастал не краснея,
Как ему в той зале вдруг пришла идея
Украшать со вкусом барские покои,
Покрывая белой плесенью обои.
Впрочем, дом Сильфиды, если только строго
Придираться к стилю, смахивал немного
На дупло.

Кузнечик так был очарован,
Или так был сердцем наэлектризован,

Что дрожал и таял — молча ждал Сильфиды,
Подходил к окошку и глядел на виды.
А Сильфида с кем-то по саду порхала,
С милыми гостями весело болтала.
Гости эти были черви разных кличек
И в траве лежали в виде заковычек.
Чернокожий клопик, верно сын швейцарский,
Или внучек няни, крестничек боярский,
Доложил Сильфиде, что какой-то длинный
Господин изволит ждать ее в гостиной.

Приглашен герой мой; ему отвечали
На поклон улыбкой и пробормотали:
«Очень, очень рады!» Дамы оглядели
Всю его фигуру и едва сумели
Удержать свой хохот — только покосились
На мужчин; но черви не пошевелились,
Ибо ум их кто-то так ужасно сузил,
Что для них довольно бантик или узел
Галстуха заметить, чтоб на остальное
Не глядеть, и в гордом пребывать покое.
Поприще артиста к разным столкновеньям
Приучает душу; но к обыкновеньям
Милых насекомых высшего разряда
Не привык герой мой. Вдалеке от сада,
Беден, худ и бледен, с головы до пяток
На себе носил он поля отпечаток,
Поля, где лишь тучи подают свой голос,
Колосится жатва и серпа ждет колос.
Знаю, о кузнечик! как ты был отменно
Бабочкою принят. Ты себя надменно
Вел, как будто целый век торчал ты в свете,
С юных лет гуляя в собственной карете.
Но, скажи, в тот вечер, что с тобою сталось,
И каким безвестным чувством сердце сжалось,
И какие думы охватили жарко
Гениальный лоб твой, в час, когда из парка
Ты обратно в поле мчался через кочки?
Отвечать ли? .. или — мы поставим точки

. . . .

(Будто бы цензура выклевала строчки).

Но, злодей-кузнечик, что же ты ни слова
Не сказал гуляке в ночь, когда другого
Не имел ты друга, с кем бы поделиться
Снами, от которых часто плохо спится?
Ненавистник света, бабочек крылатых,
Гладеньких коровок и червей лохматых,
Он — едва вошел ты — вопросил сердито:
«Что, брат, был ли ужин? накормили сыто,
Или и понюхать не дали съестного?
Что, брат, как делишки? Все ли там здорово
И благополучно? Ты чему смеешься?
Эх-ма, ничего ты, братец, не дождешься». —
«Спи», — сказал кузнечик.
«Сплю», — сказал гуляка
И, взодравши кверху ноги из-под фрака,
Захрапел.

ПЕСНЬ 4

Уходя, день ясный плакал за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Из-за темной рощи обхватил край нивы.
Дню вослед глядела ночь — и переливы
Света отражались и дрожа блуждали
По ее ланитам. Тихо начинали
Выходить светила, месяца предтечи,
Перед божьим троном зажигая свечи.
Далеко стемнело море жатвы зыбкой.
Грустная береза обнялася с липкой.
Призатихла роща. Только дуб шушукал,
Только где-то дятел крепким носом тукал,
Только где-то струйки смутно лепетали,
Только роковые страсти не дремали,
Только насекомых мир неугомонный
Голосил немолчно в тишине бессонной.
Стрекотали мухи; комары трубили;
На своих скрипицах весело пилили,
Лихо зная ноты, стало быть без свечек,
Те, которых хором управлял кузнечик.

Впереди оркестра на своей скрипице
Громче всех пилил он в честь своей царицы.

Выходила замуж бабочки кузина,
И жених был славный с хоботком детина;
По уму, конечно, не был из проворных,
Но происходил он от червей отборных.
По словам невесты, он лишь был несносен
Тем, что без разбора запах старых сосен
Сравнивал с весенним запахом фиалок,
Уважал шиповник и боялся галок.
Но какое дело нам до этих вздоров.

Бал великолепный! Звуки льются с хоров;
Шпанских мух десятки в золотых ливреях
Курят ароматы в сумрачных аллеях.
Светляки, подобно шкаликам и плошкам,
Вспыхивая, блещут вдоль по всем дорожкам.
Копошатся гости. В месячном сиянье
Бабочки порхают в бальном одеянье.
Стрекоза, сцепившись с стрекозой, несется.
Пестрый вихорь вальса шелестит и вьется.
Жужелицы ходят около буфета;
Ползают козявки... И большого света
Жесткие особы — божии коровки
Собрались друг другу показать обновки.
Молча, подбираясь к двум зеленым мухам,
Два жучка каких-то выступают брюхом
На коротких ножках. Муравей, с шнуровкой
Под жилетом модным, с желтенькой коровкой
Важно и небрежно, приседая, пляшет.
Резвая Сильфида крылышками машет;
Глазки, носик, ножки, платьица узоры —
Все в ней поневоле привлекает взоры.
Мой артист кузнечик и душой пылает,
И очей не сводит, и как черт играет.
По ее же просьбе, сердцем неизменный,
Сочинил он этот танец вдохновенный,
Танец, под который скачут и поныне
Стаи насекомых на любой куртине
Вашего же сада, если, о читатель!
Сад иль хоть садишко дал тебе создатель.

Но и насекомых бал не обошелся
Без скандала: в парке, говорят, нашелся

Злой паук, который, с веточки на ветку
Протянувши нити, невидимку-сетку
Сделал так канальски-ловко и искусно,
Что тайком, быть может, и покушал вкусно.
Говорят — вдобавок шлепнулась коровка,
И у ней от страха лопнула шнуровка.
Сам артист заметил, как его Сильфиду
Паучок какой-то, пренаивный с виду,
За крыло задевши чем-то вроде петли,
Притянуть старался, и глядел уж — нет ли
Где такого места в этом чудном саде,
Чтоб минут хоть десять провести в прохладе,
В тишине, в уюте, дальше от волненья. . .
Но артист ревнивый понял ухищренье,
Подскочил и порвал роковые нити.
Паучок надулся; а комар: «Смотрите, —
Пропищал артисту, — как вы замарались,
Точно в неприличном месте обретались!»
Покраснел кузнечик: видит — паутина
К рукаву прилипла.
«Экая скотина!» —
Проворчал и вытер. Бабочка ни слова
Не сказала, только выбрала другого
В танцах кавалера: кавалер крылатый
Был ее соседки братец глуповатый.

«Правда ли, — спросил он, — слух идет из нивы,
Будто бы в маэстро страстно влюблены вы?
Будто бы кузнечик говорил, что хочет
Он на вас жениться — и о том хлопочет?» —
«Что вы говорите? — молвила Сильфида, —
Мой жених — кузнечик! Какова обида!
Кто такие в свете распускает слухи?
Или эту глупость выдумали мухи!» —
«Нет, совсем не мухи-с! Кто-то из оркестра
Говорил, что будто слышал от маэстро».

Фея над собою сделала усилье,
Чтоб не рассердиться, — и, встряхнувши крылья,
Бросила холодный взгляд на музыканта,
А когда кричали в честь его таланта:

«Браво! фора! фора!» — делала гримаски,
Или улыбалась, опуская глазки.

Бал под темным небом длился до рассвета.
Бабочка устала. — Вдруг за рощей где-то
Соловей защелкал.
Ей тогда сказали
(Можно ли без лести обойтись на бале!),
Ей сказали: «Фея! прекратите танец,
Слышите ли пенье? — это иностранец,
Соловей пролетный, вздумал серенаду
Вам давать».
И точно, по всему-то саду
Рассыпались звуки, страстно замирая
В бесконечных трелях. Бабочка, внимая
Соловью, мечтала.
В это время сзади
Подошел кузнечик.
«Фея! Бога ради!..
Что вы так печальны?..» —
«Ах! — она сказала, —
Вы мне помешали... Я воображала,
Что таланты наших не всегда приличных
Скакунов достойны тех певцов столичных,
Имена которых славны за границей.
Боги! отчего я рождена не птицей!
Будь я птицей... Впрочем, если захочу я
Соловья послушать, завтра ж полечу я...» —

«О!» — сказал кузнечик...
«Жалкий музыкантик! —
Прошептала Фея, пощипавши бантик
На своем корсаже, — разве я не знаю...» —
«О, — сказал кузнечик, — я не понимаю,
Что́ вы говорите. Соловьи опасны,
И к тому ж, положим, песни их прекрасны —
Все же не в народном духе».
Засмеялась
Бальная царица — и, как тень, умчалась.

Бедненький кузнечик тут же нос повесил
И один остался, бледен и невесел.

Вот упала слезка на листочек влажный,
С ветерком промчался чей-то вздох протяжный,
Словно колокольчик звякнул в отдаленье. . .
Ничего герой мой не слыхал: презренье
Было слишком явно. . . И глядел он мутно
В темный лес, откуда, сладко раздражая
Благовонный воздух и не умолкая,
Соловьиных песен раздавались трели,
И шептал он: «Боги, боги! неужели?
Что ж это такое? Отчего же это? . .
Или для поэта миновало лето? —
Пойте, пойте, птицы!» Но сердца больные
Врачевать не могут песни не родные.

ПЕСНЬ 5

Плачь, родная Муза! Затяни ты песню:
Не о том, как «ходит молодец на Пресню»,
Не о том, как «пряха пряла — не ленилась»,
Не о том, как «Волга матушка катилась», —
Спой нам песню так, чтоб туча разразилась
Над широкой нивой, чтоб дождем шумящим
Пробежала сила по листам дрожащим,
Чтоб червей, враждебных зелени и лету
Ненавистных, падких к завязи и цвету,
Смыло, разнесло бы по крутым оврагам!
Туча дождевая, будь ты нашим благом!
Поднимая ветер, оборви ты сети
Паука с крестами, что гордится в свете
Тем, что иссушил он множество народу,
Из души и сердца высосав свободу!
Бабочкам грозою опали ты крылья,
Чтоб хоть их за это снова полюбил я! —

Так стонал кузнечик под наитьем бурной
И мятежной думы. А над ним лазурный
Василек качался, наливался колос
И, жужжа, знакомый проносился голос:
«Слышишь ли ты грома дальние раскаты?
Погляди на тучки, что без крыл крылаты,
Мрачны без печали, без улыбки ясны,
Как гроза могучи, как туман бесстрастны!»

Проносился голос, но в душе артиста
Раздавалось что-то вроде злого свиста.
Оскорбленный светом, огорченный балом,
Не на шутку мрачным стал он либералом.

В этом месте надо, в виде объясненья,
Маленькое к Липкам сделать отступленье.
Бабочка, герою изменив, сначала
За его нескромность уколоть желала;
А потом — головка, видно, закружилась —
И она не в шутку в соловья влюбилась.
Иностранец этот в мире насекомых,
Говорят, был дерзок и клевал знакомых.
Отомстить любовью этой чудной птице,
Приковать к победной своей колеснице,
Песни и посланья сочинять заставить
И, быть может, в свете тем себя прославить:
Вот что замышляла ветреная фея.
К нашему ж герою, просто, не краснея
И не церемонясь, клопика послала
И *«блоходарю* вас» ему написала.
Эта *«блоходарность»,* вместо «благодарность»,
Пуще огорчила моего героя.
А гуляка страшно хохотал и, строя
Разные гримасы, говорил, что блохи
Более полезны, чем пустые вздохи.

Может быть, артист наш, раз отдавшись снова
Музам, позабыл бы, как любовь сурово
Обошлась с ним, то есть: позабыл бы эту
Ветреную фею; к будущему лету
Сочинил бы кучу гимнов и сонетов,
Был бы снова счастлив счастием поэтов,
Сел бы на соломку, чтоб во славу ночи
На своей скрипице пилить что есть мочи;
Но, к его несчастью, вдруг распространилась
Весть, что будто что-то с бабочкой случилось:
Говорили, будто бабочка бежала,
Бабочка погибла, бабочка пропала.
Прямо шли из парка эти злые слухи,
Стало быть не врали комары и мухи:
Была вероятность!

Долго этим слухам
Мой артист не верил. Вдруг, как бы обухом
Кто-нибудь героя съездил прямо в ухо,
Он поверил разом в достоверность слуха;
Только что успел он всех предать проклятью,
Получил пакетик с маленькой печатью.
Вот письмо:
«Вы были к нам неравнодушны —
Если правда, будьте хоть любви послушны:
Поищите нашу милую Сильфиду
И ее не дайте соловью в обиду.
Кто вам это пишет, сами угадайте.
Если ж будут вести, в Липки передайте».
Прочитав такое странное посланье,
Он в припадке страсти и негодованья
Начал просто хныкать... хныкал, долго хныкал!
(Эдакое горе он себе накликал!)
Приближался вечер. — К счастию, гуляка
Был в харчевне, клюкнул и, краснее рака,
Постучался к другу. Он расставил ноги,
Увидавши слезы и следы тревоги
На лице артиста.
«Ба! Какие страсти!
Выпей, братец, клюкни! — будешь нашей масти! —
Возгласил гуляка. — Плюнь ты на Сильфиду —
И тебя не дам я никому в обиду». —
«Бедная Сильфида, что́ с ней? — не без писку
Отвечал кузнечик, — на! прочти записку». —
«Ничего не вижу!» — пробурчал гуляка,
Ибо он недаром был краснее рака.
Тут ему кузнечик рассказал, в чем дело,
И они решились в путь пуститься смело.
Мой герой готов был с соловьем хоть драться,
А гуляка вышел просто поразмяться.

ПЕСНЬ 6

Вечер был ненастный. Квакали лягушки;
Под налетом ветра зыбкие верхушки
Жатвы колыхались, словно волны; капал
Тихий дождь — и где-то пе́репел вавакал;
Паучки свернулись; пораскисли мушки;

Комары притихли.
Около опушки
Леса наш кузнечик шел сам-друг с гулякой.
«Слушай-ка, приятель! надо бы на всякой
Случай запастись нам фонарем», — шагая,
Говорил гуляка. Но, не возражая
На совет, кузнечик приостановился:
С ветром из тумана к нему доносился
Звук ему знакомый: два степных артиста
На дрянных скрипицах хрипло и нечисто
Выводили нотки... беспрестанно эти
Нотки обрывались.
«Ты имей в предмете, —
Продолжал гуляка, — что впотьмах наткнуться
Можно на лягушку, или кувыркнуться.
Гей! — он свистнул. — Кто там? — и, под подорожник
Заглянувши, крикнул: — Ну-ка, ты, пирожник,
Выходи!»
И вышел таракашек, смуглый,
Как медовый пряник, и, как булка, круглый.
«Что вам надо?» —
«Где тут к светляку дорога?» —
«Дальше, барин, дальше! поправей немного,
Там, под божьей травкой, две еловых шишки,
Там спросите... Жаль, вот, спят мои мальчишки». —
«Э! — сказал гуляка, — мы идем не свищем,
А к еловым шишкам сами путь отыщем». —
«Дали бы на водку, я пошел бы с вами». —
«Не ходи, любезный!» — шевеля усами,
Возразил гуляка.
«Больно ночь муруга!» —
«Ну, не ври, любезный!»

И пошли два друга
К двум еловым шишкам. Стук-стук! — «Отворяй-ка
Двери!» —
«Кто там?» —
«Леший!» —
«Кто там?» —
«Вылезай-ка!»
И светляк с разбитым фонарем пустился
В лес казать дорогу. Клялся и божился,

Что совсем не знает, где там обитает
Соловей, что нужно, если кто желает
Знать его *фатеру,* допросить у Розы.
«Я, — сказал гуляка, — у такой занозы
Спрашивать не стану: и глупа ужасно,
И молчит, как рыба, и небезопасна». —
«Ну, так хоть улитку допросите». —
«Враки!
Ты совсем не знаешь, где зимуют раки.
Надо втихомолку пробираться влево,
К муравьиным кучам, дальше от посева».
Вдруг гуляки голос превратился в шепот:
В темноте раздался чей-то резвый топот,
В куст через дорогу проскакала мышка.
У гуляки тотчас началась одышка:
Он маленько струсил. Впрочем, от испуга
Скоро он очнулся, догоняя друга.

Ветер унимался, и луна в сквозные
Своды темной рощи словно золотые
Струны протянула. Мшистые коренья
Просияли, словно дожидаясь пенья.
И, о чудо! в дебрях вдруг раздался голос
Соловья — и дрогнул мой артист, и волос
Дыбом на макушке стал от ощущенья
Страха и тревоги, гнева и смятенья.

«Вот он! вот!» — шепнул он, притаив дыханье.
«Что это за пенье? Просто рокотанье, —
Тут ему заметил друг его гуляка, —
Все в одних руладах, все в одних. . .» —
«Однако, —
Возразил герой мой, — не бранись напрасно!
Плут едва ли может петь так сладкогласно».

«Что вы тут? Зачем вы?» — харю выставляя
Из норы, спросила их оса лесная.
«Эх, оса голубка! что ты смотришь волком:
Мы не лиходеи, — отвечай нам толком:
Вышли мы на поиск. . .» И кузнечик смело
Выглянувшей харе объяснил, в чем дело.

«Нешто я не знаю, как она вертелась, —
Запищала харя, — пофиньтить хотелось...
Этому никак уж третий день, как минул...
Соловей-то клюнул, да потом и кинул.
Ползала бедняжка, ползала немало;
Если в муравейник сдуру не попала,
Где-нибудь у наших червяков спросите...
Я ж оса — и только, — ну и не взыщите!» —
С этим словом, как-то скорчась, опустилась
Харя эта в норку и в подвале скрылась.
«Так бы вот и съездил я по этой харе, —
Проворчал гуляка, — если б был в ударе».
Но артист-кузнечик горестным рассказом
Так был отуманен, что, казалось, разум
Потерял... И долго сладостные трели
Соловья так смутно для него звенели,
Как звенит порою в час ночной метели,
Глухо замирая, колокольчик дальный
В глубине пустыни снежной и печальной.

ПЕСНЬ 7

Долго, до полночи прыгуны блуждали,
Наконец на свежий след они напали.
Светлячок вертелся подле них недаром,
И Диана, тучку золотым пожаром
Охватив, недаром отклоняла ветки
И кой-где чертила яркие отметки;
Для моих героев бледный луч богини
Путеводным светом был среди пустыни.
Там, неподалёку спеющей брусники,
Под корнями красной полевой гвоздики,
Одиноким трупом бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала
И, казалось, лежа небесам молилась,
Вся окоченела, но не изменилась:
Тот же сохранился очерк милый, нежный,
Тою же сияли белизною снежной
Матовые крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Как алмаз, блестела около ресницы,
И как бархат были темные косицы.

Мертвая казалась сонной; но чернела
Маленькая ранка... Молча возле тела
Постоял кузнечик, сердцем надрываясь.
Молча с огонечком к трупу наклоняясь,
Светлячок, как будто сильно пораженный
Небывалым чудом, жмурился, как сонный.
У гуляки тоже хмель прошел. Сурово
Он глядел, и то, что видел, было ново
Для него. Он понял, что была б тут шутка
Вовсе неприлична. Даже как-то жутко
Становилось сердцу вечного гуляки,
Даже покривилась рожа забияки,
Потому что был он добрая скотинка.
Видя, как у мертвой на лице слезинка
Неподвижно светлой капелькой стояла,
Он шептал: «Бабошка! — Ты отпировала!
Так и мы у смерти дни свои воруем;
Попадемся с кражей — да и отпируем!»
Впрочем, мой гуляка был такого сорту,
Что свое унынье вмиг отправил к черту
И, толкнув артиста, молвил: «Ну, конечно,
Жаль, да ведь нельзя же горевать нам вечно!
Сделаем носилки, и ее прилично
Отнесем под Липки. Все пойдет отлично.
Только ты напрасно, брат, не надрывайся,
Сил не трать и плакать после постарайся».
Сделали носилки, положили тело,
Подняли и долго поступью несмелой
Шли они по травкам, шли они по кочкам.
Впереди, мелькая ярким огонечком,
Шел светляк — и сотни разных насекомых,
Нашему артисту вовсе незнакомых,
Шумно просыпались в перелеске темном.
«А! ба! кто там? что там?» — слышалося в сонном
Царстве. Вдруг во мраке жалкий писк раздался:
Муравей какой-то под ноги попался
Нашему гуляке — он его и тиснул.
Вслед за этим визгом — в роще кто-то свистнул.
Комары, проснувшись и поднявшись роем,
Затрубили в трубы, точно перед боем,
Но слетевшись кучей и увидев тело,
Взяли тоном ниже (поняли, в чем дело...)

И, трубя плачевно, в расстояньи дальном
Огласили воздух маршем погребальным.
К светляку другие светляки пристали:
Свечи их то гасли, то опять мелькали.
С жалобным жужжаньем поднимались мухи
И, жужжа, друг другу поверяли слухи.
Бабочка — Сильфиды прежняя подруга —
Высунула носик, бледная с испуга,
И потом, спустившись по листочкам, села
На холодный камень и — оцепенела.
Предрассветный ветер, невидимкой вея,
Думал, что воскреснет молодая фея:
Шевелил у мертвой легкими крылами,
И дышал в лицо ей влажными устами,
И потом далеким проносился стоном,
И по всем тропинкам отдавался звоном,
Чашечки лиловых цветиков качая.
И роса, как слезы, холодно сверкая,
Медленно стекала с усиков цветущей
Повилики, робко по стволам ползущей;
И благоухали тысячи растений;
И сквозь дым деревья в виде привидений
Головой кивали. — Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая, —
И когда все стало ясно от улыбки
Пламенной богини, принесли под Липки
Мертвую Сильфиду — там ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.
И когда над этой новою могилой
Думал злую думу мой артист унылый,
В жарких искрах солнца за лесной куртиной
Звучно раздавался рокот соловьиный.

В КОНЦЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

(Из поэмы «Братья»)

МЕЧТЫ И ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ

Для юношей-художников все мило —
И розы и крапива; все они
Мечтатели, и сердцу их постыло
Все, что влечет к расчету в наши дни;
Случайными удачами богаты,
Они беспечны, горды, простоваты,
То ненавидят всех, то любят всех,
То с грустью смотрят на чужой успех,
То восторгаются. Есть исключенья, —
Но мой Игнат отчасти был таков:
То изнывал без веры в провиденье,
То в чудеса поверить был готов.

Порой не выносил он блеска, шума,
Порой балы в собраньях посещал,
Но и тогда томительная дума
Его не покидала: он блуждал
Рассеянно, на ветреные речи
Не отвечал; казалось, новой встречи
Искал глазами; но чего хотел?
Чего искал? — сказать бы не сумел, —
Быть может, взгляда, полного вниманья,
Быть может, лучезарной красоты,
Достойной клятв, мольбы и обожанья,
Быть может, воплощения мечты —

Возвышенной мечты, ему неясной.
Никем любим он не был, несмотря
На то, что юности его, опасной
Для юных дев, румяная заря
Сияла пробуждающим рассветом.
В Москве никто ни лаской, ни приветом
Его немой тоски не разогнал.
Недаром он мечтой перелетал
На дальний юг, за снежные вершины:
«Там, — думал он, — монументальный Рим,
И лавры, и фонтаны, и руины,
И, — бредил он, — там буду я любим. . .

Там кисть Брюллова молнии с вулкана
Похитила, там Гоголь создавал
Нам типы мертвых душ, там Иоанна
Крестителя Иванов созерцал. . .
Там, — думал он, — источник вдохновенья. . .
Туда, туда! Создатель, дай терпенья!
Не выношу я жизни мелочной,
Холодной, грязной, вялой и тупой».
И вот уже отъезд его назначен,
И вот уж брат зовет его кутить.
Игнат мой рад, взволнован, озадачен,
На все готов, всем хочет угодить.

Кутить в Москве неловко показалось
По случаю великопостных дней,
И за город, по их следам, помчалось
Семь троек, семь ямских больших саней.
Минуя Триумфальные ворота,
Летит стремглав веселая забота,
И ночь, и вихрь навстречу ей летят,
На хомутах бубенчики звенят;
Разбрасывая снег, стучат подковы,
Под шапками торчат воротники,
И слышен смех и говор: «Что вы! что вы
Шалите!» — и в ногах лежат кульки.

Ночь белая на них сквозь сон глядела,
При лунном свете падала метель,

И у Игната (видно, кровь кипела)
Распахивалась теплая шинель.
Вот дача: в зале музыка играет,
Нетоплен зал, но это помогает
Гостям резвее быть, вину пьяней.
Всех впереди шумит Алеша: Гей!
И множество свечей (местами сальных)
По ломберным столам кругом зажглось,
И, внемля завыванью скрипок бальных,
Слетели с дам салопы: началось!

Тут были две цыганки, две сестрицы,
И Даша, первой молодости цвет,
И Палагея, прямо из больницы
Махнувшая к Алеше на банкет;
Тут доктор медицины был с гитарой
На алой ленте; тут, гуляя с парой
Румяных граций, толстый казначей
Забыл, что он трех взрослых дочерей
Плешивый папенька; тут полицейский
Какой-то шляпку женскую надел;
Студент орал: «Быть иль не быть!», армейский
Корнет играл Офелию и пел...

Все было глупо, шумно и беспечно;
Игнат был в этом мире новичок;
Он, может быть, и тронут был сердечно,
Но предпочел забраться в уголок;
То улыбался он, то брови хмурил,
Какой-то балагур с ним балагурил,
Какой-то литератор под хмельком
Ему шептал с таинственным лицом:
«Ты гений, гений! Верь ты мне, все шансы
На стороне успеха — будем пить...»
Распущенность! в тебе есть диссонансы,
И музыкой их вряд ли заглушить,

И трезвая душа их чутко слышит,
И хочется заплакать ей, когда
Хрипливый смех в лицо ей спиртом дышит
Или разврат, под маскою стыда,
Старается в любви ее уверить.

Как юноша, не мог он лицемерить.
Чтоб позабыться, лишнее он пил
И все-таки был видимо уныл.
Уже пред ним за бешеным канканом
Последовал трепак — гудел, дрожал
Паркетный пол. В азарте полупьяном
Иной плясал, иной рукоплескал.

И под шумок в ту залу проскользнула
Неведомая гостья; на нее
Одна лишь Даша искоса взглянула
И мысленно спросила: «Это чье
Сокровище явилось?»... Гостья, вея
Ночною влагой, как ночная фея,
Попавшая к сатирам на банкет,
Дрожала, и немудрено: паркет
Гудел, трещал, Алеша мчался, топал,
И развевались волосы его,
И «Браво! Браво!» каждый выл и хлопал,
Лишь брат молчал, любуясь на него.

А гостья шла, и зимней ночи холод
Лежал румянцем на ее лице;
Румянец этот был, как утро, молод
И свеж, как роза в свадебном венце;
Прильнувшие к ее кудрям снежинки
Растаяли в алмазы; до косынки,
До самых плеч ее, со всех сторон
Спадали кудри, русые, как лен;
Ее глаза не изменяли цвета —
И при свечах ясна была лазурь,
Лазурь, напоминающая лето
В дни жаркие без пыли и без бурь.

В лиловом платье, с лентой над пробором,
В надорванных перчатках, шла она,
Скользя по лицам неспокойным взором,
И постепенно делалась бледна.
Ее никто не знал; но что за дело
До незнакомых граций там, где смело,
Без всяких рассуждений, всякий мог
Девицу пригласить на вечерок?

В ее чуть подвижных и тонких бровках
Чуть-чуть сквозила... (как бы это вам
Сказать?..) та смелость, что в иных плутовках
Так нравится печальным острякам.

В ней было артистическое что-то,
Какою-то умильной простотой
Прикрытое кокетство иль забота
Владеть другими так же, как собой.
Она была или актриса, или
Одна из тех, которых вы любили
С бессовестной надеждой на успех,
Толкали в грязь и золотили грех
Наследственный наследственным карманом.
Что привело ее на сей банкет?
Боязнь найти измену в друге пьяном,
Иль жажда веселиться в двадцать лет?

Игнат не мог не обратить вниманья
На эту гостью. Никого она
Не поражала; но очарованья
Невыразимого была полна.
Она его пронзила томным взглядом,
Прошла, сняла перчатку, села рядом,
С усильем не глядела на него,
Задумалась — бог знает отчего, —
С Алешей, кажется, переглянулась;
Тот молча отошел, шепнул двум-трем:
Студент вздохнул, цыганка улыбнулась,
И гости их оставили вдвоем.

Кто с кем заговорил, уж я не знаю.
Кокетливый, но скромный разговор
На прозу я легко перелагаю;
Но как поймать в размер невинный вздор!
Их разговор, однакоже, по счастью,
Стал понемногу проникаться страстью.
К его плечу припавши головой,
Как голубок к стене ему родной,
Она его о чем-то умоляла.
Он долго, долго отвечать не мог;

Но все больней, в чаду и в шуме зала,
Звучал ее певучий голосок.

«Глазам не верю: господи! ужели
Все это бред и больше ничего!..»
И слушал он, ему над ухом пели:
«А помнишь, помнишь, мимо моего
Окна ты шел и я тебе кивала!» —
«Окна! какого?» — «Помнишь, я гуляла
С тобой по маскараду и любить
Клялась...» — «Когда?» — хотел ее спросить
Игнатий; но тревожный ум терялся,
И замирал в устах его вопрос:
Позвали к ужину — он отказался,
И брат ему шампанское принес.

Шампанское! ты страсти убиваешь
У гастронома да у старика,
Но в юности ты пламя раздуваешь
И делаешь пожар из огонька.
Игнат мой пьет и чокается с нею,
И ей клянется, и зовет своею
Возлюбленной, душой души своей,
И плачет, и целует руки ей,
Благодарит ее — весь пыл и трепет, —
За что?! За то, что в жизни в первый раз
Его души коснулся страсти лепет.
Заря любви ужели занялась,

И занялась пред самою разлукой?!
Все, все, о чем безумно он мечтал,
Ужель окончится безумной мукой?
Уж гаснут свечи, бледен дымный зал,
Зари играют золотые струйки
По отпотевшим стеклам; шубы, чуйки,
Салопы разбираются гостьми...
Чу! Тройки скачут. «Где же, черт возьми,
Мои калоши?» — слышен голос сонный.
«Прощай, Игнат!» — И стоя на крыльце,
Как призрак бледный, как дитя влюбленный,
Он утирает слезы на лице.

Стоит с открытой грудью... «Улетела!
И я — не полетел за ней вослед!
Влюблен, люблю, — и никому нет дела!
Любим, — и никакой надежды нет!
Разлуки ночь — в ночь первого свиданья!
За что, за что такое наказанье!»
Алеша мог утешить бы его,
Но сам глядел на брата своего,
Как сильно пьяный, мутными глазами,
И будь он трезв — кто знает? может быть,
Успел бы он двумя-тремя словами
Все рассказать и бездну обнажить...

Уж по снегам, следам ночной метели,
Давно струилась розовая мгла,
Вдали кресты церквей, как пламя, рдели,
И разносили звон колокола.
Они поехали... домой, конечно;
Веселие, как ночь, недолговечно,
Пора им выветрить хмельной угар,
Их дома ждет прислуга, самовар
И чемоданы. Но никто не знает
Своей судьбы, встречая новый день,
И если счастье впереди сияет,
Несчастье следом гонится, как тень.

Навстречу нашим братьям, просыпаясь,
Встает Москва. Их пошевни летят,
Летят. То упираясь, то качаясь,
«Валяй!» — кричит спросонья старший брат.
Игнатий свеж, но нравственно измучен,
Его картуз сердито нахлобучен.
Вот брата обнял он одной рукой
И мысленно прощается с Москвой;
Вот он глядит вдоль серого забора
И видит угол дома своего, —
Но из Москвы он вырвется нескоро,
И дилижанс укатит без него...

Вот (помнил он), визжа, хвостом виляет
Барбоска; няня старая седой
Головушкой с любовью припадает

К его плечу: «Эх ты, кормилец мой,
Всю ночь ждала... Беспутная башка-то,
Как нализался! .. Господи! когда-то
Увижусь я с тобой, дитя мое!
Забудешь, чай! А я твое белье
И платье уложила — все сдается:
И не увидимся — ох-хо, хо-хо!»
Но из Москвы нескоро он урвется,
И дилижанс укатит без него...

МАЛЕНЬКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

Игнат Москву, конечно, бы покинул —
И, так сказать, уж парус поднят был, —
Как вдруг его ладью шквал на мель кинул
И темною волною окатил.
Игнат уже к отъезду уложился,
Рассеянно на образ помолился,
В последний раз облобызал отца,
Уж ждал его извозчик у крыльца,
Алеша провожать его сбирался
И освежал водой свой сонный лик,
Как вдруг, в передней, сабли стук раздался,
И замелькал жандармский воротник.

И свой арест Игнат мой помнит живо;
Но за него я должен вам сказать,
Что в оны дни никто б не счел за диво,
Что вздумали его арестовать.
То было время — время роковое:
За старый строй, за право крепостное
Дрожа, одни представили себе,
Что на Козихе, или на Трубе,
Того гляди, затеют баррикады;
Других смутил осиротевший трон
Луи-Филиппа. Слухи и тирады
Газетные встревожили наш сон.

Париж кипел, народы волновались,
Одни лишь мы, вне всяких бурь и гроз,

И мыслями и чувствами сливались
Как бы в один бестрепетный колосс.
Святая Русь ни бури той, ни воя
Не слушала, спиной к Европе стоя.
(Не все читал в газетах высший свет,
Народ же вовсе не читал газет.)
И, вдохновясь бестрепетным колоссом,
Не ради рифм, не ради звучных строф,
Тогда поэт сравнил его с утесом
На рубеже бушующих валов.[1]

Поэта бред был многими проверен
С тем, что другие видят наяву;
Утес, как мощный образ, так был верен,
Что умилял и радовал Москву.
(В одном лишь клубе кто-то очень тихо
Заметил: «Рад, что вздули́ Меттерниха»,
Но и такой антиавстрийский дух
В те дни не смел бы радоваться вслух.)
И все-таки нашлись и повлияли
На все дела такие мудрецы,
Что наш колосс от комаров спасали
(То были всё отечества отцы).

Был глупый случай (кой-кому желанный).
В одной кофейной кто-то кофе пил
И на полях газеты иностранной
Карандашом три слова начертил
Весьма непозволительного свойства:
В порыве легковерного геройства
Он пожелал, безумец, чтоб Москва
Вдруг сделалась Парижем! Какова
История! В Париже воем воет
Не шквал, а ураган; разбит компас,
Оторван руль; а он гримасу строит
И что же пишет? «Жаль, что не у нас».

И этот кто-то — какова отвага! —
Как и другие, вышел из дверей;

---

[1] Но огненный змей преломил свое жало,
И весь невредимый грохочет утес.
Бенедиктов

Но так как беспардонная бумага
Выносит все, что ни пиши на ней,
Не он попался, а она попалась —
И — караул! — начальство заметалось —
Пошло писать! — погром и суета! —
Курьеры скачут! Мигом заперта
Кофейня. (Ставни, болты и печати...)
И сам кондитер — где тут рассуждать! —
Ужасно струсил; рад, как благодати,
Что подали надежду взятку взять.

Искали долго — не нашли писаки;
Но тот, кто в это утро кофе пил
В кондитерской, записан в забияки,
И даже тот подозреваем был,
Кто карандаш с собой носил в кармане;
Какого-то враля поймали в бане.
Москва разахалась, — и наш Игнат
Попал не в дилижанс, а в каземат.
В то утро, как свершилось *преступленье,*
Он — донесли — кофейню посещал,
Купил себе какого-то варенья
И, уходя, кондитеру сказал:

«Я еду в Рим, у вас родных там нет ли?
Я отвезу, пожалуй, коробок».
Из этих слов сплели такие петли,
Что мой герой, как чиж, попал в силок.
Его в кофейной знали как артиста
И не могли принять за афериста,
И, стало быть, смекнули, что при нем
Был карандаш с готовым острием.
Кого ж и взять?
                    Игнатий растерялся,
Клялся, божился, честью уверял,
Ну, словом, как преступник, запирался,
Но тайный суд его не выпускал.

Пока Алеша по Москве метался,
Расспрашивал, куда девался брат,
Да в разных канцеляриях справлялся,

Да кланялся властям — увы! Игнат,
Не уличенный, но приговоренный,
Лишь мог в окно глядеть на двор казенный,
На стойло для курьерских лошадей,
На караульню, да на голубей,
Слетавших с кровли на помост дощатый...
Мог от порога до стола шагать,
Мог, наконец, к подушке на примятый
Матрац прилечь, да с горя задремать.

Вот все, что мог на первый раз Игнатий!
Судьбу свою он проклинал иль нет, —
Не знаю, не слыхал его проклятий;
Но не без ужаса на божий свет
Взглянул Игнат. Москву возненавидел,
Был раздражен, суду конца не видел,
Просил пера, чернил, хотел писать...
Боялся свой рассудок потерять...
Подняв окно, протягивал он руки
На вольный воздух и не раз сжимал
Холодную решетку, словно муки
Своей души железу поверял.

Он испытал допросы, рук сличенья
И ласки те, в которых слышен был
Намек и на возможность снисхожденья
И на возможность петли. Он забыл
Все это. Так мы часто забываем
Наш кошемар, когда встаем и знаем,
Что незачем трудиться объяснять,
Как это мы не в силах были встать,
Придавленные призраком к постели;
Но помнил он, как пламенно ждала
Его душа свободы, как летели
Часы и дни, как наконец пришла

Ночь светлого Христова воскресенья.
В Кремле Иван Великий загудел.
Игнат не спал — смирял свои сомненья,
Молился; но все тот же мрак глядел
Из-за решеток в мутные окошки;
Казенный двор не озаряли плошки;

Торжественно лился полночный звон,
И долго, долго лежа слушал он,
Как колебались эти волны гула.
И в то же время слушал, как прошли
Солдатики на смену караула —
То были звуки неба и земли...

Прошла святая, наступило лето,
И стал он чувствовать, что за окном
Железная решетка разогрета
Уже не им, а солнечным лучом.
А дело шло, неслышно разъяснялось,
И узнику, должно быть, улыбалось...
Ему позволили читать, писать
И от родных посылки получать.
Записки от Алеши присылались
Не иначе, как в нитяных носках,
Они его сердечных тайн касались,
И он читал их не при сторожах.

Впервые был он откровенен с братом
И «кто *она*?» в письме его спросил.
Увы! Злой рок смеялся над Игнатом,
Мечтателя он в нем не пощадил.
Брат отвечал, и вот что, между прочим,
Писал ему:
«Мы о тебе хлопочем,
Отец угрюм, я трачусь — толку нет;
Но ты желаешь знать, кто твой *предмет*?
Ты это от меня сейчас узнаешь...
Затеявши пикник, чтоб покутить,
Смекнул я, что ты в карты не играешь,
Бракуешь граций и не мастер пить.

Итак, чтоб не заснул ты на прощанье,
Я для тебя Раису пригласил —
Погибшее, но милое созданье,
Которое когда-то я любил.
В своем кругу она аристократка,
Затеи любит и не без задатка
Быть некогда принцессой; ибо в ней
Сидит бесенок и толкует ей

С утра до вечера, как нарядиться:
Роскошно или бедно, что сказать,
С кем пококетничать, в кого влюбиться,
Чем кончить день, зевать иль не зевать?

Я пригласил, Раиса не сказала
Ни «да», ни «нет», и вот, любезный брат,
Чтоб все мое старанье не пропало,
Я вздумал с ней побиться об заклад.
И знаешь ли, о чем я с ней побился?
Что ты в нее никак бы не влюбился,
И что изящный вкус твой так развит,
Что надо быть богинею на вид,
Чтоб сразу заслужить твое вниманье.
Брани меня, голубчик, виноват,
Я подзадорил милое созданье.
— Приеду, — говорит, — а в чем заклад? . .

— Фунт шоколаду. — Хорошо, приеду! —
И, черт возьми! чего не ожидал:
В метель примчалась одержать победу! . .
И я фунт шоколаду проиграл.
Правдивая душа! Я понимаю,
Что я тебя немножко огорчаю,
Но ты меня, душа, не огорчай,
Люби ее, да только не страдай.
Она теперь с откупщиком в союзе,
Наивная и скромная на вид,
Я видел сам, в широкой ходит блузе
И за двоих имеет аппетит.

Не спорю, брат, изящная Раиса
Прелестна, как сто двадцать пять чертей!
Теперь она на даче. Из Тифлиса
Чудак один волочится за ней —
Тот самый, что на днях одной сильфиде
Мороженную кошку, в трезвом виде,
На сцену бросил; я б расцеловал
Его за это одолженье. . .»
Так писал
Алеша к брату. Мой Игнат смеялся,

Но горьким смехом, и когда в ответ
Писал к Алеше, сильно выражался,
Как ложью возмущаемый поэт.

В те дни одна поэзия спасала
От пустоты и пошлости — она
Одна кой-что внушала, врачевала,
Хоть и сама подчас была больна.
Ее болезненные вдохновенья
Пророчили нам дни выздоровленья,
И каждый сразу понимать привык
Ее метафорический язык.
Никто не разумел под словом «лира»
Какой-то инструмент, а просто строй,
Известный строй души. Еще сатира
Не думала глумиться над душой...

Теперь рассудка мелочной анализ
Мы применили к языку страстей.
Мы поняли, что глупо выражались.
Погасни, сердце! Лирою моей
Не дорожу. Коли не нужно, к черту!
Но узник мой, принадлежавший к сорту
Художников, был юн и одарен
Живым воображеньем; вот как он
Писал к Алеше:
«Брат, отбрось сомненье!
Любовь моя мертва, погребена,
Отпета... но, как злое привиденье,
Преследует в минуты полусна...

Искал я вверх идущие ступени,
Грядущий образ истины, и что ж?!
Средь праздной роскоши, тоски и лени,
Тот ангелоподобный образ — ложь!
Ты тешишься, а я изныл от боли,
Не хлопочи, я рад моей неволе...
К чему свобода!..»
Так писал Игнат.
И это сущий вздор, чтоб он был рад
Неволе; но душевное расстройство
И в прозе выражается темно:

Что делать! у страстей такое свойство,
Таков язык, — и это ли смешно?

Смеялся ль я, когда встречал в журнальной
Полемике горячие места?
Смешон ли ты, поэта враг реальный,
Наш публицист, когда твои уста
В пылу себялюбивых вдохновений
Полны чудесных олицетворений,
Когда «*лукошки*», «*мошки*» и «*стрижи*»
Так и мелькают? Тут холодной лжи
Нет ни на каплю, мелочное чувство
Так горячо, что *образно звучит:*
Ликуй, лиризм! журнальное искусство
Язвить врага с тобой вошло в зенит.

Прошел июнь, июль. Игнат обжился
В своих стенах, освоился, притих,
Кой с кем из полицейских подружился
И доставал при этом кучу книг:
Прочел Ламне, Капфига, Луи-Блана,
Фурье, Токвиля, Сю два-три романа,
Да запрещенных несколько брошюр, —
Соль политических карикатур
Стал ощущать: события в Париже
Впервые уяснились перед ним,
В своей тюрьме он стал к Европе ближе,
Чем дома; но мы это поясним.

К Игнату был приставлен полицейский,
По части наблюдений; хоть и брал
Он взятки, но такой уж такт житейский
Был у него, что многим угождал.
По чуткости и сметливости гений,
Из разных под рукою послаблений
Он мигом догадался, что Игнат
Окажется совсем не виноват,
И заключил, что надо приласкаться;
«Э! — думал: — мастер виды малевать. . .
Из дружбы даром должен постараться
С моей жены портретик написать».

Он разные любовные интрижки
Рассказывал Игнату, чай с ним пил
И от своей жены в карманах книжки
Французские тихонько проносил
(То были всё отобранные где-то
И у кого-то). Миновало лето,
Настала осень, и в один сырой,
Холодный день мой узник и герой
Почувствовал, что весь он на свободе,
С руками и ногами, — и,
Счастливейшее существо в природе,
Бежал, не слыша под собой земли.

Нашелся ли наивный сочинитель
Трех глупых слов, и праведный закон
Достиг ли цели, яко охранитель, —
Не знаю, но Игнатий был *прощен.*
Какие думы или впечатленья
Он вынес в голове из заточенья
(С весны до сентября), или каких
Идей понабрался из разных книг? —
Не знаю, но домой он воротился
Уже не тот... не вешал головы,
Когда старик отец его сердился
И говорил: «Попался! из Москвы

Не выпущу». — «Уеду!» — возражал он.
Спешил работать, в моду стал входить,
Уже Москва-старушка, — замечал он, —
Ему, как внучку, стала ворожить:
Таинственно соседка улыбалась,
Девицы встреч искали, собиралась
Атаковать его со всех сторон
Любовь эманципированных жен,
И недруги и други руку жали,
Как будто он их чем-то одолжил:
«Сидел, несчастный! — всюду повторяли. —
Чуть-чуть было в Сибирь не угодил!»

О публика! как часто ты любила,
Прислушиваясь к музыке оков,

Творить героев; ты производила
Не раз в герои даже пошляков,
По глупости добившихся скандала!
Как истинных в тебе героев мало!
Игнат скандала вовсе не желал,
Нечаянно в герои он попал,
Не оттого ль, что горя иль страданья
Случайного фальшивый ореол
Нам озаряет темные преданья
О каждом, кто на смерть за правду шел?

Так иногда напоминают стразы
Блеск настоящих бриллиантов. Так,
В отсутствии идей, иные фразы,
Которых искры наполняют мрак,
Обманывают нас и увлекают
Не тем ли, что иным напоминают
Могучий свет действительных идей,
Когда-то разбудивших нас? «Скорей,
Скорей на Запад! — полный увлеченья
Наивного, твердил Игнат. — Туда!
Dahin! dahin! . .» — стремился он — стремленье,
Понятное в те юные года!

УСПЕХИ

Чтоб не вводить в соблазн свой околодок
И чтоб врагом порядка не прослыть,
Игнат стал брить усы и подбородок
(Квартальный посоветовал их брить).
Подозревая тайную опеку,
Он вел себя, как надо человеку
Себя вести, когда за ним следят;
Быть может, ошибался мой Игнат,
Но это положило отпечаток
На все его поступки... Никогда
До этого он не носил перчаток —
Теперь без них почти что никуда.

«Артист Илюшин! это что за птица?» —
Подумала одна графиня Z (зет),

Известная в московском свете львица,
И заказала юноше портрет.
«А-а! какая кисть! какая сила!» —
Пришла в восторг и смело посулила
Игнату к ноябрю добыть паспорт.
Она была влиятельна, как черт,
Добра, как ангел; но не полагался
На милые слова ее Игнат
И, как разочарованный, казался
В ее глазах немножко простоват.

Графиня Z Игнату в высшем свете
Хотела случай выискать; а он
В гостиной нем был, скучен в кабинете,
И явно не для света был рожден;
Он знал, что принят в качестве артиста,
Который чертит бойко, пишет чисто,
Что если сунуть под руку ему
Альбом, он не уступит никому,
Усядется в сторонке, злой, серьезный,
И выйдет у него из-под руки
Какой-нибудь рисунок грациозный:
«Головка нимфы», «бережок реки»

И прочее. Графиня Z желала,
Чтоб он кончал как можно поскорей
С нее портрет. Она воображала,
Что юноша неравнодушен к ней,
Что несомненно в нем таится страстность,
И, стало быть, предвидится опасность.
А между тем — открою вам секрет —
Графине было с лишком тридцать лет,
Что не мешало ей, хоть для портрета,
Хоть в сумерки, казаться молодой,
И грудь у ней дышала зноем лета:
На всем лежал тончайший пудры слой.

Глаза горели, или так казалось,
Когда в лицо ей падал полусвет.
Игнат писал, графиня рисовалась —
И выходил прелестнейший портрет!

Но с полотна какой-то бледной Нормы
Сияли строго-девственные формы.
Игнат краснел, как ни была мила
Графиня, — кисть отчаянно лгала...
Он знал ее по слухам, был послушен
Ее причудам, как усердный паж,
Но втайне был глубоко равнодушен,
И в голову не приходила блажь...

Вот, помнит он, отец его в халате
Глядит в окно и крестится, звонят
К вечерне, он, о загулявшем брате
Горюя, зябнет... в коридоре спят
Старуха няня, на старухе кошка;
В гостиной мачеха — она немножко
Посоловела и порасползлась —
Гадает в карты. На подносе квас...
И пахнет мятой. Мерно в ту же ноту
Постукивает маятник, на всем
Лежит покой, на все свою дремоту
Кладет тоска, и тих семейный дом.

Но, чу!.. звонок!.. и вот покой нарушен...
— Кто там? — «Курьер с пакетом». —
Что за вздор!
Какой курьер?! — кричит старик Илюшин.
Игнат встревожен (с некоторых пор
Все, все его волнует). — Вы откуда? —
«С пакетом от графини». — Что за чудо!..
Неужели мой паспорт?! Боже мой!
Сейчас! сейчас! — Кто это за тобой?.. —
Ворчит отец, но сын его не слышит,
Он прочитать спешит наедине
Заветное письмо. Графиня пишет:
«Надеюсь, вы заедете ко мне...»

Так наши дамы часто сами любят
Похлопотать, замолвить за того,
Кого они, по всем приметам, губят
Во славу эгоизма своего.
Графиня Z в Игнате не нуждалась,
Но у нее, конечно б, сердце сжалось,

Когда б Игнат, хоть он и не был князь
Иль знатный франт, уехал не простясь.
Ей было б очень грустно усомниться
В его любви, и потому Игнат
Был должен непременно с ней проститься,
Чему он был, конечно, очень рад.

«Несчастный! — думала аристократка. —
Забудь меня!» И, не платя долгов
По разным векселям, как меценатка
За несколько альбомных пустяков
Да за портрет с Игнатом расплатилась
Чуть не по-царски. Настежь отворилась
Дверь за границу, крылья отросли,
Кругом туман, сияние вдали.
При деньгах как-то легче верить в славу,
Чем верить в бескорыстную любовь.
— Прощай, Москва! «А по какому праву?» —
Спросил отец, приподнимая бровь.

И в спальню он ушел, где к половице
Привинчен был железный сундучок,
Сел на кровать, и на его реснице
Слеза повисла. Удружил сынок!..
Зашиб себе копейку, знать не хочет,
Что о его куске отец хлопочет,
И даже не стыдится ремесла!
Хорош сынок!.. И грусть его взяла...
А мачеха Игнату на дорогу
Купила валенки, достала погребок,
Стаканы, ложки... «Так угодно богу», —
Решил старик и отпер сундучок.

Алеша незаметно пристрастился
К Игнату, он не мог не унывать,
На старый долг свой брату молча злился
И пьяный возвращался ночевать.
Не много дней Игнату оставалось
Прожить в Москве, и эта жизнь слагалась
Так хорошо, так искренно тепло,
Что даже он подумал: в чем же зло?
Казалось, все добра ему желали;

Казалось, все заботились о нем,
Любили, верили ему, ласкали,
И с грустью озирался он кругом.

Товарищи по школе учинили
Подписку и затеяли обед,
И на обед прощальный пригласили
Поборников искусства прошлых лет.
Все пили за здоровие Игната,
Все целовали и его и брата,
И Рамазанов весело острил,
И Щепкин анекдоты говорил,
Ну, словом, пообедали отлично.
Когда ж Игнат сошел на тротуар,
Двоились фонари, и фантастично
На всю Москву ночной ложился пар.

У Иверской, как бы в дыму, лампады
Мерцали, тени двигались; колес
Неровный гул катился; у ограды
Шарманка пела; у фонтана пес
Сидел и выл, и свет белесоватый,
От башни к башне, по стене зубчатой
Скользил, и теплились в лучах луны
Шпили и кровли; около стены
Деревья, вея осенью, шептались,
И чудилось Игнату, что они,
Оборванные ветром, с ним прощались
На долгие, неведомые дни! . .

И помнит он, куранты заиграли,
Пронесся звон, и раз, и два, и три. . .
Тот самый звон, которому внимали
И схимники и грозные цари.
Он вздрогнул от неведомого чувства,
И никакое тонкое искусство
Не передаст вам страшной тонины,
Той девственной, сердечной той струны,
Которой не затрогивают страсти.
В последний раз услыша этот звон,
Игнат подумал: знать, не в нашей власти
Ни тайное предчувствие, ни сон.

Луна была уж в облаке, как в дыме,
И звездный пар кружился над землей.
— Послушай, брат Алеша, если в Риме
Иль на дороге что-нибудь со мной
Случится, ты из моего наследства
Во имя дружбы, нас связавшей с детства,
Хоть часть отдай на школу... да найди
Скульптора Ванина и огради
От нищеты, чтоб с горя он не запил...
«Молчи! — сказал Алеша. — Бог с тобой!..»
И обнял брата (иначе, облапил),
И так они в ту ночь пошли домой.

Еще, еще одно воспоминанье:
Уж он совсем собрался в путь, как вдруг
Какой-то франт принес ему посланье
От ветреной Раисы: «Милый друг! —
Писала эта девушка к Игнату, —
Я вас хочу просить, не верьте брату.
Я вовсе не хотела вас надуть.
Назначьте мне свиданье где-нибудь...»
Пленительной Раисы образ снова
В его воображеньи промелькнул,
Но «уже поздно!» — молвил он сурово
И чемодан ремнями затянул.

Вот сели все, вот начали прощаться.
Отец — honni soit qui mal y pense [1], —
Отец рыдал, а сын спешил убраться —
Он прозевать боялся дилижанс.
Чего-то жаль! — он думал, — не домашних,
Не стен, не друга, не своих всегдашних
Забот, привычек, даже не *ее*;
Но что-то жаль, и в этом *что-то* — всё.
И много дней потом прошло, и много
Он думал про себя, про брата, про отца,
И скоро ли граница; но дорога
Шоссейная казалась без конца...

---

[1] Позор тому, кто это дурно истолкует (франц.). — *Ред.*

ДОРОГА

Хоть он глядел привычными глазами
На бедную, безграмотную Русь,
Но за его дорожными мечтами
И думами следить я не берусь;
Он выехал в такое время года,
Так хмурилась осенняя погода,
Что наводила сон или хандру.
Туманы расстилались поутру,
Потом всплывали тучи, моросило,
Потом морозило, потом заря
В прогалины густых лесов сквозила
И освещала слезы ноября.

Порою были светлые мгновенья,
Как для природы, так и для него,
И эти блестки, эти впечатленья
Еще мелькают в памяти его.
Он видел Киев — колыбель той веры,
Которая, воздвигнув Кремль, прошла
На отдаленный север и спасла
Всю Русь от папы и от Магомета.
Украйна посреди своих садов
Ему сквозь осень улыбнулась; где-то
Он угощал *горилкой* чумаков;

О Наливайке, о казацкой доле
Он где-то слушал песню кобзаря.
И сам мечтал все о какой-то воле,
И думал — с запада встает заря
(Не знал он, что славянские пророки
Зарю встречать привыкли на востоке)...
И двигался на запад.
                                        Киев град,
Волынь, Варшава, все ушло назад...
Уж по дороге русского не слышит
Он говора, уже ямщик — поляк,
Кондуктор — немец, ночь теплее дышит;
Но нет луны... земли не видно... мрак.

И помнит он, как в этом мраке стали
Усталые глаза его встречать
Какие-то огни... они играли,
Качались, поднимались и опять
Кувыркались. То телеграфы были,[1]
И ум его впотьмах они дразнили:
Условные огни во все концы
Переносили вести, все дворцы
Их ожидали с жадным нетерпеньем;
А он дремал, глядел, опять дремал,
Хотел понять их и воображеньем
Газетные известья дополнял.

Недель пять-шесть Игнат мой был в дороге
(Уж он теперь границу миновал),
Был постоянно в нравственной тревоге,
Но к умственной свободе привыкал.
В политике он был недальнозорок,
Но понимал, что наступивший сорок
Девятый — бурями чреватый год,
Что Франция попрежнему поет,
Назло бонапартистам, марсельезу,
Италия шумит, Берлин — и тот,
Раздвинув политическую прессу,
Не устает *дрессировать* народ.

В гостиницах, где жить ему случалось,
Кокетничали Zimmermädchen[2] с ним.
Одна из них, Луиза, добивалась,
Чтоб он увез ее с собою в Рим,
Но не желая в Рим везти Луизы,
Игнат ее довез до ближней мызы
И с ней простился: в Дрезден он спешил,
Где ждал его один славянофил.
Сикстинская *Мадонна* Рафаэля
Художника глубоко потрясла.
Так в Дрездене прошла одна неделя,
Другая в Праге, третья унесла

---

[1] Электрических телеграфов в России еще не было.
[2] Горничные. — *Ред.*

В Тироль, туда, где каменные горы,
Блестящие снега по высотам,
Титанами воздвигнутые хоры,
Где вопли бури вторят голосам
Ревущих водопадов, где порою
Такой эфирной веет тишиною,
Что слышны далеко звонки коров,
Пасущихся в соседстве облаков,
Где в январе нередко засыпает
Дороги снегом; там Игнат ходил
С проводниками, но куда? бог знает,
Он дневника не вел, а я забыл.

Одно скажу: лицом к лицу с природой
Он отдохнул от разных встреч. Тогда
Бранить Россию было общей модой.
(Пройдет ли эта мода, господа?)
«Вы, вы враги свободы и прогресса!
Вы варвары!» — так голосила пресса,
И ей везде сочувствовал народ
За наш последний в Венгрию поход;
И Австрии мы тем не угодили. . .
И много раз несчастный наш Игнат
Чуть не вопил, когда его язвили:
«Да я-то, я-то чем тут виноват!. .»

Патриотизм его был без защиты,
Он, так сказать, был в сердце поражен.
Но снова зацвели его ланиты,
И телом и душой воскреснул он,
Когда в горах, один, в часы свободы,
Играл с детьми или писал с природы.
Железных много строилось дорог,
Но не везде по ним летать он мог,
И только в марте перед ним открылась
Италии смеющаяся даль.
Италия! она уже рядилась
В весенние гирлянды, цвел миндаль,

Цвели оливы, персики, и розы
Благоухали, и, свои узлы
И нити перебрасывая, лозы

Вились по белым стенкам, и теплы
Те были ветры, что сады качали;
И ящерицы резвые взбегали
На камни, яркой зеленью своей
Почти не отличаясь от плющей.
Флоренция, иль нет, всего вернее
Венера Медицейская, слегка
Склоня свой стан, как бы стыдясь и млея,
Ждала его к себе издалека.

Божественно-кокетливое тело
Недаром жило сотни две веков,
И хоть оно заметно потемнело
От ревности аскетов, от следов
Бесчинства и царапин, все же было
Богини тело и не позабыло,
Какой пред ним курился фимиам,
Когда народы верили богам.
И что же! (говорю без всяких шуток)
Игнат сию богиню созерцал
Довольно равнодушно трое суток
И Форнарину ей предпочитал.

Но иначе взглянул через неделю.
Он в ней постиг всю грацию стыда
И стал смекать, что даже Рафаэлю
Могла б она присниться иногда.
Потом Игнат взялся за диалоги,
А как произносить слова и слоги
По-итальянски, спрашивал порой
Он у одной певицы молодой,
Свое гнездо покинувшей в Милане:
Погром австрийский разгонял певцов;
Так хищной птицы крик в ночном тумане
Из гнезд выпугивает соловьев.

И мирное туристов настроенье
Нарушилось. В крови дымясь, Милан
Напрасно вопиял: vendetta! мщенье!
Италия изнемогла от ран.
В одних соборах панихиды пели,
В других — молебны, патеры скорбели:

Народ приказывал молиться им,
А папа запрещал молиться. Рим
Свои победы праздновал без боя.
А Карл-Альберт, Сардинии король,
Уже в надорванном венке героя
Доигрывал трагическую роль.

Игнат все лето мог бы оставаться
Над Арно, в обществе знакомых, но
Взяла бессонница, и в Рим пробраться
К началу мая было решено.
Как этот Рим, средневековый, папский,
Сойдет с пути и как из жизни рабской
Народный, новый Рим начнет вставать, —
Не он один хотел бы наблюдать.
Так иногда, во время извержений
Везувия, к Неаполю спешит
Иной искатель сильных ощущений
И думает: чудесный будет вид!..

До сей поры Игнат грустил, влюблялся,
Дружился, потешал себя, хандрил,
Таил свои надежды, колебался;
До сей поры он личной жизнью жил,
Для счастья тихого, я в том уверен,
Ему судьбой был тесный круг отмерен, —
Теперь куда! наивный мой герой
Спешит верхом за конною толпой!
Зачем вооружен, пытлив и мрачен?!
Игнат мой, очевидно невзначай,
Волною исторической захвачен...
Уж близок Рим! Аркадия, прощай!

НОВИЗНА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Чтоб описать затеи карнавала,
Вдоль Корсо бег невзнузданных коней,
Иль женщин веющие покрывала
При зареве бесчисленных огней,
В ту ночь, когда народ снимает маски —

Я на мою палитру мог бы краски
Заимствовать у многих — я и сам,
Во дни моей весны тревожной, там
В одну неделю сотни три букетов
По окнам и балконам разбросал,
И знаю — для фантазии поэтов
Дает немало римский карнавал.

Но описать Рим, словно чародейством
В республику преображенный, Рим —
И папою, и всем его лакейством
Покинутый, Рим — знаменем своим
Луи-Наполеона испугавший,
Рим — бедный, беззащитный и поднявший
Вдруг три перчатки, брошенных ему
Тремя державами, Рим — никому
Без боя прав своих не уступивший, —
Где краски?! И споет ли голос мой,
Давным-давно на севере охрипший,
Тот гимн — увы! для Рима роковой. . .

Тот гимн, что протекал под знаменами
И заглушал гул тысячи шагов,
Звуча, как море, мерными волнами
Его поющих, страстных голосов, —
Гимн, льющийся из потрясенной груди
Взволнованной толпы, в которой люди —
Все братья, все одной родной семьи
Проснувшиеся дети, — гимн любви
Торжественной и ненависти львиной
К тому, кто ходит в стадо похищать
Овец, как волк, прикрывшийся овчиной,
Иль в пастыря переодетый тать.

Не без труда Игнат мой в Рим пробрался:
Когда же он услышал в первый раз
Народ поющий — побледнел, прижался
К чужим воротам, потекли из глаз
Невольные, неведомые слезы, —
И никакие творческие грезы
Так отозваться не могли бы в нем,

Как это пенье — этот божий гром
В устах народа. Так во храм Софии,
Когда в него язычника ввели, —
Он содрогнулся, в пеньи литургии
Почуявши спасителя земли.

Игнат мой в Риме вел себя как скромный,
Из темного угла, провинциал,
Нечаянно попавший в зал огромный
При ярком освещении на бал.
Он чувствовал неловкость положенья —
Не знал, что́ делать: вера, страх, сомненье,
Восторги — все перемешалось в нем.
Не мог он, забирая свой альбом
И уходя с квартиры утром рано,
Сказать, что жив воротится домой;
Везде он видел скрытого тирана,
Готового спросить: кто ты такой?

Австриец ты? поляк? иль их подобье?
Зачем приехал и куда идешь?!
Уже не раз глазами исподлобья
За ним следила чернь — как острый нож,
Ему в глаза сверкали эти взгляды,
И одинокий, часто без отрады,
Входил он в храм Петра — и храм порой
Был так громадно пуст, глядел такой
Могилою величия, что, право,
Казалось, жизнь оцепенела там —
Орган молчал, и тенью величавой
Скользила смерть по мраморным плитам.

На лестнице, ведущей в галерею,
Сидела стража — и была пуста
Истоптанная лестница, над нею,
При входе, надпись шла: «prorpietà
Della republica».[1] Она спасала —
Та надпись — все, что только прикрывала;
Дворцы Боргезе, Дориа (князей,
Из Рима убежавших) только в ней

---

[1] Собственность республики. — *Ред.*

Нашли свою защиту. Чернь щадила
Их древнее богатство — лето шло
Без грабежей: толпой руководило
Презренье к роскоши — врагам назло.

Рим беден был; но жизнь текла богато;
Игнат мой был приятно поражен
Всеобщей дешевизной — у Игната
Хозяином был гробовщик, — и он
Платил ему за комнату, за солнце
И мастерскую в месяц два червонца
(За ту же плату, он и сам не знал,
Кто без него квартиру убирал);
«С тех пор, как Пий, отец наш, уезжая
Из Рима, всех нас к дьяволу послал,
Ни одного нет в Риме негодяя,
И все подешевело», — уверял

Хозяин дома; — целый день бывало
Он в лавочке то скоблит, то сверлит;
Но спешная работа не мешала
Ему порой принять веселый вид —
Соседа подозвать, мигнувши глазом,
Похвастаться, что он почтен заказом
Правительства, что это для него,
Гробовщика, приятнее всего, —
Уже с утра визжал его подпилок,
С утра стучал он молотом своим,
Так к вечеру немало он носилок
Сколачивал и был неутомим.

Но гробовщик ни за какую цену,
Ни для какого в свете мертвеца
Не стал бы делать гроба — за измену
Великую почел бы. . .
                                        Вот жильца
Увидел он, под зонтом, в серой блузе,
И кличет: «Гей! зайдите о французе
Потолковать. — Что́ стали говорить
Газеты?! — О! О! надо нам спешить
С носилками. А что сказал Маццини
С трибуны — вы читали? — Я читал. . .

Божественно! .. Э! .. никакой Рубини
Так не споет! .. Я губы измарал

Печатными чернилами, целуя
Газету — всю её исцеловал.
И знаете ли, что вам доложу я,
Синьор Иллючи! Я всю ночь не спал —
Все думал: для чего им нужно папство,
Когда оно и нам не нужно! Рабство
Проклятое — и больше ничего!»
А иногда Игната моего
Хозяин озадачивал: «Смотрите, —
Он говорил таинственно, — беда!
Уж лучше вы, синьор, не выходите,
Пока того... Все выезжают — да!

Недаром же все выезжают... Даже
Намедни англичане собрались...
Наш Рим теперь стоит как бы на страже...
Все ждет чего-то, — и в него сошлись
Защитники: кто на большой дороге
Разбойничал, и тот теперь в тревоге, —
Беспечно жил — теперь пришел стоять
За новые порядки. Как тут знать,
Что́ может быть?! Сидите лучше дома». —
. . . .
«Что я люблю Рим — это из альбома
Увидит всякий», — возражал Игнат.

О! я б желал достать альбом Игната...
Но как достать! Погиб он или нет?
Судьба вещей, которые когда-то
Нам были дороги (как тот портрет,
Который ваша бабушка снимала
В подарок дедушке), меня нимало
Не забавляет: то, что на столах
У вас блестит, — без вас, в чужих руках,
Утратит блеск иль в сор преобразится,
И для далекого потомства, может быть,
Из тысячи рисунков сохранится
Едва один, чтоб редкостью прослыть,

Не праздник ли? — однажды, просыпаясь,
Спросил Игнат; конечно, он спросил
Об этом у окна, со сна встречаясь
Глазами с поздним солнцем: он любил
Предупреждать зной утра; но был болен
И трусил лихорадки. С колоколен
Неслись трезвоны всех колоколов;
Казалось, сотни медных языков
Кричали: встаньте, граждане! .. спешите,
Настал великий день! — Но, может быть,
Идет процессия? — Тут, как хотите,
А надо встать, одеться и спешить.

Народ сновал — колокола звучали...
Вот увидал двух женщин наш Игнат.
В свои платки закутавшись, стояли
Они в тени, как статуи стоят;
Но не было в лице их и намека
На праздничное чувство, — нет, широко
Раскрытые глаза их ничего
Кругом не замечали — ни его,
Ни пробегающей толпы, — казалось,
Они прислушивались. Мой Игнат
Почувствовал, как в нем вдруг сердце сжалось, —
Вдоль жаркой улицы он бросил взгляд.

Куда идти? Хоть лица женщин этих
Ему сказали: уходи домой!
Он медлил — он как бы не смел задеть их
Своим вопросом, и они с толпой
Вошли на паперть. Нищие шептались,
Стучали фуры, лавки запирались.
Вот проскакал Россели, [1] горяча
Хлыстом коня, и поднял пыль, брянча
Прицепленною саблей; показался
Вдали отряд — он площадь проходил;
Блеск стали под лучами загорался,
Бил барабан тревогу — рог трубил;

---

[1] Один из римских военноначальников.

Колокола попрежнему звучали.
Но молчалив был подвижной народ,
Как будто для него часы настали
Особенных каких-нибудь забот.
Вот, с мрачным видом, взвод народной стражи
Прошел под окнами, и бельэтажи
Раскрыли окна, — город запестрел
Цветными флагами, как бы хотел
Действительно отпраздновать бог знает
Какой счастливый день. Велик народ,
Который в день грозы не унывает! —
Пришла гроза — французы у ворот.

Грядущая империя штыками
Грозит республике — так вот зачем
Повсюду римляне идут толпами
Вооруженными, средь веющих эмблем
Своей свободы, вот зачем сверкают
У всех глаза и руки всех сжимают
Ружейные приклады; словно брат
Родной, им стал губительный булат,
Защитник сердца, родины и чести!
Вот почему, какая б ни была
Обида личная, нет личной мести,
Вот почему звонят колокола.

«К стенам, народ! к стенам, граждане!»
Команда эта мигом разнеслась,
И в мирном Риме, как в военном стане,
У каждого в груди отозвалась.
Мясник, башмачник, ювелир, факины,
Купцы, виноторговцы, веттурины,
Художники (и наш один гравер),[1]
И поселяне из окрестных гор,
И слуги из гостиниц, все бросают
Обычные занятья и дела,
Идут, грозят, оружьем потрясают —
Вот почему звонят колокола.

---

[1] Ф. И. Иордан.

Вот папские сады пестрят стрелками,
Вот Гарибальди двинулся вперед
И на распутьях стал за воротами,
С ним красноблузники... Герой не ждет,
Спешит врага он пулями поздравить
С нашествием и не дает направить
Ему передовой свой батальон
На верх горы, откуда весь бастьон
И вся почти защита Ватикана
Как на ладони. Вот ружейный дым
Зардел на солнце; из его тумана,
За куполом Петра, услышал Рим

Звук первого сраженья — рокот ружей
И пушек, эхом повторенный, гром.
И вот, на Пинчио Игнат досужий
Взбирается, идет, дыша с трудом
От тайного волненья; с напряженьем
С горы следит он взором за сраженьем.
Но где же войско? — Косвенным столбом
Завихрившись, дым пушек над холмом
Ближайшим к Риму начал расстилаться,
Ружейный рокот словно замирал,
Стал уходить куда-то — стал теряться.
Что б это значило? — Никто не знал...

Кто победил? кого поколотили?
Вестей не приходило. Знойный Рим
Затих — колокола уж не звонили, —
Лишь женщины у алтарей в немых
Церквах толпой коленопреклоненной
Рыдали; — воздух, солнцем накаленный,
Всех собирал под своды, и пустым,
Судя по улицам, казался Рим;
Одни ослы по площадям бродили
Без всякого надзора: — за водой
Никто не шел; уединенно били
Фонтаны; — час прошел — настал другой.

Шло время к ночи — Рим не шевелился.
Он словно замер — слухи до него
Не доходили, — Рим не торопился

Услышать вести, — сердце у него
Пугливо ныло за своих любимых
Гарибальдиицев, за неутомимых
Своих защитников... Никто не знал,
Что первый батальон врага попал
В засаду — падал — и кричал: пощада!
Что часть сдалась, другая с Удино
Пошла назад в Кастель де Гвидо. «Надо
Подумать — это вовсе не смешно...» —

Сказал французский вождь, воображавший,
Что римляне не смеют воевать.
И тут, скажу заранее, пославши
В Париж курьера, он решился ждать
От президента новых подкреплений;
Хотел он, чтоб победоносный гений,
Любимый гений Франции, у ног
Ее властителя с размаху мог
Свободную республику увидеть
В оковах по рукам и по ногам.
Кто смеет честь французскую обидеть!
Шесть тысяч отступало — по пятам

Шли сотни сорванцов. — Победа! Где вы,
Служители святого алтаря!
«Te deum» пойте! Вы, святые девы,
Поблекшие в стенах монастыря,
Страдалицы за вечное спасенье
Своей души, — несите облегченье
Страдающим за братьев! Где бинты
Для раненых, для падших — где цветы?!
И встал весь Рим, и огласились стоном
Его площадки, паперти церквей
И лестницы, — но с похоронным звоном
Сливалась музыка: среди теней,

Над трупами склоняющихся, тени
Восторженно поющих провели
Французских пленных угощать в кофейни.
Вот ночь сошла, везде огни зажгли,
Героям дня толпы рукоплескали;

С носилок раненые поднимали
Повязанные головы; на их
Померкших лицах, холодно-немых,
Сквозь выраженье нестерпимой муки
Проглядывала сила — и стонать
Они переставали, свесив руки
В надежде чью-нибудь в толпе пожать.

И было множество рукопожатий
Со всех сторон, — да, в эту ночь весь Рим
Сносил свои страданья без проклятий
И был в своей любви неистощим.
И Гарибальди имя повторялось
Впервые так, как никогда, — рождалась
Неведомая слава — для венца
Нетленного, — и братские сердца
Народа колыбель новорожденной
Поставили высоко в эту ночь,
Чтоб видел мир, неправдой возмущенный,
Италии воинственную дочь.

Растроганным пришел домой Игнатий —
С таким же чувством он пришел домой,
С каким из первых, трепетных объятий
Давно-любимой девушки — иной
Бедняк иль труженик, людьми забытый,
В час ночи, месячным лучом облитый,
Один приходит к ложу своему,
И уж оно не кажется ему
Таким пустым, каким вчера казалось.
Нет! новая волшебница — мечта
С ним обнялась, тепло к нему прижалась,
И к невидимке льнут его уста...

ЭНТУЗИАЗМ И ПОЛИТИКА

Так не давалось сразу водворенье
Святого папы с помощью штыков.
Луи-Наполеон был (нет сомненья)
Меж двух огней: подачу голосов
(Suffrage universel) подготовляя,

Он должен был достать ключи от рая
И, стало быть, беречь карман попов. . .
. . . .
Не только папе, но и папской свите
Он должен был усердно угодить —
Или готовиться к его защите,
Или уж императором не быть.

А что республиканцы скажут? Эти,
Готовые лезть прямо на штыки —
Трех революций уличные дети,
И наконец — такие чудаки,
Что им присяга, даже честь дороже
Наполеона.
«Это не похоже
На то, к чему веду я мой народ;
Не я, сама история ведет. . .» —
Так думал президент, сосредоточен
На мысли все прибрать к рукам своим;
Он тайным был расчетом озабочен,
И для начала выбрал вольный Рим.

Над ним в венцах орлы-мечты играли,
И страх паденья, ежась, ползал в нем. . .
Но ничего глаза не выражали
Своим как бы потускнувшим свинцом.
Республика кой-что подозревала
И, гневная, уже едва скрывала
Свое негодованье; рокотал
Подземный гром, над кратером вставал
Зловещий дым, предтеча бури — пена
Уже катилась по морю с волной;
Как чайки крик, носился крик: измена!
Париж шумел пред новою грозой.

А он, грозой барышников пугая,
Являлся им в сиянии щита,
Спасающего мир, и, обольщая
Солдат, тайком готовил coup d'état. [1]

---

[1] Переворот. — *Ред.*

За ним стояла тень Наполеона,
Им вызванная, и ступеньки трона
Пред ним мелькали, так же, как порой
Сквозь сон мелькают рифмы предо мной.
(Пожалуйста, от этого сравненья
Ты не сгори, о муза! от стыда:
Пусть наш зоил придет в недоуменье
И разбранит — не велика беда!).

Так президент короны добивался —
Он в папу так же верил, как и я,
Не больше; но за папу ополчался
И, стало быть, похож был на меня
Так точно, как на правду ложь похожа.
Стремленьем к власти дух свой не тревожа,
Блажен я — мне до папы дела нет,
Меня не мучит красный дух газет,
Ни темный дух моей родни отжившей;
Я не давал присяги охранять
Республику и каждой, вновь возникшей,
Сочувственную руку подавать.

В своей палатке, наконец, дождался
Ответа Удино -- он застегнул
Сперва мундир свой (хоть и задыхался
От жару), а потом уж развернул
Письмо от президента.
«Подкрепленье, —
Писал сей претендент, — без замедленья
К вам будет выслано; до той поры
Спасайте ваше войско от жары
И лихорадок. Отступите в горы —
Республики не надо раздражать,
Пока Лесепс ведет переговоры,
Не начинайте бомбардировать.

Без штурма все уладить будет можно,
А если нет — да будет невредим
Алтарь Петра — громите осторожно,
Но с торжеством войдите в славный Рим, —
В ворота или просто через бреши».

Таков был смысл таинственной депеши.
В ней между строк еще кой-что вилось
И пряталось, как змейка между роз,
Как между водяных растений — рыбка,
Как на устах спокойного лица
Коварно-проскользнувшая улыбка, —
Но Удино все понял до конца.

Французский лагерь гангренозным чирьем
На теле Римской области засел;
Опасный чирей! — Хитрым перемирьем
Спасая лагерь, Удино глядел
На Рим сквозь пальцы — ждал и лицемерил.
Его французской чести Рим поверил
И быстро перенес на юг свой гром;
Едва король Неаполя тайком
Убрался из Валетри, — под командой
Россели, Гарибальди наскочил
И город взял с размаху — Фердинанда,
Как короля, он этим огорчил.

Разубедясь в чудесном предсказаньи,
Король смутился, и его полки
Уже на благородном расстояньи
Бросали ружья, сабли и мешки.
Завертывали ночью в одеяла
Колеса пушек, чтоб не грохотала
Их артиллерия, чтоб как-нибудь
Не разбудить врага и скрыть свой путь,
Благоразумный путь — путь отступленья!
Шесть тысяч римлян не могли никак
Склонить их тридцать тысяч на сраженье,
И Гарибальди занял их бивак.

Но воспевать его я не намерен —
Едва ль настало время воспевать
То, что само поет! Кто ж не уверен,
Что это имя будет вдохновлять
Италию — столетья! Нет, уж лучше
Без громких фраз вернемся мы к Иллючи
Или к Игнату, — к Риму он привык,

Стал лучше понимать его язык
И был спокоен до исхода мая,
Наивный человек! Он полагал,
Что Рим спасен, — так, каждый день читая
Газеты, он в политику вникал.

Увы! не он один — другой ребенок,
Маццини, триумвир, воображал,
Что эта, вышедшая из пеленок,
Республика прочна, как идеал —
Тот идеал, который никакие
Превратности судеб, ни бури злые
В его душе не в силах сокрушить.
Он думал Рим от ядер сохранить
Крестом распятого, щитом святыни —
Сияньем правды — словом, отрицал
Политику задумчивый Маццини,
И, как пророку, Рим ему внимал.

Когда с победным криком пробегала
По улицам горячая молва,
Казалось, в Риме все торжествовало,
Сердца мужали в блеске торжества,
И шумно победителей встречали:
«Зачем вы Фердинанда в плен не взяли?» —
Один в народе слышится упрек.
«Французы! Мы и вам дадим урок,
Коли вы сами с честью не уйдете!»
Лесепс бесился (бедный дипломат!),
И Удино сказал ему: «Вы ждете,
А я так дождался, — Рим будет взят».

И вот, в лазури неба вещей птицей
Заклоктала — и, мерный полукруг
Чертя, спускаться стала над столицей
Дымящаяся бомба — ниже, ниже... вдруг
Над кровлями разорвалась — осколки
Посыпались на черепицу — с полки
У нашего Игната в мастерской
Слетели вместе с гипсовой ногой
Две стклянки с маслом — и кусочки глины
Посыпались, — куда уж тут писать!

Он быстро отшатнулся от картины
И, бледный, встал, не зная, что́ начать.

А! началось! — и грозное начало
Не предвещало доброго конца.
Игнат вставал с зарей, и что ж? Бывало,
Одеться не успеет, ни лица
Водою освежить, как за лучами
Проснувшегося солнца, над домами
Уже летят чугунные шары —
Гремят, — и утра свежие пары
Уж пахнут порохом; невольно
Он выбегал на улицу, — народ,
Вооружась, на смерть шел добровольно
И, к счастью, не заглядывал вперед.

Рим перестал подозревать измену
В своих стенах, и на неравный бой
Шел с облегченным сердцем, — так на сцену
Идет смеясь трагический герой.
Но там, где служат вековые стены
Кулисами, — там не такие сцены,
И не такие ложи, — широко
Они расставлены, и высоко
Сидят там короли в венцах — златая
Тиара свесилась — мундир посла
Блестит — министр, министра надувая,
Наивно спрашивает: как дела? —

На римской сцене совершалось много
Такого, что в наш меркантильный век
Напоминало дни, когда за бога
С богами шел бороться человек.
Вот, у крыльца, на каменной площадке
Два женских трупа: на груди их складки
Изорванной рубашки припеклись
К изорванному телу. Вот сошлись
Соседи — маленькие дети жмутся
К подолам женщин — старики намёт
Хотят поставить — руки их трясутся —
Игнат мой за носилками идет.

За полчаса несчастные божились
Из бомбы вырвать трубку иль фитиль,
Заспорили и обе устремились
На подвиг; сквозь поднявшуюся пыль
Над мостовой, ударом потрясенной, —
Обеим захотелось им зажженный
Фитиль схватить — и вот над фитилем
Они бороться стали. Грянул гром —
Не с неба грянул — небеса молчали
В тот миг, когда осколки чугуна
Ретивые сердца их разорвали
И выбили в кофейной два окна.

А вот одной из южных горожанок
Такой же подвиг удался вполне. . .
Художники! вы пишете вакханок,
Венер, Диан на вашем полотне;
Оставьте мифы — посмотрите: гордо
Подъемля кисти рук, походкой твердой,
Вся смуглая, под солнечным лучом
Она идет, сияя торжеством, —
Толпа за ней — и все кричат ей «браво!»
У ней на голове чугунный шар. . .
На целый день ее бессмертит слава,
И эту славу празднует базар.

Но никогда еще Игнат мой смеха
Такого не слыхал, как в день, когда
На улицах народною потехой
Был лист с проклятьем папы, — никогда
Он не слыхал еще таких визжаний,
Таких гнусливых дудок, завываний —
Концерта, не сравнимого ни с чем;
Я думаю, чертям в аду, и тем
От этих диссонансов было б тошно,
Сам сатана сгорел бы от стыда.
(Такой концерт придуман был нарочно:
Так пьяных в Риме водят иногда.)

Проклятье папы или отлученье
Прибито было к палке — и над ним
Несли дырявый зонтик, — без сомненья,

Сам Пий не ждал с проклятием своим
Такого всенародного почета.
Илюшин молча шел, но сзади кто-то
Его толкнул и дал ему свечу:
Неси! — и он понес; — не умолчу,
Как покраснел сконфуженный Игнатий,
Как он рукой старался защитить
Огонь свечи, — как, не боясь проклятий,
Боялся он толпе не угодить.

А бомбы падали... О! бомбы эти
Не ты ли, добрый пастырь, мечешь в Рим,
И бьют они детей твоих — и дети
Хохочут над проклятием твоим.
Твоею гордою душой Христос не понят —
Ты храмы запер, — слушай, как трезвонят
Колокола... они благовестят,
Что дети выросли... и что навряд
Тебе их испугать своим проклятьем...
Так думал про себя Игнатий — он...
На этот раз был пресмешным Игнатьем,
Так гордо выступал, что был смешон.

Смешон не так, как иногда бывает
Смешон болван, когда в толпе гостей
Он на себя вниманье обращает
Забавно-важной пошлостью своей.
Нет, в той толпе, где роль ему досталась,
Почти ни на кого не обращалось
Вниманья — каждый роль свою играл
По вдохновенью; каждый понимал,
Что это смех народа — смех притворный,
У многих на лице сквозь этот смех
Дрожали слезы — Рим в борьбе упорной
Не ждал и не желал таких потех.

Еще толпа была религиозна
И суеверна, — можно доказать.
Так, например, однажды, после грозной
И жаркой канонады, чтоб занять
Народ, друзья народа учинили

Такое зрелище: они сложили
На площади del' Popolo костры
И запалили. (Далеко с горы
Французы увидали сероватый
Столб дыму, — Удино вообразил,
Что город загорелся от гранаты,
И гром пальбы на время прекратил.)

На площади ж del' Popolo свершали
Ото-да-фе — как казнь новейших дней.
Кареты кардиналов сожигали,
Так точно, как когда-то жгли людей;
Те люди были в саваны одеты, —
Но не нуждались в саванах кареты.
В те дни, когда везде торжествовал
Дух инквизиции, стон землю оглашал —
Теперь же кардиналов экипажи
Трещали очень весело, когда
Со всех сторон огонь лизал их, — даже
И не вздохнули, — только иногда

Атласные подушки, слишком плотно
Обсиженные, покорясь нужде,
Горели как-то очень неохотно,
Шипели, как блины в сковороде.
Пока трещали кузова и стекла
В них лопались, румяные, как свекла,
Народные ораторы порой,
Чтоб как-нибудь подняться над толпой,
На козла вспрыгивали, на запятки
Влезали... и орали, не боясь,
Что прогорят у башмаков их пятки
Или шальная искра выжжет глаз.

Так за монашеские преступленья
Народ монашескую роскошь жег.
Свершая это жертвоприношенье,
Он, разумеется, никак не мог
Забыть одну... преступную карету,
Карету папы, — колесницу эту,
Украшенную дорогой резьбой

И золотом — как жертву на убой
Уже везли — кто уцепясь за дышлю,
Кто за рессоры... все кричали: жечь,
Жечь греховодницу! — и что же вышло?
Ее спасла нечаянная речь —

Речь одного поклонника искусства.
Любуясь изумительной резьбой
Фигур и орнаментов, он, из чувства
К прекрасному, невольно крикнул: «Стой!
Стой! прежде выслушайте адвоката;
Я адвокат — карета виновата —
Она возила папу, — ста́ло быть,
Ее нам также следует казнить;
Но слушайте, другое назначенье
Мы ей дадим... Взгляните на нее,
Какая прелесть, — эти украшенья,
Гирлянды... ангелы. Нет! мнение мое —

Такое мненье.., мы карету эту
Тому Христу-малютке подарим,
Который, гордому не внемля свету,
Так любит нас и нами так любим;
Как Пий, он никогда не брезгал нами,
Стучался в двери к нам, когда слезами
Мы обливались, — к бедным и больным
Он шел охотно, как родной к родным,
Как к братьям брат; везде, где умирали, —
Везде полупотухшие глаза
Его как бога, с верою встречали,
И вспыхивала мутная слеза.

И что ж! пока в карете мы возили
Святейшего отца — как сироту
С открытою головкой в жар носили
Небесного младенца: мы Христу
Не посвятили даже балдахина;
Мы видели, как маленький (bambino)
Мок под дождем... и не жалели мы
Спасителя, когда во дни зимы
Он к нищим шел, как нищий неодетый.

О братья, мы должны загладить грех,
Загладить грех наш этою каретой,
Другого средства нет — пошлюсь на тех,

На тех пошлюсь, в ком вера не простыла
И не замолкла совесть, — не дадим
Христа в обиду, — в нем вся наша сила. . .» —
«Так что ж нам делать?» —
«Вот что, подарим
Мы эту золоченую карету
Христу, пускай он ездит».
И на эту
Простую речь откликнулся народ
Восторженно — к Христу, к Христу! — и вот
Пока одни, водой наполнив шляпы,
Гасили уголья, другие повезли
Великолепную карету папы,
Под звон колоколов, к царю земли

Иль к детскому его изображенью. —
Так простодушной веры полон был
Народ, не верующий отлученью;
Так, ненавидя папу, Рим любил
Распятого, и так необычайно
Спаслась карета (этот факт — не тайна,
Его все знают), — только отнята
Теперь карета эта у Христа,
И в дни парадные в карете этой
Опять качается святой отец,
Любовью, правдой, разумом отпетый
И, стало быть, давно живой мертвец.

БОЛЬШАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

Гроза росла; — но не извивы молний,
А выстрелы сверкали. Никогда
И сам Зевес с Олимпа в мир наш дольний
Не извергал таких громов, когда
С титанами боролся. Облаками
Клубился дым, их серыми волнами,

Как некий древний бог, со всех сторон
Вольнолюбивый Рим был окружен.
Гроза росла — к французам приливали
Те силы, что позднее шли стеной
На вольных парижан и запятнали
Свой стяг братоубийственной враждой. . .

Они теперь над Римом упражнялись:
Зигзагами кой-где траншеи шли,
Кой-где росли, тянулись, приближались
Окопы и — мелькали фитили.
Окрестности от залпов содрогались,
Осадные орудья разгорались,
С холма на холм свинец дождем летел,
На груды тел валились груды тел;
Республика держалась за стенами;
Но этих стен кирпич за слоем слой
Срезали ядра, — мусор стен, местами
Заваливая рвы, лежал горой.

Рим стал дышать не воздухом, а дымом;
Однажды, из окна, на этот дым
Глядел Игнат — глядел, любуясь Римом,
И думал, злым отчаяньем томим:
«Неужели от этого пожара
Останется цела одна тиара!
Неужели враг мысли и труда,
Народа враг — не общий враг, когда
Он на своих чужое поднял знамя. . .»
И с ужасом воображал Игнат,
Как фрески Рафаэля лижет пламя,
Как, накалившись, мраморы трещат. . .

«С одним великим именем я связан
Был с ранних лет, и это имя — Рим;
Я лучшею мечтой ему обязан —
Обязан и погибнуть вместе с ним. . .»
Так юноша-художник волновался.
Уж под столом альбом его валялся,
Уж высохла палитра, уж давно
Пожухлое пылилось полотно.

Унылый скромник стал неузнаваем:
На перевязки рвал свое белье,
Иль, освежась поспешно русским чаем,
Двухствольное захватывал ружье

И выбегал . . . .
. . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

Это новое издание избранных стихотворений и поэм Я. П. Полонского отличается от предшествующего (1935 года) некоторыми изменениями — как в составе произведений, так и в примечаниях к ним. В разделе лирики убрано несколько относительно слабых и имеющих лишь историческое значение стихотворений и введено несколько новых; в разделе поэм оставлены только две: «Кузнечик-музыкант» и «В конце сороковых годов». (Из поэмы «Братья»). Комментарий сильно сокращен за счет биографических сведений и вариантов. По количеству стихотворений соотношение с так называемым «Полным собранием стихотворений» Полонского (1896 года) осталось почти тем же: из 395 в это издание вошло 164, причем (как и было) главное число невключенных стихотворений относится к поздним годам.

Тексты заново проверены и исправлены. Стихотворения, имеющиеся в издании 1896 года, печатаются по этому изданию, но с отступлениями в тех случаях, когда это необходимо. Дело в том, что это издание, изобилующее опечатками, ошибками и всякого рода текстологическими погрешностями, нельзя признать авторитетным и даже вполне авторским, хотя оно и вышло при жизни автора. Полонский был в это время уже болен и слаб (ему было 75 лет), и издание подготовлялось и осуществлялось не им, а только при некотором его участии. Об этом свидетельствует специальная надпись на титульном листе: *«Издание, просмотренное автором»*. Эта надпись (сделанная, надо думать, по указанию самого Полонского) не повышает авторитетности издания, а понижает его: она означает, что издание было сделано чужими руками и только отчасти авторизовано. Подлинные авторские прижизненные издания никогда не сопровождаются такого рода надписями и в них не нуждаются. Последним авторским прижизненным изданием стихотворений и поэм Полонского приходится, в сущности, считать первые три тома Полного собрания сочинений в 10 томах 1885—1886 годов (издание Ж. А. Полонской).

Издание 1896 года изобилует ошибками не только в текстах стихотворений, но и в их расположении, датировке и проч. Хронологический порядок (несмотря на распределение по пятилеткам) совершенно сбит и искажен: стихотворения пятидесятых годов попадают в раздел семидесятых — и наоборот. Пунктуация совершенно

не соответствует авторской и часто нарушает и смысл, и ритм, и интонацию подлинника. В настоящем издании принята современная система пунктуации, но с сохранением тех авторских знаков препинания, которые имеют особый эмоциональный смысл.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке и разделены на 6 периодов. Заголовок для первого периода заимствован из издания 1896 года («Студенческие годы»), но с добавлением — «Одесса», так как в этот раздел введены изданные в Одессе «Стихотворения 1845 года». Заголовок для второго периода («Закавказье»), объединяющий стихи 1846—1851 годов, взят из издания 1885 года. Даты под текстами поставлены в тех случаях, когда стихотворения были датированы самим автором или когда для их датировки есть достоверные данные. Подстрочные примечания в тексте, кроме специально отмеченных, принадлежат Полонскому.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ — ОДЕССА (1840—1845)

Жницы. Впервые — в студенческом альманахе «Подземные ключи» 1842 года. Перепечатано Полонским только в Полном собрании стихотворений 1896 года. Дата поставлена рукой Полонского в экземпляре «Подземных ключей», принадлежащем библиотеке Института литературы АН СССР.

Солнце и Месяц. Впервые — «Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, с вариантами.

В своих воспоминаниях о студенческих годах (Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год, № 12) Полонский пишет: «Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал на долю моей фантазии «Солнце и Месяц», приноровленной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, особенно дети».

Бэда-проповедник. Впервые — «Москвитянин», 1841, ч. I, № 4, с подписью «П»; в переработанном виде — «Современник», 1855, № 5.

Дорога. Впервые — «Москвитянин», 1842, ч. I, № 2, с подписью «П». В «Гаммах» — новая редакция, видоизмененная в издании 1855 года. В изданиях 1869 и 1885 годов отсутствует. В издании 1896 года текст снова изменен.

Печатаем по изданию 1896 года, хотя этот текст возбуждает сомнения. В «Гаммах» 6 строф, но строфа 5-я другая; в издании 1855 года — 5 строф: нет строфы 4-й, так что вся тема «знакомой лачужки» ликвидирована. В издании 1896 года произошло сочетание этих двух текстов: в текст издания 1855 года вставлена из «Гамм» 4-я строфа («И вижу я — навстречу деревушка»), причем слово «она» напечатано курсивом. Так как издание 1896 года отличается вообще большим количеством текстологических ошибок и недоразумений (см. вступление к примечаниям), то и в данном случае можно подозревать ошибку, не замеченную автором.

Маска. Впервые — «Отечественные записки», 1842, № 5, с вариантами.

«Пришли и стали тени ночи». Впервые — «Отечественные записки», 1844, № 6. Датируется 1842-м годом на основании письма Полонского к Белинскому (от 11 мая 1842 г.), где говорится: «Ради бога не печатайте второго стихотворения, *где ночные тени стоят на страже у дверей.* <...> Я его только что написал, так и послал к Вам, как говорится, сгоряча» («Венок Белинскому», 1924, стр. 236). В своих воспоминаниях о студенческих годах (Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год, т. 3, № 12) Полонский говорит: «Мое стихотворение «Пришли и стали тени ночи» было написано мной в такое время, когда я был еще целомудрен, как Иосиф. Фантазия, подсказывая мне только то, что могло бы быть, подсказала мне и это стихотворение: оно было послано мною Белинскому и напечатано им в «Отечественных записках». Это стихотворение целиком процитировано в рецензии Некрасова, очень сочувственно отозвавшегося на издание стихотворений Полонского 1855 года: «Недавно нам случилось рассматривать бумаги, оставшиеся после Гоголя. Между прочим Гоголь имел привычку выписывать для себя каждое стихотворение, которое ему нравилось, не справляясь, кто его автор. В числе стихотворений, выписанных его собственною рукою, мы нашли стихотворение г. Полонского. Вот оно для любопытных» (Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. М., 1950, т. IX, стр. 274).

На могиле. Впервые — в студенческом альманахе «Подземные ключи» (1842).

К NN. Впервые — «Москвитянин», 1843, ч. I, № 2, под заглавием «NN.» и с вариантами.

Вечер. Впервые — «Москвитянин», 1843, ч. I, № 2.

Тишь. Впервые — «Москвитянин», 1843, ч. I, № 2, с вариантами.

Узник. Впервые — в сборнике «Гаммы», с вариантами.

Цветок. Впервые — в сборнике «Гаммы», с вариантами.

Зимний путь. Впервые — в сборнике «Гаммы».

В гостиной. Впервые — в сборнике «Гаммы», где были еще четыре начальные строки, потом замененные строкой точек.

Встреча. Впервые — в сборнике «Гаммы».

Это стихотворение неоднократно пародировалось — в том числе И. И. Панаевым (См. сборник «Мнимая поэзия», под ред. Ю. Тынянова, Л., 1931, стр. 311). Выражение «погибшее, но милое созданье» взято у Пушкина («Пир во время чумы»).

К демону. Впервые — в сборнике «Гаммы», без заглавия.

В письме к Н. М. Орлову от 1 июля 1844 года Полонский писал:

«Теперь моя тетрадь в цензуре у Николая Крылова — боюсь, что многое не пропустит — особенно стихотворение *К демону*, где есть следующие стихи». Приводится цитата — *«И вот среди мятежных дум»* и т. д. («Новые пропилеи», М. — Пгр., 1923, т. I, стр. 63). В письме к П. Н. Кудрявцеву от 6 сентября 1844 года (архив Полонского), когда «Гаммы» уже вышли, Полонский писал: «Стихотворение *К демону* цензура благоволила пропустить с небольшим пропуском; спасибо ей! — Это стихотворение я читал когда-то вам и оно вам также нравилось. Я, признаюсь вам, как-то охладел к нему. — Здесь роль демона — роль второстепенная. Победить его невозможно, возможно только помириться с ним. Жаль, что я тогда не читал [1] и довольствовался Демоном Пушкина. К тому же это стихотворение во многих местах выполнено довольно слабо.

Теперь попробуй, демон *мой!*

Слово *мой* неприятно действует. Быть может этот демон и был исключительно только *моим* демоном, в таком случае, я боюсь, стоило ли мне писать об нем...»

На основании этих писем восстанавливаем заглавие *«К демону»*, исчезнувшее, надо полагать, по цензурным причинам.

Это стихотворение Полонский упоминает в числе тех, которые были отражением «страшной умственной и нравственной ломки», пережитой им в последние годы пребывания в университете.

К у м и р. Впервые — в сборнике «Гаммы», где после первой строфы есть еще одна.

«П о с м о т р и — к а к а я м г л а». Впервые — в сборнике «Гаммы», с вариантами.

Н о ч ь в г о р а х Ш о т л а н д и и. Впервые — в сборнике «Гаммы».

Л у н н ы й с в е т. Впервые — в сборнике «Гаммы», с вариантами.

«У ж е н а д е л ь н и к о м». Впервые — в сборнике «Гаммы», где есть варианты, из которых один любопытен. После второй строфы следует:

Ты говорила мне — как хороша свобода,
Ты говорила мне о братстве, о любви,
И о грядущем . . . .
. . . .

Точки эти, повидимому, цензурного происхождения; можно предполагать, что третья строка кончалась словами «равенстве народа». Как видно из письма Полонского к Н. М. Орлову («Новые пропилеи», М.—Пгр., 1923, т. I, стр. 63), «Гаммы» прошли цензуру

---

[1] В тексте после этого слова — пробел: может быть, Полонский хотел сказать о «Демоне» Лермонтова.

Н. Крылова. «Боюсь, что многое не пропустит», — писал Полонский. Цитируя это стихотворение в своей статье о Полонском («СПб. ведомости», 1870, № 8), Тургенев указывает на присутствие в нем «особого оригинального оборота, особого лада стихов».

Магомет перед омовением. Впервые — в сборнике «Гаммы», под заглавием «Из Магомета. (Перед омовением)».

В своих воспоминаниях о студенческих годах (Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год, т. 35, № 12) Полонский говорит: «В это время моей настольной книгой была «Les livres sacrés de l'orient» («Священные книги востока»). Там был и Коран Магомета, но с Кораном я был знаком и раньше по переводу с английского языка, сделанному чуть ли не при Екатерине II, с примечаниями почти на каждой странице. Эпитет *всепревозмогающий* заимствован из этого перевода. Вполне убежденный, что Магомет не был шарлатаном, а человеком, искренно поверившим в свои галлюцинации, я затеял драматическую поэму «Магомет», где действующими лицами были между прочим: кроме Магомета, Абу-Талеб, который дал ему оплеуху, Омар, племянник его Али, Кадишо и Айша. До сих пор где-то сохранилось у меня начало этого произведения, отрывки же из него вошли в полное собрание моих стихотворений: «Из Корана», «Монолог Магомета».

К этим же отрывкам относится, очевидно, и стихотворение «Магомет перед омовением», представляющее собой тоже монолог, написанный белым стихом.

Из Корана. Впервые — в сборнике «Гаммы». См. комментарий к предыдущему стихотворению.

Прогулка верхом. Впервые — в сборнике «Литературный вечер» (памяти В. В. Пассека) (М., 1844). При жизни Полонского не перепечатывалось.

Вызов. Впервые — «Отечественные записки», 1845, № 5. В сборнике «Стихотворения 1845 года» вторая строфа изменена, но в «Стихотворениях» 1855 года и во всех последующих прижизненных изданиях восстановлен первоначальный текст. В автографе дата: «1844. — Октябрь».

Тени. Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года».

Прощай. Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года».

«Развалину башни, жилище орла». Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года».

Маяк. Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года»; при жизни автора не перепечатывалось.

Вальс «Луч надежды». Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года», под заглавием «Вальс Hoffnungs-Strahl».

Последний разговор. Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года», с вариантами.

Утро. Впервые — в сборнике «Стихотворения 1845 года».

«Ах, как у нас хорошо». Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года, с датой «1845».

Переход через Неман. Впервые — в издании «Стихотворения» 1855 года. В издании 1896 года напечатано в разделе, датированном годами 1845—1850, после стихотворения «Развалину башни».

Полонский описывает здесь тот начальный момент Отечественной войны 1812 года, который впоследствии описал Толстой в «Войне и мире» (т. III, ч. I, гл. II). Материалом для Полонского послужили, вероятно, работы А. И. Михайловского-Данилевского.

Птичка. Впервые — «Пантеон», 1853, т. IX, кн. 6. В издании 1896 года напечатано в разделе, датированном годами 1840—1845, перед стихотворением «Ах, как у нас хорошо».

ЗАКАВКАЗЬЕ (1846—1851)

Прогулка по Тифлису. Впервые — в сборнике «Сазандар» (1849), с подзаголовком «(Письмо к Л. С. П-шк-ну 1846 года)».

Стихотворение написано в виде письма к брату А. С. Пушкина, Льву Сергеевичу, с которым Полонский познакомился в Одессе. В параллель к этому «письму» можно поставить незаконченный очерк Полонского «Тифлис на лицо и на изнанку» («Закавказский вестник», 1850, № 7), начинавшийся так: «Помню, какое тяжелое, безотчетно-неприятное впечатление произвел на меня серо-каменный Тифлис, когда я впервые въезжал в него, — это было в июльский полдень — и живо помню, как вечером, в тот же день, я не мог налюбоваться им». К строке *Мне виден замок за Курою* — в «Сазандаре» было примечание: «Метех — небольшое укрепление, построенное при главнокомандующем в Грузии А. П. Ермолове. — Метех стоит над Курою, на краю береговой скалы, и господствует над городом. — В начале семнадцатого столетия здесь был дворец царя Арчила, им покинутый и потом занятый турками». *На них бубенчики нестройные звенят* — эта строка почти цитата из Лермонтова: «Звонков раздавались нестройные звуки» («Три пальмы»).

Затворница. Впервые — в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» (М., 1847), с вариантами. Под текстом дата: «Тифлис. 1846 г., июля 20».

Стихотворение это, особым образом истолкованное, вошло в репертуар острожного пения: «Ссыльному достаточно услышать хоть несколько слов в песне «о родине и дальней стороне», как он заносит ее в своей репертуар. Так, например, вошла в употребление песня «В одной знакомой улице» только потому, что тут есть намек

о какой-то узнице, сидящей под окном (острог это понял по-своему), и затем слова:

Такие речи дерзкие она твердила мне
О мужестве, о родине, о дальной стороне,

вместо «об обществе, о музыке, о дальной стороне» (Н. Ядринцев. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872, стр. 115). Из тюрьмы песня эта проникла и в политические кружки.

Грузинка. Впервые — в газете «Кавказ», 1846, № 31, с датой «Тифлис. Июля 16-го 1846 года». Эта первая редакция сильно отличается от той, которая появилась в сборнике «Несколько стихотворений» (1851) и перепечатывалась в позднейших прижизненных изданиях.

Татарская песня. Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1847, № 3 (часть неофициальная), где текст сильно отличается от того, который появился в сборнике «Несколько стихотворений» (1851).

Текст примечания в газете иной, чем в сборнике: «Эта песня переведена Абас-Кули-Ханом и заимствована из ненапечатанного сборника восточных песен, собранных г. Ладо-Заблоцким, в сборнике она переведена прозой на польский язык. Размер, данный мною этой песне, совершенно произвольный». Абас-Кули-Хан (Аббас-Кули Бакиханов) — азербайджанский историк, философ и поэт (1794—1847). В 1819 году он был приглашен А. П. Ермоловым в Тифлис в качестве переводчика и служил вместе с А. С. Грибоедовым (см. запись от 26 июня 1827 года в «Путевых заметках» Грибоедова). В тридцатых годах он совершил путешествие по России, побывал в Литве и Польше, «знакомился с государственными лицами и людьми, известными ученостью или искусствами» (См. его книгу «Гюлистан-Ирам». Баку, 1926), «Бакиханову выпала великая миссия — быть первым просветителем своего народа <...>. Идейная и личная дружба Бакиханова с Грибоедовым, Пушкиным, А. Бестужевым, русскими декабристами много содействовала оформлению передовых идеалов азербайджанского просветителя» (М. Рафили. И. А. Крылов и азербайджанская литература. Баку, 1944). Польский поэт Тадеуш Лада-Заблоцкий (1813—1847), учившийся в Московском университете одновременно с Белинским, был арестован в 1833 году по делу «О песне возмутительного содержания»; в 1837 году он был сослан на Кавказ в рядовые (См. подробно в работе М. Полякова «Студенческие годы Белинского», напечатанной в «Литературном наследстве», М., 1950, т. 56). В 1845 году в Петербурге вышел сборник стихотворений Заблоцкого («Poezje T. Ł. Zabłockiego, wydaw R. Podbereski») с целым отделом кавказских стихотворений и с переводами из Байрона, Гюго, Кольриджа и др. Полонский познакомился с Заблоцким в 1846 году — за год до его смерти. В 1849 году в польском журнале «Рочник литерацки», выходившем в Вильно, было напечатано письмо Заблоцкого к издателю его стихотворений Р. Подберескому (от 10 июня 1843 года); в этом письме он говорит о своих прежних занятиях славянской филологией, а затем сообщает: «Я уже несколько месяцев сижу над переводом на русский

язык Истории Восточного Кавказа, написанной полковником Абас-Кули-Ханом Бакинским. Эту работу я выполняю по приказу, под присмотром автора, и поэтому слава и почет достанутся одному только автору. <...> Как только время позволит, я займусь историей Кавказа на польском языке. Абас-Кули, чтобы не обидеть некоторых потомков исторических особ, кое-какие факты исказил, а о других промолчал. Я знаю об этом и мог бы в польском переводе исправить эти ошибки» («Rocznik literacki», Вильно, 1849, стр. XIII—XIV). Речь идет, очевидно, о книге Бакиханова «Гюлистан-Ирам» («Райский цветник») — первой работе по истории Азербайджана с древнейших времен до начала XIX века. Полностью эта книга была напечатана в русском переводе только в 1926 году. Из письма Заблоцкого следует, что русский перевод сделан им.

Нищий. Впервые — в сборнике «Литературные вечера. Издание Николая Фумели. Вечер второй» (Одесса, 1850). Под текстом дата: «1847 г.» В сборнике Полонского «Несколько стихотворений» (1851) дата: «1848».

Горная дорога в Грузии. Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1848, № 4 (без подписи).

Стихотворение написано, очевидно, в то время, когда Полонский ездил по Тифлисской губернии, собирая по поручению начальства материал для статистики. В неизданных воспоминаниях Полонский пишет: «Я не вставал с лошади в 1848 (если не ошибаюсь) [1] с 11 апреля по 16 сентября, ездил на своем англинском седле и на переменных лошадях».

Грузинская песня. Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1848, № 10, под заглавием «Содержание одной простонародной грузинской песни» и без подписи. Повторено в сборнике «Сазандар» с посвящением К. М. Б-к-му.

Грузинская ночь. Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1848, № 24, без подписи, с посвящением М. Чиляеву.

К слову *чингури* в «Сазандаре» более подробное примечание: «*Чингури* — музыкальный инструмент с четырьмя, а иногда и с пятью металлическими струнами. На струнах играют одним пальцем, на который обыкновенно надевают искусственный костяной ноготь (музрапи). Чингури такой же общеупотребительный инструмент за Кавказом, как в России балалайка». Чиляев, которому посвящено это стихотворение, очевидно, Михаил Егорович, сын Егора Гавриловича Чиляева, писателя-юриста, и племянник Бориса Гавриловича Чиляева, управлявшего в двадцатых годах горскими народами в Душете (См. «Русский архив», 1904, № 1). М. Е. Чиляев был в это время чиновником особых поручений при начальнике гражданского управления Закавказского края В. О. Бебутове. Умер в Тифлисе в 1876 году. В «Закавказском вестнике», 1846, № 13 напечатан его очерк «Зедзаденский монастырь».

Татарка. Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1848, № 27, без подписи, с посвящением Ф. Байкову.

---

[1] На самом деле в 1847 году.

В Имеретии («Царя Вахтанга ветхие страницы»). Впервые — в газете «Закавказский вестник», 1848, № 49, под заглавием «В Грузии» и с вариантами.

В «Сазандаре» к этому стихотворению сделано примечание: «Охотникам до журнальных рецензий рекомендую 3 № Кавказа 1849 года, где они могут прочитать разбор этого стихотворения». К словам *доблестной царицы* там же примечание: «*Тамары* — в Имеретии много развалин, которые носят имя знаменитой царицы. — Развалины дворца ее в окрестностях Кутаиса посещал я в 1846 г.»

После праздника. Впервые — в сборнике «Сазандар», где посвящено И. Ф. З-ву (Ивану Федоровичу Золотареву, с которым Полонский подружился в Одессе).

В «Сазандаре» к этому стихотворению Полонским сделан специальный этнографический комментарий — отрывок из описания Мардкопского праздника, напечатанного им в фельетоне «Закавказского вестника», 1849, № 35. Слово *азарпеша* объяснено в «Сазандаре» более подробно: «серебряная или золотая с рукояткой заздравная чаша, необходимая принадлежность грузинских обедов, — азарпешу передают из рук в руки по приговору тулубаша, или начальника попойки, избранного гостями. Обыкновенно каждый должен пить за здоровье каждого, т. е. столько раз, сколько присутствующих». К последней строке есть примечание: «В Грузии не только в городах, но и в деревнях случается встретить женщин в атласе и бархате».

Не жди. Впервые — в сборнике «Сазандар».

К слову *личак* в сборнике «Сазандар» дано подробное примечание: «Лучшая принадлежность женского головного убора в Грузии. Личак — род вуаля, который постоянно откинут назад и висит бесчисленными складками гораздо ниже пояса — при малейшем ветре он волнуется, потому что обыкновенно бывает тюлевый, иногда вышитый белым шелком, иногда усыпанный серебряными звездочками. Пожилые женщины уже перестают носить личак». В повести Полонского «Тифлисские сакли» есть подробное описание Салалак: «Кто живал в Тифлисе, тот, конечно, не может не узнать одного из самых живописных уголков его: этот уголок — Салалакское ущелье или просто *Салалаки*, некогда одно из предместий небольшой столицы Грузии, теперь небольшой квартал одного из обширнейших городов в России».

Кахетинцу. Впервые — в сборнике «Сазандар», где после строки 16 следуют стихи:

Ты горд — я знаю, — но... тобою ли гордится
Твой чудный край! — Скажи, ты не слыхал *об ней?* ..
Ты не видал ее? — Что, — ежели случится,
Увидишь! — Я б желал, — для юности твоей —

Желал бы одного из тех мгновений —
Когда душа становится полна
Иных незваных дум — иных стремлений,
Тревожных без войны, отрадных без вина.

Ступай, — найди ее, — неведомый доныне

В «Сазандаре» это стихотворение сопровождается более подробными примечаниями. Так, вместо слова *букетами* было — *нобатами*, с объяснением: «*Нобат* — круглый поднос из цветов на деревянных ножках. Искусством делать нобаты смело могут похвалиться здешние садовники. Нобатами называются также плетенные из ветвей корзины». К строке *В давильнях толкотня:* «Строения, где делают и хранят вино, называются в Грузии маранями. *Давильня* — это место в марани, отгороженное каменною стенкой, куда сваливают виноград и давят его босыми ногами. Виноградный сок по желобам стекает прямо в кувшины, врытые в землю. Эти кувшины бывают иногда в сажень глубины». К строке 12: «Знаменитый Аллавердский праздник в Кахетии бывает 14-го сентября». Давид Александрович *Чавчавадзе* (1818—1884) — родной брат Н. А. Грибоедовой. В 1844 году он был назначен командующим Кахетинской конной милицией, а в 1847 году — адъютантом Воронцова.

Агбар. Впервые — в сборнике «Сазандар».

В «Сазандаре» есть специальное примечание к слову *колючий:* «Эпитет *колючий* покажется неверным для тех, кто не знает, из каких колючих сучьев делаются здешние плетни, — слово *плетень* скорей неверно, потому что их делают, насаживая на колья пучки сухих, тесно перепутанных колючих сучьев. Перелезть через такой плетень просто нет возможности. К слову *агалар* примечание в «Сазандаре» более подробное: «*Агалары* — сословие, пользующееся особыми правами в здешних мусульманских провинциях. Что же касается до образа жизни и образованности, большая часть из них ничем не отличается от крестьян своих».

Имеретин. Впервые — в газете «Кавказ», 1850, № 89, под заглавием «Дума имеретина», с посвящением кн. А. И. Гагарину. Текст сильно отличается от позднейшего, впервые появившегося в журнале «Пантеон», 1853, т. IX, кн. 5. Интересна последняя строфа:

И в рай земной мы землю нашу
Преобразим — и на пиру
Когда-нибудь поднимем чашу
За тех, кто нас учил добру.

Над развалинами Имеретии.. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 25, без заглавия. В сборнике «Несколько стихотворений» дата: «1850 (Кутаис)».

Полонский написал в это время для Тбилисского театра историческую драму «Дареджана, царица Имеретинская». Пьеса не была разрешена к постановке (см. «Красный архив», т. VII, 1924) и появилась в изуродованном цензурой виде в «Москвитянине», 1852, ч. II, № 7. Подробности см. в письмах Полонского к Г. П. Данилевскому (Гос. публ. библиотека) и у Н. Барсукова — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. XI. СПб., 1897.

Гелат (Гелати) — древний грузинский монастырь в 7 км от Кутаиси.

Старый сазандар. «Впервые — в издании «Стихотворения» 1855 года, с датой «1853». Несмотря на эту дату, надо полагать (как

это часто у Полонского), что первоначальный набросок стихотворения относится к тифлисскому периоду его жизни. Поэтому помещаем его в отделе «Закавказье», как это сделал и сам Полонский в издании 1885 года.

Качка в бурю. Впервые — «Библиотека для чтения», 1850, т. 104, № 11. Посвящение появилось в «Стихотворениях» 1855 года.

Осенью 1850 года Полонский приезжал из Тифлиса в Одессу, где познакомился с Г. П. Данилевским. В воспоминаниях о Н. Ф. Щербине Данилевский, между прочим, рассказывает: «Я уехал на пароходе «Тамань» в Крым одновременно с Я. П. Полонским, который возвращался на Кавказ, где он в то время редактировал «Закавказский вестник». На пути мы вынесли сильный шквал; половину путешественников укачало. В Ялте Я. П. Полонский, остановившись в одной гостинице со мной, прочел мне и вписал карандашом в мою памятную книжку новое свое стихотворение «Качка в бурю», очевидно написанное им под впечатлением перенесенного нами шквала, обозначив под ним: «Пароход «Тамань». Сентябрь 1850 г.» (Г. П. Данилевский. Собрание сочинений. СПб., 1901, т. XIV, стр. 159.) 10 декабря 1850 года Данилевский из Петербурга писал Полонскому в Тифлис: «Ваше стихотворение, напечатанное мною в Библиотеке, произвело эффект». Полонский отвечал 5 января 1851 года: «Благодарю вас от души за все лестное для меня в письме Вашем — и все-таки скажу Вам — жаль, что *Качка в бурю* напечатана. Будь она хороша, не досталось бы мне за нее от Ханыкова и других моих тифлисских приятелей — просто бранят меня, что печатаю стихи до того не обделанные, не обработанные» (Автограф Гос. публ. библиотеки).

Ночь на восточном берегу Черного моря. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 1, с датой: «Пароход «Тамань». 1850 года», с подзаголовком «Сонет» и с эпиграфом: «Oh, who can tell. Byron» («О, кто может рассказать. Байрон»). Есть варианты.

Ночь. Впервые — «Москвитянин», 1851, ч. I, № 2, с вариантами.

В сборнике «Несколько стихотворений» (1851) заглавие: «Бессонница»; в «Стихотворениях» 1855 года восстановлено первоначальное заглавие. В «Москвитянине» под текстом точная дата: «30 августа 1850. Массандра, на южном берегу Крыма». В издании 1869 года — другая дата, повидимому ошибочная: «Массандра. 1849». Во всех изданиях до 1869 года крайние строфы — по 4 строки, а внутренние — по 8; в следующих изданиях все строфы по 4 строки. Мы восстанавливаем первоначальное расположение.

«Не мои ли страсти». Впервые — «Москвитянин», 1851, ч. II, № 7.

Сатар. Впервые — в сборнике «Несколько стихотворений», с подзаголовком «(Посв. И. А. Сливицкому)». Здесь есть еще заключительная строфа, отпавшая в «Стихотворениях» 1855 года:

Я чувствую, что раб иначе петь не может, —
И в музыке твоей мне слышен звук цепей,

Сатар! Сатар! твой плач меня тревожит
Не легче грустных дум об участи людей.

В примечаниях Полонский сообщает: «Сатара можно слышать на грузинских и армянских свадьбах, куда он является в сопровождении музыкантов. Ему аккомпанируют: *чунгури, бубен, тимплипито* и *чиа-нури,* т. е. азиятская скрипка. Его восторженно-дикие вопли, поражая слух европейца новизною, рождают в душе странное, тревожное чувство».

Саят-Нова. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 2.

Саят-Нова — классик ашугской поэзии. Он родился в Тифлисе в 1712 году, в семье ремесленника, и в молодости был ткачом. Подлинные имя и фамилия его — Арутюн Саядянц; Саят-Нова — псевдоним, означающий «царь песнопений». Он сочинял песни на трех языках: армянском, грузинском и азербайджанском, причем его армянские стихи написаны не на книжном, а на тбилисском народном диалекте. В армянской литературе XVIII века он занимает самое значительное место. «Стремление к совершенству и свободе человеческой личности, к гармонии тела и духа, к эмансипации человека от власти церкви, схоластики и пр. — все эти элементы составляют основное содержание его поэзии. <...> В лице Саят-Новы армянская ашугская поэзия достигла высшей ступени развития» («Антология армянской поэзии», М., 1940, стр. 20—21). В сборнике «Несколько стихотворений» Полонский сделал к своему переводу следующее примечание: «Предлагаемое стихотворение есть перевод нескольких строф из небольшого числа его (Саят-Нова) песен, пощаженных временем. Первый стих этого стихотворения грешит против физики — но это не моя вина. О Саят-Нове и характере его песен я написал небольшую статью. См. 1 и 2 №№ газеты «Кавказ» 1851 года». В этой статье Полонский говорит: «Саят-Нова — имя, которое несколько дней тому назад было неизвестно даже тому, кто в эту минуту решается писать об нем, и которое однако же сто лет тому назад было громко в стенах старого Тифлиса и, вероятно, повторялось на всех пирушках, начиная с царского дворца до сакли ремесленника. Если б судьба не сохранила одной небольшой тетрадки, сшитой еще до нашествия Ага-Мухаммед-Хана и исписанной по-армянски грузинскими буквами, тетрадки, у которой края получили кофейный цвет от бесчисленного множества пальцев, по нескольку раз переворотивших каждую страницу — что между прочим само говорит за ее достоинство; если б наконец не в добрые руки попалась эта тетрадка, имя Саят-Нова навсегда исчезло бы из людской памяти подобно тысяче имен, достойных жить по крайней мере для двух или трех поколений и невозвратно потерянных для самого ближайшего потомства. Эта тетрадка — импровизации Саят-Нова, записанные им самим, с его собственноручными отметками; она шла из рода в род и старина ее не подлежит сомнению: — бумага заграничная, и на двух ее страницах, если только рассматривать их к свету, ясно просвечивается 1725 год ее фабрикации. Бедный армянин по происхождению, ткач по ремеслу, сазандар или певец по влечению души своей, гуляка в юности, отшельник в старости и наконец христианин, с крестом в руках убитый врагами веры на пороге церк-

ви. Вот кто был Саят-Нова. Спустившись на Майдан (базарную площадь в Тифлисе), оглянитесь направо, и вы увидите из-за плоской кровли синий конический купол древне-армянской церкви, называемой крепостью, потому что помещалась когда-то внутри тифлисской крепости. На дворе этой церкви, где теперь так часто собираются амкары для разного рода торговых сделок — в 1795 зарыт окровавленный труп одного осьмидесятилетнего старца, и этот старец был — Саят-Нова. <...>Язык его песен — язык простонародный, базарный, понятный каждому сословию. В нем ничего нет книжного. <...> Достоинство этих песен — необыкновенная сила, сжатость и гармония стиха — гармония, от которой армяне приходят в восторг. Размера же стихов его не мог я ни узнать, ни даже понять, когда мне читали их. Если и есть в армянских песнях тонический размер — он не похож ни на один известный мне, и потому перевести его песни размером подлинника нет возможности. На русском языке, например, не может быть такой стопы (— — —). <...> В заключенье статьи моей предлагаю стихотворение, написанное под влиянием одной из песен Саят-Нова. Не смею назвать стихи мои переводом: когда я писал их, я только помнил мотив и давал полную волю своей фантазии». К словам о тетради со стихами Саят-Новы Полонский сделал примечание: «Я видел ее у г. Ю. Ф. Ахвердова, любителя армянской литературы и собирателя армянских песен. Ему я обязан возможностью написать статью, предлагаемую читателям Кавказа». Юрий Федорович Ахвердов (он же Егор Федорович) — сын генерала Ф. И. Ахвердова, пасынок Прасковьи Николаевны Ахвердовой (Арсеньевой), которая была в дружеских отношениях с Грибоедовым и Кюхельбекером. Среди песен Саят-Новы нет такой, которую можно было бы считать оригиналом стихотворения Полонского (см. Саят-Нова. Песни, М., 1939, и в «Антологии армянской поэзии»), но в песне, начинающейся словами: «Твой силен ум: таким рожден», есть строки: «Бьет ветр морской, песок гоня: песка не меньше будет всё ж! Живу ль, не станет ли меня, толпу напев разбудит всё ж!» В стихотворении Полонского есть отражение этих строк. Что касается размера, то Полонский применил гекзаметр.

Тамара и певец ее Шота Руставель. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 12, с датой «12-го февраля 1851 г.». Текст сильно отличается от того, который появился в сборнике «Несколько стихотворений» и остался неизмененным в позднейших изданиях.

В газете примечание к начальным словам подробнее: «Замок Роз, по-грузински *Вардис-цихе,* был построен верстах в 20 от Кутаиса. Тамара, по словам преданий, любившая роскошь и все изящное, любила розы и развела их во множестве в замке, бывшем ее летнею резиденциею. Эти розы дали название замку, а может быть он получил это поэтическое прозвище и вследствие восточного обыкновения давать подобные имена дворцам и вообще богатым загородным домам. Например: *Розовым садом* (Гюлистан) назывался загородный дворец близ Сарая. Развалины Вардис-цихе до сих пор сохранились, но разумеется, что там уже нет ни следов роскоши Тамары, ни кустов ее любимых роз. Г. Мегвинетхуцесов, посещавший замок в прошлом году, говорил мне, что он расположен на

горе, окружен полууцелевшими стенами, имеет башни и небольшую церковь, без надписей и остатков живописи». В сборнике есть примечания, потом уничтоженные. К словам *В византийской одежде* (строка 18): «Шота Руставель свою молодость провел в Византии, где и получил образование». К словам *Довершу я созданье мое* (строка 4 с конца): «Некоторые из грузин уверены, что в поэме своей «Барсова кожа» Шота Руставель, под именем дочери индейского царя, Нестан-Дареджаны, воспевает царицу Тамару. Все изустные преданья о веке Тамары единогласно подтверждают, что Шота Руставель был влюблен в знаменитую царицу. Есть еще преданье, будто Руставель был отравлен за то, что осмелился просить руки царицы в награду за стихи свои». В газете «Кавказ», 1845, №№ 30—32 напечатана повесть М. Майсурова (сослуживца Полонского по канцелярии наместника) — «Замок Вардцихе», излагающая легенду о Тамаре и Руставели. В «Закавказском вестнике», 1849, № 19, напечатана статья И. Сливицкого (автора ряда статей по истории Грузии) «Царица Тамара. По историческим данным и по преданиям, и ее влияние на век».

Кн. С. А. Г-ной. Впервые — «Русская старина», 1884, № 11 («Ранние стихотворения Я. П. Полонского») под заглавием «К. Г.»; перепечатано в Полном собрании сочинений, т. II, 1886 (с датой «Тифлис, 1849») и включено в издание 1896 года. В архиве Полонского есть копия с датой «5 марта 1851».

А. А. Харитонов в своих воспоминаниях о службе на Кавказе утверждает, что это стихотворение Полонский написал в честь княжны Варвары Ильиничны Грузинской, вышедшей замуж за И. Орбельяни («Русская старина», 1894, № 4, стр. 146). Однако, судя по заголовку, стихотворение посвящено Софье Андреевне Гагариной (рожденной Дашковой), жене художника Григория Григорьевича Гагарина, приехавшей в Тифлис к зимнему сезону 1849—1850 года. В «Голосе минувшего» (1915, № 9) это стихотворение было напечатано В. В. Мияковским как принадлежащее М. Л. Михайлову, на том основании, что оно вписано в альбом О. С. Чернышевской с подписью «М. Михайлов». На том же основании Н. М. Чернышевская приписала это стихотворение М. Л. Михайлову в своей публикации «Альбом О. С. Чернышевской» (сб. «Звенья», VIII, 1950, стр. 559, 571, с ссылкой на статью В. В. Маяковского); это повторено и в составленной ею «Летописи жизни и творчества Н. Г. Чернышевского» (1953, стр. 86). На самом деле это стихотворение Я. П. Полонского, хорошо известное его другу М. Л. Михайлову, было вписано в альбом О. С. Чернышевской не им, а его братом Николаем (ср. его же прозаическую запись на стр. 573). Как видно из описания альбома (стр. 562), оно не было подписано; подпись была, очевидно, сделана впоследствии на основании вложенного в альбом листка, на котором рукой М. Н. Чернышевского написано: «Михайлов»; имя (М. Михайлов) поставлено ошибочно. Так возникла цепь ошибок и недоразумений, приведшая к тому, что автором стихотворения Полонского «У нее, как у гитаны» был объявлен М. Михайлов, а первым публикатором оказался не В. В. Мияковский, а Владимир Владимирович Маяковский (См. в алфавитном указателе к «Звеньям», стр. 844).

Выбор уста-баша. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 30, под заглавием «О том, как тифлисские нищие избирали себе уста-баша», с датой «1851». Есть варианты.

В сборнике «Несколько стихотворений» имеется примечание: «Стихотворение «Выбор *уста-баша*» основано если не на действительном факте, по крайней мере на молве, известной всему Тифлису». К слову *амкар* сделано примечание: «*Амкар* — община. В отношении к понятию о цехе это слово имеет более обширное значение, ибо цех предполагает только общину мастеров или ремесленников, тогда как в Тифлисе *амкары* составляют не только ремесленники, но и торговцы, как то бакальщики или продавцы фруктов, водовозы и другие. Выбор уста-баша сопровождается разными церемониями. См. «Кавказ» 1850 года, № 95, статья И. А. Сливицкого». Кроме этой статьи в газете «Кавказ», 1846, №№ 41 и 42, была статья С. Патканова «Уста-баш», где подробно описывается смысл и значение этой общественной должности.

В Имеретии («Риона шум и леса тень»). Впервые — в газете «Кавказский вестник», 1851, № 25; при жизни автора не перепечатывалось. Под стихотворением дата: «Кутаис, Мая 23. 1851».

В газете это прощальное стихотворение напечатано без подписи, но совершенно несомненно, что оно принадлежит Полонскому.

Караван. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

В неизданных воспоминаниях Полонский, рассказывая о своих поездках верхом по Кавказу, говорит: «В Сером замке Борчаленского участка познакомился я с бывшим атаманом разбойников Таш-Тамуром. Это знакомство навело меня на мысль описать жизнь закавказского разбойника — и я начал рассказ «Какая ночь, не ночь, а рай» (начало его напечатано). Несмотря на всю свою правдивость и картинность, стихи эти не удостоены были внимания публики, как и все, что я написал достойного внимания...» (Архив Полонского). Судя по этим словам, повесть была начата в Тифлисе. См. в «Закавказском вестнике», 1847, №№ 22 и 23 очерк «Письмо из Серого замка», где сделано подробное описание этого замка и окружающей местности. Очерк без подписи, но, по всем признакам, принадлежит Полонскому.

На пути из-за Кавказа. Впервые — в газете «Кавказ», 1851, № 70, с датой «10-го июня 1851 года».

Написано после отъезда из Тифлиса в Рязань к больному отцу. Вторая часть стихотворения обращена, очевидно, к Софье Гулгаз — тифлисской возлюбленной Полонского, описанной им в рассказе «Тифлисские сакли». Уезжая из Тифлиса, Полонский не знал, куда он поедет после Рязани (*из родимых полей*): под *краем чужим* он разумеет, очевидно, Москву или Петербург.

50-е ГОДЫ

Рыбак. Впервые — «Современник», 1852, № 1.

Это стихотворение — вольный перевод баллады Гете «Der Fischer» («Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll» — ср. перевод Жуковского).

Финский берег. Впервые — «Москвитянин», 1852, ч. VI, № 21, с подзаголовком «Идиллия» и с датой «1852. Пароход Гелламо». Есть варианты.

Стихотворение написано в пути — по дороге в Финляндию и в Гапсаль, куда Полонский ездил лечиться (См. его шутливое стихотворение «Гапсаль 1852» в издании «Стихотворения» 1859 года, стр. 45). Михаил Егорович *Кублицкий*, которому посвящено это стихотворение, был товарищем детства Полонского и остался на всю жизнь близким его приятелем (родился в Рязани в 1821 году, умер в Москве в 1875 году). Сотрудничал в разных периодических изданиях (фельетоны, театральные рецензии, библиографическая хроника), был большим знатоком театра и музыки («Мольер» в «Репертуаре и Пантеоне», 1844, т. V; «Опыт истории театра у древних народов», 1849; «История оперы в лучших ее представителях», 1847, и проч. — см. «Русский биографический словарь»). См. упоминания о нем в письмах Полонского к М. Ф. Штакеншнейдер 1857 года («Голос минувшего», 1919, № 1—4).

Весна. Впервые — «Современник», 1853, № 5, где есть еще заключительная строфа:

И, лукаво подмазавши петли
У дверей, что нескромно скрыпят,
Для других засветила лампаду
И окно занавесила в сад.

Строфа эта убрана в издании 1869 года.

Письмо. Впервые — «Москвитянин», 1853, ч. IV, № 14, с вариантами. Текст изменен в издании 1869 года, причем строка 27 остается без рифмы.

Песня цыганки. Впервые — «Современник», 1853, № 11, где вторая строфа иначе:

Видишь, ветер мачту клонит;
В степь далеко, милый мой,
Нас от города прогонит
Этот ветер кочевой.

Дата, указанная Полонским в сборнике «Стихотворения» 1855 года (там же изменен текст второй строфы), возбуждает сомнение. Судя по воспоминаниям Фета, это стихотворение (может быть, в другой редакции) существовало уже в 40-х годах. Кроме известного «цыганского» романса, на эти слова написан романс П. И. Чайковского.

Воспоминание. Впервые — «Отечественные записки», 1853, № 12, с вариантами. После строки 29:

То ты сбиралась жить в Италии зимою,
То пламенно желала умереть...

Мне было жаль тебя: как мог я не жалеть?..
Сидели мы вдвоем, одни, рука с рукою,
Со всех сторон окружены
Необоримою пучиной,
Не при свечах, а в сумерках луны,
На палубе, а не в гостиной.

Стихотворение прерывается здесь словами: «Давно их нет...» (строка 42). Текст изменен в издании 1869 года.

«Жизнь движется вперед». Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года.

Бред. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года, с вариантами.

Последний вывод. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года.

В заключительных строках отражена типичная для того времени тема — сопоставление образов Гамлета и Дон-Кихота как выразителей противоположных свойств и тенденций русской интеллигенции. Эта тема, возникшая еще в сороковых годах («Гамлет Щигровского уезда» Тургенева), нашла свое наиболее полное и точное выражение в статье Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», замысел которой относится к началу пятидесятых годов, т. е. к тому времени, когда было написано стихотворение Полонского. Образ Дон-Кихота в интерпретации Тургенева — это образ революционера (Инсаров в «Накануне»), между тем как Гамлет — скептик, неспособный к действию.

А. Нов...в, которому посвящено это стихотворение, — вероятно А. В. Новосильцев, один из университетских товарищей Полонского, входивший в студенческий поэтический кружок. О нем Полонский упоминает в письме к Н. М. Орлову (1 июля 1844 года): «Новосильцев приезжал сюда зимой, не пропускал ни одного бала — и играл роль гостиного героя. Этот человек — загадка...» («Новые пропилеи», М.—Пгр., 1923, т. I, стр. 65).

Колокольчик. Впервые — «Современник», 1854, № 7.

В «Литературных воспоминаниях» П. Перцова (М., 1933, стр. 124) об этом стихотворении говорится: «Любители поэзии Полонского обыкновенно особенно выделяют среди его стихотворений «Колокольчик». Им, вероятно, будет приятно узнать, что сам поэт именно это стихотворение считал своим любимым, — как мне довелось от него слышать».

Смерть малютки. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года.

Времени. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года.

В глуши. Впервые — «Отечественные записки», 1855, № 2, с вариантами.

«Свет восходящих звезд». Впервые — «Отечественные записки», 1855, № 2, под заглавием «Глаза».

Первые шаги. Впервые — «Отечественные записки», 1855, № 2.

У Аспазии. Впервые — «Современник», 1855, № 2, под заглавием «Аспазия».

Пчела. Впервые — «Современник», 1855, № 3.

«Моя судьба, старуха». Впервые — «Современник», 1855, № 4.

На Черном море. Впервые — «Современник», 1855, № 10, с вариантами.

Стихотворение написано от лица французского солдата, раненного при последнем штурме Севастополя. В альбоме из архива А. М. Баумгартен-Микешиной (ИРЛИ) есть автограф этого стихотворения, помеченный датой «Июля 20 дня. 1855». Эта дата указывает на то, что стихотворение было начато еще до штурма и падения Севастополя (24—27 августа 1855 года). Но его первоначальный текст, гораздо более короткий, тут же переделан и заменен новым, а на полях сделана выписка из официального донесения от 24 августа («Неприятель получает почти ежедневно новые подкрепления — бомбардировка продолжается» и т. д.). Очевидно, по получении сообщений о штурме и о падении Полонский изменил первоначальную редакцию. *Новый полубог* — Наполеон III, вступивший на престол после переворота 2 декабря 1851 года. *Мадзини* — вождь итальянской революции (1805—1872).

«Нет, нет! не оттого». Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1855 года.

Звезды. Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 2.

«Мое сердце — родник». Впервые — «Русский вестник», 1856, № 6, под заглавием «Песня».

«Подойди ко мне, старушка». Впервые — «Современник», 1856, № 6, под заглавием «Гаданье», с вариантами.

В сборнике «Стихотворения» 1859 года и в Сочинениях (1869) стихотворение это печаталось без первых двух строф, которые приведены в примечаниях со следующим объяснением: «Здесь приводятся эти куплеты потому только, что стихотворение это было положено на музыку, поется, и, стало быть, в этом именно виде наиболее известно публике». В издании 1885 года эти строфы восстановлены. В своей статье о Полонском (1859) Добролюбов называет это стихотворение (начинавшееся «На устах ее — улыбка») «одним из самых замечательных».

И. С. Аксакову. Впервые — «Русская беседа», 1856, т. III, с датой «Июнь 1856 г. СПб.»

Это стихотворение написано в ответ на стихотворение И. С. Аксакова «Добро б мечты!», напечатанное в «Русской беседе», 1856, т. I. Здесь Аксаков напал на либеральное дворянство, усиленно занимавшееся болтовней о реформах. «Подчас, друзья, какое горькое презренье к себе и к вам питаю я!» — восклицает Аксаков.

Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
Иль в поздней ужина поре
В роскошно убранной палате
Потосковать о бедном брате,
Погорячиться о добре!

На стихотворение Полонского Аксаков ответил новым большим стихотворением, которое озаглавлено: «Ответ» (в рукописи пометка: «Полонскому») и напечатано в «Русской беседе», 1857, т. I. Оно начинается словами:

Я знаю — в час тоски тревожной
Мой жесткий стих тебя смутил,
И ты хвалой неосторожной
Мои стремленья оскорбил.

(См. «Сборник стихотворений И. С. Аксакова», М., 1886). В письме к родным от 24 ноября 1856 года Аксаков писал: «В Полтаве видел я третий том Русской Беседы <...>. Прочел стихи Полонского ко мне. Это было для меня совершенным сюрпризом, я ничего не знал об этом, да и с Полонским вовсе незнаком. Стихи — как стихи превосходные, особенно первый стих, но последние четыре строфы довольно темны; я в свою очередь не понимаю, что именно он хочет сказать. <...> Стихи Полонского вынуждают меня к ответу, но я не буду отвечать ему собственно» («И. С. Аксаков в его письмах». М., 1892, ч. I, т. III, стр. 304).

На пути из гостей. Впервые — «Библиотека для чтения», 1856, № 12, с цензурным пропуском стихов 75—78 (вместо них — строка точек).

Соловьиная любовь. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

Туман. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

На корабле. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

«Тень ангела прошла». Впервые — «Русский вестник», 1857, № 1.
Эпиграф — начало первой «Еврейской мелодии» Байрона.

Ночь в Крыму. Впервые — «Современник», 1857, № 4.

А. Н. Майкову Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 10.

Послание Майкова («Я. П. Полонскому» в «Библиотеке для чтения», 1857, № 9), ответом на которое является это стихотворение, начинается словами:

Полонский! суждено опять судьбою злою
Нам розно дни влачить:
Меж тем моя душа сроднилась уж с тобою —
Ей нужно так любить!

Затем следуют воспоминания о Риме и о друзьях, многие из которых умерли. Послание кончается стихами:

Я больше наводить тоски тебе не буду
Непрошенной слезой,
И в воды быстрые закидываю уду,
На все махнув рукой.

Под стихотворением Полонского дата: «Баден-Баден. Август 1857». Послание Майкова ошибочно датировалось 1858 годом. Полонский получил его в августе 1857 года через М. Ф. Штакеншнейдер, которой и пишет: «Благодарю вас за послание Майкова. Посылаю ответ, передайте, если стоит, можете даже, если хотите, напечатать («Голос минувшего», 1919, №№ 1—4, стр. 129). В строках *Я помню, как неловко с ней Ты шел на шумную арену Народных браней и страстей* Полонский намекает, очевидно, на патриотические стихи, которые Майков писал во время Крымской войны. В дневнике 1855 года Полонский пишет: «Майков торжественно раскаивается в своих похвальных к нему <Николаю I> одах, нигде не упускает случая говорить, что он увлекся начальным ходом событий и поступил глупо» (Там же, стр. 107. См. стихотворения Майкова «Коляска», «Послание в лагерь» и «18 февраля 1855 г.»).

На Женевском озере. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

Концерт. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года, с датой «Баден-Баден. Июль, 1858».

Судя по музыкальным деталям (колокола, погребальный хор и проч.), речь здесь идет о «Погребальной и торжественной симфонии» Берлиоза. Музыка этого типа была Полонскому не по душе.

Утрата. Впервые — «Русское слово», 1859, № 1.

На берегах Италии. Впервые — «Русское слово», 1859, № 2.

Ночь в Соренто. Впервые — «Русское слово», 1859, № 12, под заглавием «(Посвящается А. И. Майковой)».

Анна Ивановна Майкова — жена поэта А. Н. Майкова. Итальянский поэт *Торквато Тассо* (1544—1595) родился в Сорренто и впоследствии некоторое время жил в этом городе, покинув Феррару и дворец герцога Альфонса II. *Элеонора* — сестра герцога.

Чивита-Векиа. Впервые — в издании «Кузнечик-музыкант» (1863). В издании 1896 года напечатано вслед за стихотворением «Ночь в Соренто» (I, 304).

Холодеющая ночь. Впервые — «Современник», 1858, № 9.

«Корабль пошел навстречу». Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

Песня. Впервые — в сборнике «Стихотворения» 1859 года.

Сумасшедший. Впервые — «Современник», 1859, № 5.
В архиве Полонского есть черновой автограф (тетрадь 1859 года) с вариантами. После 5-й строфы есть строфа, отсутствующая в печатном тексте:

Я нынче во дворце намерен ночевать,
Там где-нибудь себе найду я помещенье.
Но только говорят, что там мешают спать
Какие-то нелепые виденья.

Следующая строфа начинается:

Все это вздор — виденья отошли.

Женщине. Впервые — «Современник», 1859, № 7.

«По горам две хмурых тучи». Впервые — «Современник», 1859, № 10.

Иная зима. Впервые — «Русское слово», 1860, № 1.

Казачка. Впервые — «Современник», 1862, № 1; перепечатано под заглавием «Отрывок» в издании «Кузнечик-музыкант» (1863). В архиве Полонского есть черновой автограф с датой «1859».

«Недавно ты из мрака вышел». Впервые — Полное собрание сочинений (1885), т. I.
Надо думать, что стихотворение обращено к самому себе и отражает идейные искания и противоречия Полонского.

Сны. Впервые: 1 — «Современник», 1856, № 4; 2 и 3 — в сборнике «Стихотворения» 1859 года; 4 — «Современник», 1859, № 7 (под заглавием «Во сне»); 5 — «Русское слово», 1860, № 4. Черновой набросок первого сна («Затворены душные ставни») имеется в тифлисской тетради 1846 года под заглавием «Странный сон».

60-е ГОДЫ

Чайка. Впервые — «Русское слово», 1860, № 5.
И. С. Тургенев цитирует это стихотворение в статье о Полонском и говорит: «Я не много знаю стихотворений на русском языке, которые по теплоте чувств, по унылой гармонии тона стояли бы выше

этой «Чайки». Весь Полонский высказался в нем» («Петербургские ведомости», 1870, № 8; И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII. М.—Л., 1933, стр. 389.

«Я ль первый отойду». Впервые — «Русское слово», 1860, № 11.

Безумие горя. Впервые — «Русское слово», 1860, № 12.

Стихотворение посвящено памяти первой жены Полонского, Елены Васильевны Устюжской, умершей в июне 1860 года. Ей было всего 20 лет.

«Я читаю книгу песен». Впервые — «Время», 1861, № 3.

Это стихотворение, как и «Безумие горя», связано со смертью жены. *Книга песен* — это «Buch der Lieder» Гейне. В 1858 году песни Гейне вышли в переводе М. Л. Михайлова, который писал Полонскому (12 апреля 1858 года): «Вчера вышла книжка моих переводов из Гейне, и Людмила Петровна <Шелгунова> хочет послать тебе экземпляр их» (Сборник «Шестидесятые годы», изд. АН СССР, 1940, стр. 447).

«Когда б любовь твоя». Впервые — «Русское слово», 1861, № 5; перепечатано только в издании «Кузнечик-музыкант» (1863).

Стихотворение обращено к покойной жене.

«Признаться сказать». Впервые — Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта», Л., 1935 (по автографу из архива Полонского). На автографе дата: «20 марта 1861».

Стихотворение написано под впечатлением той обстановки, которая сложилась после 19 февраля 1861 года.

Вместо строк 8—10 сначала было:

Он в церковь идет помолиться об нем,
Выходит и видит: солдаты, штыки,
Полиция, палки да розог пучки...

Вместо строк 28—30 сначала было:

Моя голова у нее под пятой,
У барыни этой я должен спросить,
Что можно сказать, что нельзя говорить.

Стихотворение не было напечатано, вероятно, по цензурным причинам. Некоторые строки использованы в стихотворении «Жалобы музы».

Беглый. Впервые — «Время», 1861, № 11.

Критик А. М. Скабичевский отметил это стихотворение в статье «Живая струя»: «Возьмите, например, Полонского: он написал стихотворение «Беглый» и этим доказал, что он может писать простою народною речью. <...> В «Беглом» неизмеримо более истинной, живой, свежей поэзии, чем во всех галлюцинациях г. Полонского, взятых вместе» («Отечественные записки», 1868, № 4).

Двойник. Впервые — «Время», 1862, № 4.

Это стихотворение (в первоначальной редакции, сильно отличающейся от печатной) Полонский послал в письме к Л. Толстому: «Посылаю Вам, граф, стихотворение, написанное мною вчера под влиянием нескольких аккордов, взятых Вами из пьесы Шуберта «Двойник». <...> Переписывая вам эти стихи, я не обошелся без того, чтобы не поправить их. Вероятно, и еще будут кой-какие поправки, но мне непременно хочется именно нынче послать к вам это стихотворение. Это одна из моих фантазий — вероятно, таких же диких, как и мое стихотворение («Летопись Гос. лит. музея», кн. 12, 1948, стр. 215). Пьеса Шуберта — его романс «Двойник» (на слова Гейне). В архиве Полонского есть черновой автограф этого стихотворения.

Белая ночь. Впервые — «Время», 1862, № 11. Напечатано в «Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 г.», СПб., 1862, т. II, стр. 146 (в заглавии ошибка: «Былая ночь»). Цензору, очевидно, показались подозрительными слова о «жале ядовитом» и сравнение «стесненной мысли» со змеей, прижатой копытом медного всадника.

«Ползет ночная тишина». Впервые — «Время», 1862, № 11, под заглавием «На мызе». Заглавие снято в издании 1896 года.
Елена Андреевна *Штакеншнейдер* (1836—1897) — дочь известного петербургского архитектора А. И. Штакеншнейдера, с которой Полонский был в очень дружеских отношениях (См. ее «Дневник и записки», М., 1934). Мыза Ивановка — дача Штакеншнейдеров под Гатчиной. Из дневника Е. А. Штакеншнейдер видно, что Полонский приехал на мызу 8 апреля 1862 года и привез «где-то добытую новую прокламацию под названием — Офицер» (стр. 308). Вероятно, это та прокламация, которая начиналась обращением «Офицеры!» Она была распространена в Петербурге именно 8 апреля 1862 года, а затем появилась в № 133 «Колокола» (См. в «Русской подпольной и зарубежной печати», Л., 1935). Е. А. Штакеншнейдер, близкая приятельница П. Л. Лаврова, держалась в эти годы очень радикальных взглядов, увлекалась романом Чернышевского «Что делать?» и сочувствовала революционному движению. Что касается Полонского, то Л. Ф. Пантелеев вспоминает: «На вечерах у Штакеншнейдера я познакомился с Я. П. Полонским; он с первого же раза стал держать себя как старый товарищ. Одно время я нередко бывал у него, даже сделал в его квартире своего рода склад, когда что-нибудь находил неудобным держать у себя» (Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М., 1934, стр. 187). Стихотворение «Ползет ночная тишина» было написано, очевидно, под впечатлением указанной выше поездки на мызу Ивановку.

Поцелуй. Впервые — «Русское слово», 1863, № 1 (без заглавия).

Старый орел. Впервые — «Библиотека для чтения», 1863, № 9.

Одному из усталых. Впервые — в издании «Кузнечик-музыкант» (1863).

«Твой скромный вид таит в себе». Впервые — в издании «Кузнечик-музыкант» (1863).

«Все, что меня терзало». Впервые — «Эпоха», 1864, № 4. Включено в сборник «Оттиски» (1866), но в собрания 1869, 1885 и 1896 годов не вошло.

«Чтобы песня моя разлилась». Впервые — «Эпоха», 1864, № 9.

Чужое окно. Впервые — «Эпоха», 1864, № 9. Включено в сборник «Оттиски», но в собрания 1869, 1885 и 1896 годов не вошло.

Век. Впервые — «Эпоха», 1864, № 9.

Что, если. Впервые — «Эпоха», 1864, № 9.

Последний вздох. Впервые — «Эпоха», 1864, № 9.

Поэту-гражданину. Впервые — «Эпоха», 1864, № 9. Стихотворение обращено, повидимому, к Некрасову (ср. «О Н. А. Некрасове», «Блажен озлобленный поэт»).

«Любви не боялась ты». Впервые — «Эпоха», 1864, № 10, под заглавием «Обманутой». В переделанном виде напечатано в «Книжках Недели», 1887, № 2, и в этой редакции включено в издание 1896 года.

«Заплетя свои темные косы». Впервые — «Библиотека для чтения», 1864, № 10—11.

В черновом автографе (архив Полонского) после строфы 2-й вычеркнуто:

И когда у тебя на коленях порой
Улыбался иль плакал ребенок чужой,
Снилась мне колыбель при лампадном огне,
Мой семейный очаг ты напомнила мне —
Всякий раз как мелькал твой печальный убор —
Вспоминал я навеки померкнувший взор.

«Рассказать ли тебе». Впервые — в сборнике «Озими» (1876), ч. I, с датой «1864» (в отделе «Стихотворения, пропущенные в последних изданиях»).

«Время новое повеяло». Впервые — «Современник», 1865, № 4; отсюда не перепечатывалось.

«И в праздности горе». Впервые — «Современник», 1865, № 4 (с цензурным пропуском строк 6—7).

Ф. И. Тютчеву. Впервые — «Современник», 1865, № 4. В Сочинениях (1869), т. I. Полонский сделал к этому стихотворению следующее примечание: «В ответ на это послание автор получил следующее четверостишье:

Нет боле искр живых на голос твой приветный:
Во мне глухая ночь и нет для ней утра!
И скоро улетит во мраке незаметный,
Последний, скудный дым с потухшего костра.

30 мая 1865 г.»

Неизвестность. Впервые — «Современник», 1865, № 4.

Плохой мертвец. Впервые — «Библиотека для чтения», 1865, № 7—8.

«Слышу я, моей соседки». Впервые — «Библиотека для чтения», 1865, № 7—8.

Поздняя молодость. Впервые — в сборнике «Оттиски» (1866). В Полном собрании стихотворений, 1896, т. II, помещено среди стихотворений 1875—1880 годов.

Среди хаоса. Впервые — «Литературная библиотека», 1866, декабрь, кн. I, где имеются еще две начальные строфы, в издании 1869 года уже отсутствующие:

Поверь, когда б меня общественного строя
Не обездолила бездушная среда,
Я б мог любить тебя, людей не беспокоя,
Я мог бы, не боясь ни бури, ни застоя,
Спокойно счастья ждать от славы и труда.

Но погляди кругом — какая безнадежность!
Скажи, чего нам ждать?! Хоть на себя взгляни, —
Какая клятва иль ребяческая нежность
Вновь сердцу твоему даст ту же безмятежность,
Навеет те же сны про золотые дни! ..

Детское геройство. Впервые — «Искра», 1866, № 7, под заглавием «Детское геройство в разных видах» и со второй частью, которая затем была убрана.

Спустя 15 лет. Впервые — «Женский вестник», 1866, № 1 (сентябрь), под заглавием «Стансы». Это стихотворение в первоначальной редакции было написано в Одессе, в 1846 году, и обращено к Марье Егоровне Гутмансталь (жене австрийского консула, урожденной Зонтаг, племяннице Жуковского). В этом виде оно было напечатано в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» (М., 1847, стр. 262), с датой «5 июня 1846 г.» (текст см. в издании «Библиотека поэта», 1935, стр. 713). В 1865 году Полонский переделал его и напечатал в «Женском вестнике», а в Полном собрании сочинений (1885) оно появилось в новой редакции под заглавием «Спустя 15 лет».

Если сравнить последний текст с текстами 1846 года и 1865 года, то видно, как менялось настроение Полонского. В тексте 1865 года вместо последней строфы были три следующие:

Никто не верит привиденью...
И голос мой, еще живой,
Вслух молодому поколенью
Звучит как ветра хриплый вой,

Лишь там, быть может, в теплом круге,
Состарившись, — твердят сквозь сон:
«Да... Он стихи писал на юге —
Что с ним теперь? И где-то он?»

И я — случается порою, —
Я смутно вспомню лица их;
Но не мирюсь за них с судьбою
И уж не радуюсь за них.

Орел и змея. Впервые — «Литературная библиотека», 1866, № 1, с подзаголовком «(Басня)» и с вариантом после строки 19

Цыганы. Впервые — «Литературная библиотека», 1866, № 2, под заглавием «Цыганская песня». В переделанном виде — «Книжки Недели», 1887, № 6; при жизни автора не перепечатывалось. Черновой автограф (в архиве Полонского) — под заглавием «Для цыганского хора. На живых картинах» и с датой «23 ноября» (очевидно — 1865).

Муза. Впервые — «Женский вестник», 1867, № 3.

Напрасно. Впервые — «Литературная библиотека», 1867, № 22.

Влюбленный месяц. Впервые — «Модный магазин», 1868, № 7.

Златковский Михаил Леонтьевич (1836—1904) — литератор (псевдоним «Михаил Библиоман»), служивший в комитете иностранной цензуры.

На железной дороге. Впервые — «Русский вестник», 1868, № 10.

Миазм. Впервые — «Вестник Европы», 1868, № 12, под заглавием «Покинутый дом», с вариантами.

Стихотворение это можно точно датировать сентябрем 1868 года (в Полном собрании стихотворений (1896) оно отнесено к 70-м годам) по письму И. С. Тургенева к Полонскому от 8 октября (нов. ст.) 1868 года. В этом письме Тургенев пишет: «Я только что собирался отвечать тебе на твое первое письмо, как пришло второе, с двумя стихотворениями. Скажу тебе тотчас, что первое, где является мертвый мужичок, весьма замечательно, даже поразительно — и, помоему, требует только несколько маленьких поправок — а именно: a) *«Судороги...* жар» — а несколько ниже: *«судорожный* гнев» — ненужное повторение. b) Весь прибавленный куплет: «Плакали мы тоже» — излишен; он же и неясен. c) Главное — «И не я... мой вздох» — нехорошо, имеет какую-то комическую сторону. Оставь «вздох» — только в стихе: «Вздох мой тяжкий твоего ребенка» и т. д. d) «Незабвенный прах» — имеет что-то реторическое и неестественное в устах мужика» («Первое собрание писем», СПб., 1885, стр. 141—142). Как видно из текста стихотворения, Полонский исполнил все

советы Тургенева (в строфе 8-й вместо «судорожный» — «богохульный», в строфе 13-й вместо «незабвенный» — «наш отпетый»).

«Заря под тучами взошла». Впервые — Сочинения (1869), т. II.

В альбом К. Ш... Впервые — в сборнике «Снопы» (1871).

«Когда октава за октавой». Впервые — в сборнике «Озими» (1876), ч. I (в отделе «Стихотворения, пропущенные в последних изданиях»).

70-е ГОДЫ

Простая быль. Это стихотворение должно было появиться в сборнике «Снопы» (1871), но, по желанию самого Полонского, было вырезано из отпечатанных листов. По этому вырезанному экземпляру, сохранившемуся в делах петербургского цензурного комитета (1870, № 70), оно было опубликовано в «Красном архиве», 1924, т. VII, стр. 254 (С. Любимовым).

Первая строфа использована в стихотворной повести «Неуч» (конца 70-х годов).

За непогрешимость. Впервые — в сборнике «Снопы». Догмат о папской непогрешимости был провозглашен Пием IX и признан на Ватиканском соборе 1870 года.

Полярные льды. Впервые — в сборнике «Снопы». В автографе (архив Полонского) есть еще заключительная строфа.

«Когда я был в неволе». Впервые — в сборнике «Снопы».

О Н. А. Некрасове. Впервые — в сборнике «Снопы», под заглавием «О нем».

Это стихотворение было написано, вероятно, в конце 60-х годов, когда Некрасову все еще не могли «простить» его оды М. Н. Муравьеву (1866). В 1867 году Некрасов писал: «Зачем меня на части рвете, Клеймите именем раба?» В архиве Полонского имеется черновой автограф, отличающийся от печатного текста некоторыми дополнительными деталями. Так, после строки 2 следует:

Когда его устала грызть
И зависть тайная и тайная корысть —
И смерть, набрасывая тень,
Пророчила ему последний в жизни день.
Тогда я помню, как он был
И прост и духом бодр — как искренно любил,
Как искренно негодовал!
И долго руку нам с одра болезни жал.
Его приветливым речам
Мы так же верили, как и его стихам.

После смерти Некрасова в журнале «Пчела» (1878, приложение к № 2) был помещен снимок с фотографии (Некрасов в гробу) с четверостишием Полонского:

Поэт и гражданин, он призван был учить,
В лохмотьях нищеты живую душу видеть,
Самоотверженно страдающих любить
И равнодушных ненавидеть.

Кораблики. Впервые — «Заря», 1870, № 4, под заглавием «Два кораблика», с вариантами.

Откуда?! Впервые — в сборнике «Снопы».

Это стихотворение — одно из тех, в которых Полонский откликнулся на злободневные общественные и политические вопросы шестидесятых годов (ср. «Неизвестность», «Одному из усталых», «Кораблики»). В строках 3—4 Полонский имеет в виду Киево-Печерский монастырь, монах которого Нестор писал в начале XII века летопись «Повесть временных лет». *Хитрый иезуит* — Николо Макиавелли (1469—1527), автор знаменитой книги «О государе». Ян *Гус* — великий чешский патриот и реформатор (1369—1415); под *чашей* подразумевается одно из требований Гуса и его последователей — о причащении мирян «под обоими видами» (и хлебом и вином). Ян *Жижка* — чешский полководец и политический деятель времени гуситских войн (умер в 1424 году).

Вложи свой меч. Впервые — Полное собрание стихотворений (1896), т. II.

Стихотворение было написано, вероятно, в конце 1870 года. Блокада Парижа немцами была начата 19 сентября, а бомбардировка города началась 27 декабря, когда продовольственные запасы стали приходить к концу. В строках 36—41 речь идет о Наполеоне III, который под Седаном (2 сентября 1870 года) сдался в плен и был с почетом устроен в загородном дворце Вильгельма I «Wilhelmshöhe» (под Касселем).

Что с ней? Впервые — «Вестник Европы», 1872, № 1.

Посылая это стихотворение редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, Полонский писал ему 11 ноября 1871 года: «Никогда еще не брал я на себя такой трудной поэтической задачи — изобразить нигилистку (начала 60-х годов), и изобразить так, чтоб, во-первых, не обвинить ее — даже отнестись к ней с некоторым сочувствием — и, во-вторых, не раздразнить и не вооружить против себя ни цензуры, ни моралистов. Насколько справился я с этой задачей — не мне решать — скажу только, что немало положил я на нее труда — и долгих соображений. — Те, кому читал я мое стихотворение, — остались им довольны — даже Буренин нашел, что оно из самых удачных» («М. М. Стасюлевич и его современники», т. III, стр. 497). Далее Полонский высказывает опасения относительно цензуры («у меня такое начальство, что как раз меня выгонит вон со службы»), но надеется на «спасительные куплеты» и предлагает заменить стих «И эти туманные речи она» стихом «И эти волшебные

сказки она». На это письмо Стасюлевич отвечал: «Совершенно согласен с вами, добрейший Яков Петрович, что если бы истина проникала к нам не через «щели», то и «дух отрицания» не царил бы так легко в наше время. Но для поэзии мало истины — ей нужна красота, а я нахожу ваши стихи прелестными». В строфах 8—9 Полонский излагает учение Фурье о фаланстерах.

«Блажен озлобленный поэт». Впервые — в литературном сборнике в пользу пострадавших от голода в Самарской губ. «Складчина» (СПб., 1874).

По поводу этого стихотворения, являющегося своего рода парафразой на известное стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт» (написанное по поводу смерти Гоголя), возникла интересная переписка между Полонским и М. Стасюлевичем. В феврале 1872 года Полонский отдал это стихотворение Стасюлевичу для напечатания в «Вестнике Европы», но Стасюлевич отказался его печатать и написал Полонскому: «Это совсем непохоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут и то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы: это ведь личность. Ради самого аллаха, не печатайте этих стихов: там ничего не убудет, а Вам прибудет — но не то, чем Вы пользовались до сих пор. Ведь эти стихи посвящены тому, кто воспевал «незлобивого поэта». Ну как Вы, например, не будете спорить, что я угадал?» В ответном письме (от 23 февраля 1872 года) Полонский возражал: «Придавать какому-нибудь единичному явлению общее значение — значит не уметь думать — или быть под влиянием не совсем нормального настроения. Было время, когда я глубоко сочувствовал Некрасову и не мог ему не сочувствовать. — Рабство или крепостное право — дичь наверху — невежество и мрак внизу — вот были предметы его отрицания. Они не выходили, так сказать, из сферы гражданской, социальной. Вне этой сферы Некрасов — добряк. Вот почему он и не устоял на прежнем пьедестале. К нему обращать стихи мои — *и только к нему* было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично». Далее Полонский прямо заявляет: «Когда я писал стихи мои, я имел в виду вовсе не Некрасова, а Истину, — ту истину, которой не угадал Некрасов, когда писал стихи свои «Блажен незлобивый поэт». Факт тот, что — в 19 веке — европейское общество сочувствует не *незлобивым*, а *озлоблённым* — и стихи мои не что иное, как поэтическая формула, выражающая этот факт» («М. М. Стасюлевич и его современники», под ред. М. К. Лемке, т. III, СПб., 1912, стр. 499—500).

В то же время Полонский послал это стихотворение И. С Тургеневу, и получил следующий ответ (от 14/2 марта 1872 года): «По заведенной между нами привычке быть откровенным скажу тебе, что присланное тобою стихотворение «Блажен озлобленный поэт» не совсем мне нравится, хотя и носит печать твоей виртуозности. Оно както неловко колеблется между иронией и серьезностью — оно либо не довольно зло, либо не довольно восторженно — и производит впечатление — в одно и то же время и неясное и напряженное. Я не сомневаюсь в том, что Стасюлевич его не принял не из политики, а просто потому, что оно не понравилось. Впрочем, я даже не понимаю его намека на того, на кого ты якобы намекал, — и если я отгадал, о ком шла речь, то только вложил в рот палец изумления. Я не

говорю о первой половине — тут несомненно фигурирует Некрасов — хоть ты и не допускаешь этого, — но кто во второй половине (которая гораздо слабее первой)? — Ты сам? — Нет, это все не вытанцовалось» («Звенья», VIII, 1950, стр. 170). Позже, 9 марта 1872 года, Полонский опять пишет Стасюлевичу об этом стихотворении: «Я посылал его к Тургеневу, и он тоже нашел, что в первой половине его я намекаю на Некрасова, и, что всего обиднее, — спрашивает меня: не о себе ли я говорю во второй половине?! Последнее предположение просто привело меня в конфуз — ибо божусь Вам — я хотел только представить два поэтических типа, не думая ни о Некрасове, ни о себе. Значит, это стихотворение мое не выполнило своей задачи — может наводить на разные сомнения, и Вы были правы, воротив мне его. — Простите мне, что я так горячо за него вступился — теперь я душевно благодарю Вас за то, что Вы его не напечатали» (Там же, стр. 501). По смыслу цитированной переписки совершенно ясно, что текст стихотворения, посланный Стасюлевичу и Тургеневу, был не тот, который напечатан в «Складчине», где нет никакой «второй половины». Действительно, в черновом автографе (архив Полонского) текст этого стихотворения, а в связи с этим и смысл его совсем другой. Первоначальное заглавие было «Мы и поэты», эпиграфом были поставлены шесть строк стихотворения Некрасова («Блажен незлобивый поэт»), а текст был следующий:

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему так искренен привет
Больных детей больного века!
Кто свой художественный труд
Считает суетной забавой,
Кто сам в людской не верит суд,
Но жадно гонится за славой —
Кто желчи дорогой запас
Хранит как лучший дар страданья,
Кто как детей пугает нас
Холодным смехом отрицанья,
Чей стих как острие стрелы
Отравленной врагу опасен,
Тот — как бы ни были мы злы —
И как бы ни был свет безгласен —
От наших лавров не уйдет
И в нас поклонников найдет.
И сразу мы его поставим
На пьедестал и воспрославим
И скажем — крик его — наш крик. . .
Его пороки — наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен и — велик! . .

Но жалок тот поэт, кто славы
От века нашего не ждет,
Кто не вкусил его отравы,
Чтоб честь иметь — плевать в народ,
Чье вдумчивое вдохновенье

Как врач с больными говорит,
Кто независимо творит
Вдали от смутного броженья
Слепых невежд — кто света ждет
От разума, а не от злобы,
Кто втайне любит свой народ
Не так, как черви любят гробы
И в них зарытых мертвецов,
Такой поэт в толпе глупцов
Пусть как пигмей проходит мимо —
Ему мы скажем: ты не наш,
Не наш! гонись неутомимо
За красотой — такую блажь
Мы не простим тебе вовеки.
Или не видишь ты, слепец,
Что мы одряхли, наконец,
Что мы давно уже калеки.
К чему нам эта красота,
Здоровой юности мечта!
Нет — мы бессильны, плачь же с нами,
Брани того, кого браним,
И если ты неуязвим,
Как бы — с такими божествами
Иметь мы дела не хотим.

«Мой ум подавлен был тоской». Впервые — «Складчина».

«Молчи, минутного покоя не тревожь!» Впервые — «Складчина».

Из Бурдильёна. Впервые — «Складчина».
В «Складчине» есть примечание Полонского: «Стихотворение это было напечатано в английском журнале «Spectator» 1873 г. № 2365.— В том же журнале вновь перепечатано с переводами, присланными из Франции и Германии. — Затем, без подписи автора, стало появляться в американских изданиях. Я перевел их как умел». *Бурдильён* — вероятно, F. W. Bourdillon, малоизвестный английский поэт, автор сборника «Among the Flowers and other Poems», 1878.

Казимир Великий. Впервые — «Неделя», 1874, № 21.
Казимир III Великий (1310—1370) — польский король, сильно укрепивший внутреннее и международное положение Польши и расширивший ее владения. Полонский написал это стихотворение, очевидно, в качестве своего рода назидания властям в пору голода 1873 года. Александр Федорович *Гильфердинг* (1831—1872) — русский славянсвед, историк и собиратель былин.

Ночная дума. Впервые — «Гражданин», 1875, № 3.

В степи. Впервые — в сборнике «Озими», ч. I.
В сохранившихся автографах (архив Полонского) есть интересные варианты. Конец в ранней редакции был полнее:

— Ну, если так, дядя, вряд ли нам выгодно будет меняться —
Ты на Пегасе моем далеко не ускачешь, а я
С клячей твоей до конца и полосы не доеду.
Оба привыкли мы к горю — но я твоего не снесу,
А ты моего не запьешь никакою сивухой. — Лучше
Я при своем темном горе останусь — а ты при своем.

Диссонанс. Впервые — в сборнике «Озими», ч. I.

Ада Кристен (Christen) — псевдоним немецкой поэтессы Христины Брелен (1844—1901). В 1869 году вышел сборник ее стихотворений «Lieder einer Verlorenen», в 1870 году — «Aus der Asche» В 70-х годах ее много переводили в России (Плещеев, Ф. Миллер, Прахов и др.).

«В дни, когда над сонным морем». Впервые — в сборнике «Озими», ч. I.

Слепой тапер. Впервые — «Неделя», 1876, № 2, в редакции, сильно отличающейся от окончательной: текст изменен в сборнике «Озими», ч. II. В письме к И. С. Тургеневу Полонский писал: «Стихотворение «Слепой тапер» я совершенно переделал, досадно, что по легкосердию своему уступил его в 2 № Недели прежде, чем довел до окончательной отделки» («Звенья», VIII, 1950, стр. 190).

После строфы 12-й в «Неделе» была еще интересная строфа:

Что рано по другой пошла она дороге —
И прежде чем поблек прелестный цвет лица,
В замужство продалась и стала без тревоги
Красивой вывеской дельца.

В архиве Полонского это стихотворение сохранилось в трех рукописных редакциях (первоначальная — под заглавием «Слепец»).

Памяти Ф. И. Тютчева. Впервые — «Гражданин», 1876, № 36—37.

В последней строфе речь идет о начавшейся тогда войне на Балканах.

У окна. Впервые — «Неделя», 1876, № 36.

Болгарка. Впервые — «Неделя», 1876, № 37.

Стихотворение написано под впечатлением событий в Болгарии весной 1876 года, когда турки подавили восстание, организованное Болгарским революционным центральным комитетом. Несколько повстанческих отрядов должны были прибыть из Румынии. Одним из них командовал болгарский поэт и революционер Х. Ботев; он был убит в бою с турками 20 мая 1876 года. Турки применяли самые жестокие казни, пытки и насилия, вызывавшие протест в России и в других странах.

В потерянном раю. Впервые — «Дело», 1876, № 10.

Старая няня. Впервые — в сборнике «На закате» (1881).

В годину утраты. Впервые — в сборнике «На закате».

Николай Филиппович *Христианович* (1828—1890) — композитор и музыковед.

В телеге жизни. Впервые — «Свет», 1877, № 3, где есть еще четыре строфы, образовавшие потом отдельное стихотворение «Аллегория».

Аллегория. Впервые — «Книжки Недели», 1885, № 3, с датой «1883». В автографе дата: «1880». На самом деле это стихотворение следует датировать 1876 годом, потому что оно первоначально составляло часть стихотворения «В телеге жизни». Отделив его, Полонский почти не изменил текста.

На закате. Впервые — «Пчела», 1877, № 3.

И. С. Тургеневу. Впервые —«Огонек», 1879, № 24, под заглавием «Старое послание» и без эпиграфов. Датируется 1877 годом на основании письма И. С. Тургенева к Полонскому от 19(7) апреля 1877 года, которое является ответом на полученное стихотворение («Звенья», VIII, 1950, стр. 208).

В начале послания Полонский вспоминает свою первую жену (Е. В. Устюжскую), с которой познакомился в Париже. Далее следует описание парижского оперного театра и выступления Полины Виардо *(она)*. Е. М. Феоктистов, говоря об отношении друзей Тургенева к Виардо, пишет: «Однажды Я. П. Полонский начал говорить Тургеневу при мне, что она возбуждает неприязненное к себе чувство уже потому, что оторвала его от России. Тургенев ее защищал» («За кулисами политики и литературы», Л., 1929, стр. 33).

Узница. Впервые — «Вестник Европы», 1878, № 11.

Это стихотворение — отклик на дело В. И. Засулич, судившейся за покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова (24 января 1878 года). Судебное следствие продолжалось два месяца; процесс состоялся 31 марта 1878 года и закончился оправданием. Стихотворение появилось в печати в ноябре 1878 года, но написано было, очевидно, гораздо раньше — еще до суда. В «Вестнике Европы» оно было напечатано без заглавия (так осталось и в собраниях стихотворений), но по цензурным причинам, как это видно из письма М. Стасюлевича (редактора-издателя «Вестника Европы») к Полонскому от 21 ноября 1878 года: «У второго Вашего стихотворения прошу позволения уничтожить заглавие (Узница) по причинам, так сказать, не зависящим от редакции» («М. М. Стасюлевич и его современники», под ред. М. К. Лемке, СПб., 1912, т. III, стр. 508). В архиве Полонского имеется черновой автограф, текст которого сильно отличается от печатного. Приводим его целиком:

УЗНИЦА

Лампы горят — в светлой комнате слышится
Хохот веселый гостей.
Сам, хоть старик, я смеюсь — но как юноша
Втайне тоскую по ней.

Что мне она? — не жена, не любовница —
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля злосчастная
Ходит за мной день и ночь.
Вот, и теперь, при гостях, мне мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с запорами, окна с решетками,
Мертвая тень полутьмы.
Из полутьмы на меня смотрят тусклые
Очи без мысли и слез,
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос,
Ни ее худенький локоть, ни тонкие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди.
Вот шевельнулась она — слышу кашляет.
Правда ли? — ей, говорят,
Только семнадцатый год минул! — правда ли —
Что ей неслыханно мстят,
Мстят ей за бедность ее — без смирения,
Мстят за свободу ума —
Мстят ей за страсть, за порыв нетерпения
И... за любовь без ярма. —
Скоро ли будет бедняжка оправдана,
Снова любить и желать —
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать —
О! что-нибудь — или жизни надломанной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда — поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть.

Другая редакция опубликована в «Былом», 1906, № 1, стр. 99, по автографу, предоставленному редакции Л. Ф. Пантелеевым. Здесь начало (строки 1—4) совпадает с печатным, но затем следует:

Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.

Дальнейший текст очень близок к тексту приведенного автографа, но после стихов «Мстят ей за страстный порыв нетерпения, Мстят за любовь без цепей» следуют стихи, которых в том автографе нет:

Может ли быть? Мне как будто не верится,
Что так тяжел приговор
Света, в котором кишат лицемерные
Плуты — развратник иль вор.

Опасение. Впервые — «Неделя», 1879, № 1.

Н. А. Грибоедова. Впервые — «Огонек», 1879, № 10, с датой «1879 г. января 30-го» и с вариантами.

Это стихотворение в окончательной редакции было написано в 1879 году (к 50-летию со дня смерти Грибоедова), но первоначальный его замысел и набросок относятся к 1846 году, когда Полонский приехал из Одессы в Тифлис. С Ниной Александровной Грибоедовой (1812—1857), вдовой поэта, дочерью грузинского поэта Александра Герсевановича Чавчавадзе, Полонский познакомился скоро по приезде туда; в письме из Тифлиса к Л. Л. Гутмансталь от 15 июля 1846 года он, между прочим, сообщает: «Я познакомился с M-me Грибоедовой». В тифлисской тетради Полонского, заполненной рисунками и стихами, есть черновой набросок начала стихотворения, озаглавленного «Могила Грибоедова», а в конце той же тетради — черновой набросок другого стихотворения, озаглавленного «Грузинская элегия». Это и есть первоначальная редакция стихотворения «Н. А. Грибоедова». Весь текст этого наброска, сделанного карандашом и очень стершегося, разобрать трудно (как и первый набросок), но начало, обведенное чернилами, поддается чтению:

Не пылкий юноша грузин
От племени царей,
Он русский был и был один
Царем души моей.

Но дара песен и ума
Скажите — я ль могла
Не предпочесть, когда сама
Я дочь певца была!

И мог ли он любви моей,
Скажите, мог ли он
Предпочитать своих степей
Холодный небосклон.

И мы пошли рука с рукой,
Пошли на брачный пир
Соединить судьбу с судьбой,
С любовью вечный мир —

И в блеске брачного венца
Светила слава нам,
И я не ведала конца
Моим блаженным дням. —

Но мы расстались — я ждала...
Ждала свиданья — вдруг
К нам из Ирана весть пришла,
Что мой погас супруг.

Кто б мог поверить — мы пошли
Его встречать, и кто б
Мог думать — на арбе везли
Его забитый гроб.

Тогда тоска меня взяла,
И все твердила я:
Зачем, зачем пережила
Тебя любовь моя?

Вернувшись в 1879 году к этому замыслу, Полонский развернул его в большое стихотворение, использовав, очевидно, мемуарный материал. В одном месте он сам ссылается на записки Пушкина. Возможно, что был привлечен и другой материал — как, например, описание процессии, сделанное очевидцем: «В печальном шествии было нечто величественное и неизъяснимым образом трогало душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь унизанные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, протяжное пение духовенства, за колесницею толпа народа, воспоминание об ужасной кончине Грибоедова — раздирали сердца знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастие, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха: она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство» (Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова, Изд. Акад. наук, т. I, стр. CI).

(Гипотеза.) Впервые — Полное собрание сочинений, т. I (1885).

80-е и 90-е ГОДЫ

«Любя, колосьев мягкий шорох». Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 7.

«Глаза и ум, и вся блестишь ты». Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 7.

«Я умер, и мой дух умчался». Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 7.

На искусе. Впервые — «Вестник Европы», 1883, № 6, с вариантами.

Холодная любовь. Впервые — «Русская мысль», 1884, № 4, без заглавия.

Старик. Впервые — Полное собрание сочинений, т. I, (1885), с датой «Май. 1884».

П. Перцов рассказывает в своих «Литературных воспоминаниях» (М., 1933, стр. 116): «К нему <Полонскому> вела несносно крутая, петербургская лестница в сотню с лишком ступеней. Даже мне, в мои тогдашние двадцать с чем-то, было трудно ее одолевать. Для Полонского же путь в его квартиру без посторонней помощи был совершенно недоступен, и его вносили на верх на кресле. Без сомнения, об этой самой лестнице (он жил тут лет тридцать) он сложил свои грустно улыбающиеся строки» (следует стихотворение

«Старик»). Квартира Полонского была в доме № 26 по Знаменской улице (ныне улице Восстания), в пятом этаже.

«Томит предчувствием». Впервые — «Северный вестник», 1885, № 1.

Памяти С. Я. Надсона. Впервые — «Русская мысль», 1887, № 2, с вариантами. Печатается по сборнику «Вечерний звон» (1890); в издание 1896 года не включено.

Орел и голубка. Впервые — «Нива», 1887, № 16.

Н. И. Лорану. Впервые — «Книжки Недели», 1887, № 12.
Николай Иванович *Лоран* (1820—1892) — приятель Полонского еще со времени жизни в Одессе и Тифлисе.

А. А. Фет. Впервые — «Русский вестник», 1888, № 3, с датой «1888 г. 1 февраля».

У двери. Впервые — «Север», 1888, № 13.
Стихотворение посвящено А. П. Чехову, с которым Полонский познакомился в конце 1887 года. В письме к нему от 8 января 1888 года Полонский говорит: «Я еще так недавно имел счастье с вами познакомиться, что и писать нам больше не о чем, как о том, что успели мы прочесть друг у друга» («Слово», М., 1914, сб. 2, стр. 223). Еще до этого письма Полонский подарил Чехову свой роман «Крутые горки», с надписью «Антону Павловичу Чехову поклонник таланта Я. Полонский. 1887 г. 8 декабря 1887» (С. Балухатый. Библиотека Чехова. — В сборнике «Чехов и его среда», Л., 1930 стр. 281). В цитированном письме Полонский, между прочим, пишет Чехову: «В последнее время — т. е. с осени я написал только *Повесть о Правде и Кривде,* которая и печатается в №№ «Нивы» — и несколько стихотворений, из которых одно, «У двери», позвольте мне посвятить вашему имени. Оно будет помещено в журнале «Север», и, как мне кажется, более всего подходит к вашим небольшим рассказам и очеркам. Очень бы желал, чтобы его стихотворная форма была бы так же хороша и колоритна, как ваша проза. Но хорошо или дурно я написал, надеюсь, что вы не будете в претензии...» Чехов ответил 18 января 1888 года: «На ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и просьбой — позволить мне посвятить вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенною любовью.[1] Ваша ласка меня тронула, и я никогда не забуду ее. Помимо ее теплоты и той внутренней прелести, какую носит в себе авторское посвящение, ваше «У двери» имеет для меня еще особую цену: оно стоит целой хвалебной критической статьи авторитетного человека, потому что благодаря ему я в глазах публики и товарищей выраcту на целую сажень» (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, М.—Л., 1949, стр. 18). 17 февраля 1888 года Полонский послал Чехову самое стихотворение («на корректурной бумаге, с моими поправками», — пи-

---

[1] Чехов посвятил Полонскому рассказ «Счастье» (1888).

шет Полонский в сопроводительном письме), а 22 февраля Чехов написал ему: «Благодарю вас, уважаемый Яков Петрович, и за письмо, и за стихотворение «У двери». То и другое получено, прочтено и спрятано в семейный архив для потомства, которое, надеюсь, будет и у меня. «У двери» пришло как раз в то время, когда у меня сидел известный вам актер В. Н. Давыдов. И таким образом я сподобился услышать хорошее стихотворение в хорошем чтении. Мне и всем моим домочадцам стихотворение очень понравилось; впрочем, дамы протестовали против стиха «и смрад стоял на лестнице». Еще раз благодарю и прошу вас верить, что я никогда не забуду вашего лестного для меня, ободряющего внимания» (Там же, стр. 47—48).

Хотя стихотворение «У двери» написано в 1888 году, но первый его набросок (и, вероятно, самый факт, послуживший поводом для его написания) относится к 1851 году — ко времени возвращения Полонского с Кавказа в Москву. В черновой тетради этого года (архив Полонского) имеется следующее стихотворение:

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Вечор я вспомнил грустную
Подругу прежних дней. —
Впотьмах нашел я лестницу
И постучался к ней.

Стучался я встревоженный,
Стучался целый час —
И слезы — слезы хлынули
Горячие из глаз.

Хозяйка злая, старая,
Проснулась и — кричит:
Не домовой ли в комнату
Порожнюю стучит?

Я тихо молча с лестницы
Спустился — и потом
Всю ночь дрожал на улице
Под ветром и дождем —

Какой-то голос шепчет мне,
Что я ее любил: —
Но где она — и что она? —
Не знаю — след простыл...

Отметим еще, что стихотворение это восходит к лермонтовскому «Свиданию» («Уж за горой дремучею погас вечерний луч»). Есть даже словесные совпадения: «Она — мой друг единственный» (у Лермонтова — «Тебя, мой друг единственный»), «Так вот ты как, — изменница! Лукавая змея!» (у Лермонтова — «Твоя измена черная понятна мне, змея!»). О заимствованиях Полонского у Лермонтова см. статью И. Н. Розанова — «Отзвуки Лермонтова» (Юбилейный сборник «Венок М. Ю. Лермонтову», М., 1914).

П а м я т и В. М. Г а р ш и н а. Впервые — «Всемирная иллюстрация», 1888, № 1003, с датой «28 марта 1888 г.» В издание 1896 года не включено.

С В. М. Гаршиным Полонский подружился в начале восьмидесятых годов. Летом 1882 года они оба жили у Тургенева в Спасском (без Тургенева, которому пришлось по болезни остаться в Буживале). Весной 1888 года Гаршин решил поехать в Кисловодск («в далекий путь собрался»), но накануне отъезда, 19 марта 1888 года, он в припадке душевной болезни бросился с 4 этажа в пролет лестницы и 24 марта умер. В последних строках стихотворения Полонский вспоминает рассказ Гаршина «Attalea princeps» *(Где гордой пальме места нет).*

В з а с у х у. Впервые — Полное собрание стихотворений, т. II, (1896).

Л е б е д ь. Впервые — «Русская мысль», 1888, № 8, с датой «12 мая 1888 года».

В черновом автографе стихотворение называется «Лебединая смерть».

В х в о й н о м л е с у. Впервые — «Русский вестник», 1888, № 9, с датой «Ф. ж. д. Райвола, 1888».

Райвола — прежнее название станции по Финляндской железной дороге (теперь — Рощино). В журнальном тексте эти четыре строфы образуют только первую часть стихотворения, за которой следуют еще две (15 строф), не повторенные в издании 1896 года.

«Д л я с е р д ц а н е ж н о г о». Впервые — «Русский вестник», 1888, № 11.

В д е н ь 50-л е т н е г о ю б и л е я А. А. Ф е т а. Впервые — «Русский вестник», 1889, № 2.

Пятидесятилетие литературной деятельности Фета праздновалось 28 января 1889 года.

З и м о й, в к а р е т е. Впервые — «Русский вестник», 1889, № 4, с датой «Январь, 1889» и с вариантами.

«Н е т о м у ч и т е л ь н о». Впервые — «Русский вестник», 1890, № 9.

«З н о й — и в с е в т о м и т е л ь н о м п о к о е». Впервые — «Русский вестник», 1890, № 9, с датой «Воробьевка, 1890 г.»

Воробьевка — имение А. А. Фета, где Полонский гостил летом 1890 года.

В г о с т я х у А. А. Ф е т а. Впервые — «Книжки Недели», 1890, № 10. В автографе дата: «12 июня 1890».

«П о л о н с к и й з д е с ь н е б е з п р и в е т а». При жизни автора не было напечатано; впервые — в альманахе «Северные

цветы», М., 1902, с примечанием: «Это стихотворение Я. П. Полонский написал карандашом на притолоке Воробьевского флигеля, где гостил у А. Фета летом 1890 года».

На пути. Впервые — «Русский вестник», 1890, № 10, без заглавия.

В осеннюю темь. Впервые — в сборнике «Вечерний звон».

«Когда в наш темный сад». Впервые — «Русский вестник», 1891, № 2.

«По торжищам влача». Впервые — «Русский вестник», 1891, № 3.

Тени и сны. Впервые — «Нива», 1891, № 12, без заглавия, с датой «1891. Февраль 20». После строфы 2-й есть еще строфа, исключенная в издании 1896 года.

«Вот и ночь». Впервые — «Книжки Недели», 1892, № 2, с вариантами.

Ответ. Впервые — «Север», 1892, № 14, под заглавием «N. N ***».

В саду. Впервые — «Русский вестник», 1893, № 1.
В автографе (архив Полонского) заглавие: «Из записной книжки».

Пустые ножны. Впервые — «Книжки Недели», 1893, № 3, без эпиграфа и с вариантами.
Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Поэт», но неточно:

Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок.

В потемках. Впервые — «Путь-дорога. Научно-литературный сборник» (СПб., 1893), с датой «28 декабря 1892 г.»

В новый дом. Впервые — «Русский вестник», 1894, № 4. В издании 1896 года заглавие «В новом доме» считаем за опечатку и оставляем прежнее.
В черновой тетради (архив Полонского) есть три редакции этого стихотворения (с датой «1893»). Наиболее ранняя озаглавлена: «Молодые».

Смерть. Впервые — «Книжки Недели», 1896, № 10; при жизни автора не перепечатывалось. В автографе другой текст и дата: «31 июля 1896».

«Если б смерть была мне». Впервые — «Нива», 1897, № 45; при жизни автора не перепечатывалось.

«И любя и злясь от колыбели». Впервые — «Нива», 1898, № 15; при жизни автора не перепечатывалось.

«Еще не все мне довелось». Впервые — «Новое время», 1898, № 8134 (19 октября), под заглавием «Последнее стихотворение Я. П. Полонского», с датой «1898. Август». Полонский скончался 18 октября (ст. ст.) 1898 года.

ПОЭМЫ

Кузнечик-музыкант. Впервые — «Русское слово», 1859, № 3; первое отдельное издание — 1859 года, второе (с рисунками В. Гартмана) — 1863 года.

В годы 1855—1857 Полонский жил в доме А. О. Смирновой-Россет (которая в молодости была приятельницей Пушкина и Гоголя) в качестве «гувернера» ее сына — сначала в Петербурге, потом за границей. Вспоминая впоследствии об этом трудном для него периоде, Полонский писал: «Гувернер Смирнова (так называли меня в свете) мог ли надеяться на чье-нибудь особенное внимание или сердечную привязанность? Слово «гувернер» — клеймо безденежья, а в Петербурге всё простят кроме *явной бедности*» («Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 121). Жизнь за границей еще обострила эти впечатления; в письме к М. Ф. Штакеншнейдер (1857) он делится своими наблюдениями над баденской публикой: «<...> это помойная яма, куда стекаются со всех концов помои цивилизованного общества. <...> Соперничество, сплетни, страсть к французам, жалкое волокитство, дряхлость мысли, отсутствие всего, что может быть названо душою, вот вам главные черты этого милого общества. <...> Славная канва для комедии самой едкой — этот Баден-Баден!» (Там же, стр. 127. Ср. в стихотворении «А. Н. Майкову», написанном тогда же в Баден-Бадене). Плодом этих наблюдений явилась не комедия, а поэма «Кузнечик-музыкант», за шутливым стилем которой скрывается очень характерная для того времени тема: трагическое положение художника в буржуазном обществе. Люди изображены в поэме в виде насекомых и птиц — по старинной традиции животного эпоса и басни (ср. более поздние аллегорические стихотворения Полонского: «Старый орел», «Орел и змея», «Орел и голубка», «Ночь в Летнем саду»), но этот прием имеет здесь более острый публицистический смысл, поскольку насекомым присвоены не только человеческие черты характера, но и особенности человеческого быта, одежды, профессий, званий и проч. Это роднит поэму Полонского уже не столько с басней, сколько с распространенной в те годы животной карикатурой (вроде знаменитых иллюстраций Гранвиля), сопровождавшейся литературным текстом в виде очерка, новеллы, фельетона и проч. Здесь люди изображались в виде животных, но в свойственной людям бытовой обстановке и одежде, в их общественной и домашней среде и т. д. От животных оставались, в сущности, только маски. Так сделано и в «Кузнечике-музыканте»: навозный жук, «смуглый, толстый и рогатый», затыкает уши ватой, муравей «с шнуровкой под жилетом модным» дает божьей коровке «спирт понюхать в маленьком флаконе», сверчок курит сигару, «точно человечек» и т. д. Такого рода юмористиче-

ские детали ведут свое происхождение скорее всего от карикатуры 40—50-х годов. Полонский сам был художником и как раз в эти годы усиленно занимался живописью и рисованием; вполне вероятно, что эти занятия отразились в поэме. Интересно, что отдельное издание «Кузнечика-музыканта» (1863) было иллюстрировано (очевидно, по инициативе автора) художником В. А. Гартманом (чьи «Картинки с выставки» послужили темой для известного фортепьянного цикла М. П. Мусоргского); это служит лишним подтверждением связи самого замысла поэмы с живописью.

В конце сороковых годов. (Из поэмы «Братья».) В годы 1866—1870 Полонский печатал поэму «Братья» в журналах: в «Женском вестнике», 1866, № 2 (главы I и II); в «Русском вестнике», 1867, № 8 (глава III) и № 10 (глава IV), 1868, № 3 (главы V и VI) и № 11 (глава VII), 1869, № 2 (глава VIII); в «Вестнике Европы», 1870, № 4 (главы IX и X), под заглавием «Рим и революция 1849 г.». На этом печатание поэмы прекратилось, хотя она не была закончена. В сборнике «Озими» Полонский напечатал главы VI—X под новым заглавием: «В конце сороковых годов. (Из поэмы «Братья»)», заменив нумерацию глав особыми заголовками и прибавив заключительный отрывок — «Большая неприятность». В тексте этих глав были сделаны небольшие стилистические изменения. В таком виде поэма была повторена в изданиях 1885 и 1896 годов; мы печатаем ее по последнему изданию.

По черновой тетради (в архиве Полонского) видно, что поэма была задумана и начата еще в пятидесятых годах, под заглавием «Борьба. (Лирическая поэма в 5 песнях.)» Беловая копия первых глав относится к 1865 году. В первых четырех главах поэмы, изобилующих характерными для этого жанра авторскими рассуждениями, описывается жизнь в Риме русского художника Игната Илюшина и приезд его старшего брата Алексея. В главе пятой движение рассказа вперед прерывается — рассказано прошлое Игната: как он учился живописи в Москве, как стал художником, писал картины, бедствовал, мечтал уехать в Рим, как ему помог брат и проч. В главе VI — проводы Игната, в главе VII — арест («То было время, — время роковое»), пребывание в тюрьме («С весны до сентября» 1848 года) и освобождение, в главе VIII — разрешение на выезд за границу и дорога в Италию («И только в марте перед ним открылась Италии смеющаяся даль»); главы IX и X содержат описание Рима во время революционной борьбы 1849 года и рассказ о поведении Игната. В сборнике «Озими» и в позднейших изданиях Полонский отбросил первые пять глав, т. е. всю предисторию своего героя. В тексте поэмы содержится много исторических имен, названий книг и проч. В главе «Мечты и веселые проводы» Игнат вспоминает картину К. Брюллова «Последний день Помпеи» («Там кисть Брюллова молнии с вулкана похитила»), «Мертвые души» Гоголя и картину А. А. Иванова «Явление мессии народу». В главе «Маленькая неприятность» Полонский упоминает о французском короле Луи-Филиппе, принужденном в 1848 году отречься от престола («осиротевший трон Луи-Филиппа»), и цитирует две строки из стихотворения В. Бенедиктова «Утес» (не совсем точно). В тюрьме Игнат читает книги популярных тогда французских историков и философов: Ла-

меннэ, Капфига, Луи-Блана («История десяти лет»), Фурье, Токвиля («Старый режим и революция»). В главе «Успехи» на прощальном обеде присутствуют скульптор Н. А. Рамазанов, в годы 1842—1846 работавший в Риме и вызванный оттуда в Россию вследствие столкновения с папской полицией, и знаменитый артист М. С. Щепкин. В двух последних главах и в заключительном отрывке говорится о событиях 1849 года. Восстание в Риме началось 15 ноября 1848 года убийством папского министра Росси. Вскоре после этого папе Пию IX пришлось бежать из Рима. Революционный триумвират, во главе с Мацции, провозгласил в феврале 1849 года Рим республикой. Весной 1849 года (после поражения Пьемонта в войне с Австрией) против Римской республики выступили французские интервенты под начальством генерала Удино. Полномочным министром в Рим был назначен Фердинанд Лесепс (в будущем — инициатор прорытия Суэцкого канала). Несмотря на ряд побед революционной армии (руководимой Гарибальди), Римская республика пала под ударами соединенных сил европейской контрреволюции. Этими событиями лета 1849 года и заканчивается поэма Полонского.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ Я. П. ПОЛОНСКОГО

1819 6/18 декабря.

В городе Рязани, в небогатой дворянской семье, родился Я. П. Полонский. Отец — чиновник, мать — из рода Кафтыревых (См. «Старина и мое детство» в «Русском вестнике», 1890, №№ 2 и 6; 1891, № 5. Ср. «Труды Рязанской ученой архивной комиссии», т. XIII, вып. 3, 1899).

1830

Умерла мать, а отец уехал в Эривань на должность советника казенных сборов и податей.

1837 август.

Стихи Полонского-гимназиста поднесены приехавшему в Рязань наследнику Александру. Там же знакомство с поэтом В. А. Жуковским.

1838

Переезд Полонского в Москву: поступает на юридический факультет Московского университета.

1840

Знакомство с Ап. Григорьевым и А. Фетом. Первое выступление в печати: стихотворение «Священный благовест торжественно звучит» в «Отечественных записках», 1840, № 9.

1844

Окончание университета (дата свидетельства — 10 июня). Выход первого сборника стихотворений — «Гаммы» (август). Осенью — отъезд в Одессу, где знакомство с Л. С. Пушкиным, Н. Ф. Щербиной, А. А. Бакуниным, Л. Л. и М. Е. Гутмансталь и др.

1846 лето.

Переезд из Одессы в Тифлис на службу — в канцелярию наместника и в редакцию газеты «Закавказский вестник».

1851 июнь.

Полонский уезжает из Тифлиса в Рязань, к больному отцу.

4 июля.

Полонский из Рязани приезжает в Москву, где читает Островскому и Ап. Григорьеву свою драму «Дареджана».

7 июля.

Полонский приезжает в Петербург, где и остается жить.

1855

Выход первого собрания стихотворений за годы 1840—1855. Полонский живет у А. О. Смирновой-Россет в качестве воспитателя ее сына.

1857 май.

Полонский едет с сыном А. О. Смирновой за границу (Баден-Баден). Знакомство с Л. Н. Толстым.

август.

Полонский расстается с Смирновыми и уезжает в Женеву, чтобы учиться живописи у Каляма.

зима.

Полонский живет в Риме, с И. С. Тургеневым и В. П. Боткиным. Встреча с Г. А. Кушелевым-Безбородко, который предлагает ему быть соредактором нового журнала «Русское слово».

1858 июль.

Полонский в Париже женится на Е. В. Устюжской.

август.

Полонский с женой возвращается в Петербург и вступает в редакцию «Русского слова».

1860 июнь.

Смерть жены.

осень.

Полонский уходит из редакции «Русского слова» и получает место секретаря в Комитете иностранной цензуры.

1863 лето.

Полонский гостит в имении Ф. И. Тютчева Овстуг (Орловской губ., Брянского уезда).

1866

Женитьба на Ж. А. Рюльман.

1869

Выход первых двух томов Сочинений.

1875

Полонский вступает в редакцию еженедельного журнала «Пчела».

1880

Поездка за границу для лечения (Карлсбад и пр.).

1881 лето.

Полонский в Спасском у И. С. Тургенева.

1882 лето.

Полонский знакомится с А. П. Чеховым.
(Спасском), куда приезжает и В. М. Гаршин.

1885

Выход Полного собрания сочинений Полонского в 10 томах.

1887

Полонский знакомится с А. П. Чеховым.

1889 лето.

Полонский гостит у А. А. Фета в д. Воробьевка.

1890 лето.

Полонский гостит у А. А. Фета.

1896

Полонский назначен членом Совета Главного управления по делам печати.

Выход Полного собрания стихотворений в 5 томах.

1898 18/30 октября.

Смерть Полонского.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ СТИХОТВОРЕНИЙ Я. П. ПОЛОНСКОГО

Гаммы. Стихотворения Я. П. Полонского. М., 1844.

Стихотворения 1845 года Я. П. Полонского. Одесса, 1846.

Сазандар. Стихи Я. П. Полонского. Тифлис, 1849.

Несколько стихотворений Я. П. Полонского. Тифлис, 1851.

Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1855.

Стихотворения Я. П. Полонского (Дополнение к стихотворениям, изданным в 1855 г.). СПб., 1859.

Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы. С добавлением некоторых стихотворений за последние годы. Рисунки В. Гартмана. СПб., 1863.

Оттиски. Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1866.

Сочинения Я. П. Полонского. 4 тома. Издание М. Вольфа. СПб., 1869—1870.

Снопы. Стихи и проза Я. П. Полонского. I. СПб., 1871.

Озими. Новый сборник стихов Я. П. Полонского. Часть I и часть II. СПб., 1876.

На закате. Стихотворения Я. П. Полонского 1877—1880. М., 1881.

Полное собрание сочинений Я. П. Полонского. 10 томов. Изд. Ж. А. Полонской. СПб., 1885—1886. (Стихотворения в томах I и II.)

Вечерний звон. Стихи 1887—1890 Я. П. Полонского. СПб., 1890.

Лепта в пользу нуждающихся. Несколько стихотворений Я. П. Полонского. СПб., 1892.

Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского в пяти томах. Издание, просмотренное автором. СПб., 1896.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

---

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ЗАКАВКАЗЬЕ (1846—1851)

50-е ГОДЫ

60-е ГОДЫ

70-е ГОДЫ

80-е и 90-е ГОДЫ

ПОЭМЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

Я. Полонский — Стихотворения и поэмы

Редактор М. Поляков

Художник И. Серов
Техн. редактор В. Комм
Корректоры П. Суздальский и Л. Саксаганская

Сдано в набор 22/IX 1954 г. Подписано в печать 9/XI 1954 г.
М 55296. 84×108/₃₂. Печ. л. 34,38 (28,19). Уч.-изд. л. 21,35.
Тираж 25 000. Заказ № 1135. Цена 12 р. 10 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. № 28

Типография № 3 Ленгорполиграфиздата
Красная ул., д. № 1/3.